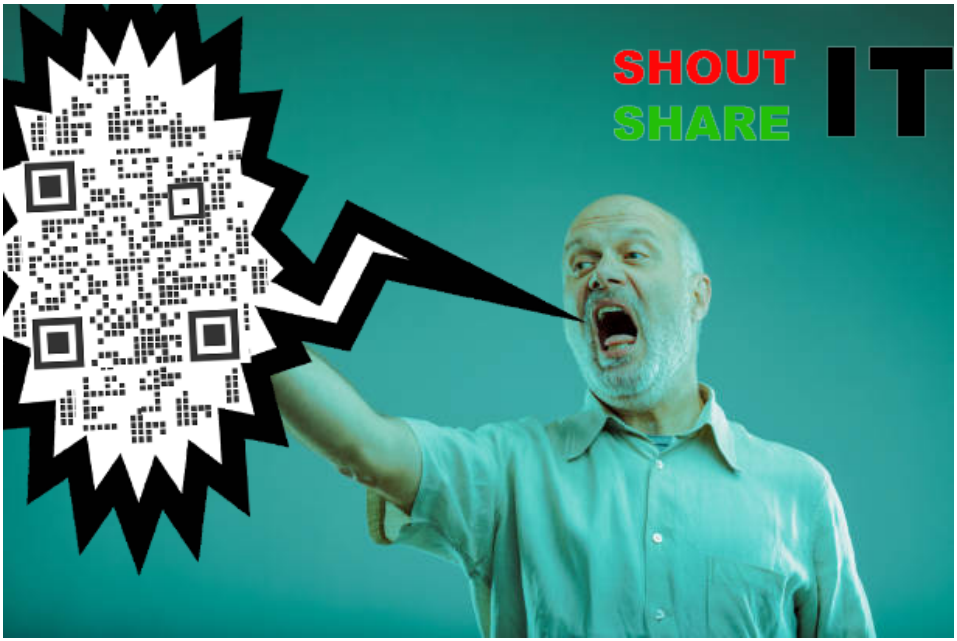
Я. А. Гордин

ГИБЕЛЬ ПУШКИНА

1831–1836

Мир Пушкина


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга посвящена последним шести годам жизни Пушкина, когда великий поэт, проявивший себя как глубокий историк и политический мыслитель, провидевший катастрофическое будущее Российской империи, поверив в реформаторские намерения императора Николая Павловича, попытался гигантским духовным усилием воздействовать на судьбу своей страны. Год за годом, месяц за месяцем автор прослеживает действия Пушкина, этапы его грандиозного замысла, рухнувшего при столкновении с неуклонным ходом русской истории. Это книга о великой надежде и горьком разочаровании, книга о судьбе истинного патриота, чья трагедия предсказала трагедию страны. Это книга о том, как русское общество отказалось понимать великого поэта и мыслителя, а критика подвергла его злобной травле, образцы которой читатель найдет в обширном приложении. Это книга о гибели пророка.

- Яков Гордин
  -
  - От автора
  -
  - 1831
  - 1832
  - 1833
  - 1834
  - 1835
  - 1836
  - Приложение
    - «И Пушкин стал нам скучен…»
    - Записка Ф. В. Булгарина в III отделение[4], декабрь 1826 г.
      - Замечания на «Комедию о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве»
      - Выписка из комедии о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве
    - Н. И. Надеждин
    - Ф. В. Булгарин
    - М. А. Бестужев-Рюмин
    - «Евгений Онегин», роман в стихах, сочинение Александра Пушкина
    - Ф. В. Булгарин
    - Ф. В. Булгарин

- Н. А. Полевой (?). Эпиграмма
- Ф. В. Булгарин. Предок и потомки[25]
  - Глава VII. Русский книжный магазин
  - Глава VIII. Заседание любимых сынов Аполлона, поклонников Вакха, Лени и Свободы
- Из газеты «Северный Меркурий». Несчастный поэт
- М. А. Бестужев-Рюмин
- В. Н. Олин. «Борис Годунов» Сочин<ение> А. Пушкина
- Ф. В. Булгарин
- Из журнала «Телескоп»
- Н. Полевой
- «Стихотворения Александра Пушкина». Третья часть
- Н. И. Надеждин
- «Борис Годунов». Сочинение Александра Пушкина. СПБ. 1831 г. in 8. 142 стр
- Н. И. Надеждин (?)
- Письмо к издателю
- В. М. Строев
- В. Г. Белинский
- В. Г. Белинский
- Ф. В. Булгарин
- О. И. Сенковский
- В. Г. Белинский

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16

- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39

Яков Гордин
Гибель Пушкина
1831–1836

© Я. А. Гордин, 2016
© Н. Н. Санин, оформление, 2016
© ООО «ИЦ Пушкинского фонда»

* * *

От автора

Рискуя быть заподозренным в нескромности, я позволю себе внести в это предисловие автобиографический элемент.

«Гибель Пушкина» — или как это сочинение было названо при первой публикации в «Звезде» «Годы борьбы», — стала первой моей значительной публикацией. Мне было 38 лет. До этого для меня главным собственно литературным занятием было писание стихов и критических статей.

В 1967 году ленинградский ТЮЗ поставил мою пьесу. После неофициального успеха тюзовского спектакля ленинградские театры стали заказывать мне пьесы, а контролирующие инстанции с такой же последовательностью их запрещали. И как я теперь уверен, это пошло мне как литератору на пользу.

Параллельно со всем остальным я с середины шестидесятых стал прилежно заниматься тем, что можно назвать независимыми историческими исследованиями. Начал я с декабристов и естественно и неизбежно пришел к Пушкину.

Очевидно, я бы писал и публиковал крупные вещи и ранее 1974 года, но волею могучих обстоятельств оказался в «черном списке», что означало запрет на публикации, и вынужден был зарабатывать телевизионной работой под псевдонимами. Впрочем, выручали меня и старые театральные связи.

Запрет с меня был неожиданно и без всяких моих усилий снят в 1972 году, когда вышла книга моих стихов, пролежавшая в издательстве лет пять. А тут приблизился пушкинский юбилей, и «Звезда», в которой я прежде публиковал рецензии, заключила со мной договор на нечто о Пушкине.

К приятному моему удивлению, сочинение о Пушкине было встречено многими уважаемыми мною людьми более, чем положительно.

Едва успел выйти июньский юбилейный номер «Звезды», как я получил письмо, датированное 23 июня 1974 года, — от Александра Константиновича Гладкова, эрудита, сотрудника Мейерхольда, впоследствии автора интереснейших книг о Мейерхольде и Пастернаке, известного широкой публике как автор пьесы «Давным-давно» / фильм «Гусарская баллада»/.

> «Дорогой Яша!
>
> С большим интересом прочитал Ваши „Годы борьбы“. Казалось бы, все это давно известно, но Вы выстроили факты с железной логической последовательностью, строго отбирая главное, и хотя

> почти не говорите о том, о чем пишут наиболее охотно — о последней дуэли — эта завершающая драма в жизни Пушкина делается совершенно понятной и трагически неизбежной. Конечно же, не светские нравы, не сословные предрассудки, не африканский характер, а именно развитие глубокой внутренней драмы является единственным объяснением событий февраля 1837 года. И я снова думал, читая Ваше сочинение, — какой простор открывается перед биографом, когда он свободно пишет и об ошибках гения, и о ложных шагах, и о неудачах, не стремясь возвеличивать и украшать его в каждом его поступке. Ваша самая сильная сторона /не только в этой работе/ — безупречная логика и редкая способность к генерализации темы. Вы ни о чем не умалчиваете, ничего не скрадываете /„Стансы“, например/, и как от полной правды Пушкин как человек выигрывает. Кроме того, Вы соприкасаетесь здесь с одним и ныне актуальным спором, который я лично вел этим летом с лауреатом /Солженицын. — *Я. Г.*/: схематично говоря, о том, что должно делать „внутри структуры“ или вне ее».

Мне, разумеется, тоже было приятно узнать мнение человека, отнюдь не склонного к комплиментам.

Разговоров тогда о моей работе — особенно в Москве — было много, но в печатные критические тексты эти разговоры не реализовались. Остались они в частных письмах. Это подтвердилось, когда случайно купив книгу — посмертную — талантливого «новомирского» прозаика Виталия Семина, рано умершего, составленную другим «новомировцем» Игорем Дедковым, я наткнулся там на его письмо критику Льву Левицкому, где Семин, в частности, писал: «Прочел в „Звезде“ Я. Гордина. Можешь представить себе, как прочел! Прекрасно! Кажется, в первый раз о Пушкине так. Поразительно. И о Дантесе почти ни слова. И правда ведь мелочь. Смертельно опасная, но не сама по себе. Вначале мне казалось, что слишком уж все логично. Одно за другим. Одно из другого. Жизнь глуповатей. Даже если это жизнь супергения. Такую прозу, если меня не подводит моя слабая пединститутская образованность, следует назвать картезианской. Но к концу автор меня убедил и подавил полностью. Господи боже мой, какая убедительная и страшная безнадега! И что там Николай, Бенкендорф, когда вокруг пусто? Что же остается? Господи, помоги мне полюбить моих врагов /…/ Да и где враги? Кто они? Бюрократическая аристократия?

Деятели нового типа? Завистники? /…/ Мы сами, находящие глубину неизреченную в стихах Бенедиктова?»

Виталий Семин, ростовчанин, прославился своей «новомирской» повестью «Семеро в одном доме», вышедшей на излете «оттепели» и подвергшейся злобной критике. Главным его творческим подвигом был роман «Нагрудный знак OST». Пятнадцатилетним подростком Семин был угнан в Германию — концлагерь, работа на военном заводе. Власть ему этого не простила. Он был изгнан из Ростовского педагогического института и отправлен на строительство Куйбышевской ГЭС… Он так и не стал своим в официальной литературной среде. Его друзьями были Виктор Некрасов и Юрий Домбровский… Он жил трудной жизнью и умер в 50 лет…

Потому и трагедии Пушкина оказалась ему так глубоко и мучительно внятна.

Для меня было принципиально важно, что эти два очень разных человека — их роднило только лагерное прошлое: Гладков — сталинский лагерь, Семин — гитлеровский, — в остальном совершенно разные культурные корни, разные литературные и жизненные установки, разная интеллектуальная среда обитания, — уловили в моем сочинении трагическую логику пушкинской судьбы. И это была не просто судьба великого поэта и не просто трагедия великого человека, оказавшегося в бытовом тупике, но судьба уникальной личности, предсказавшей своей трагедией трагедию своей страны.

И Гладков, и Семин — повторяю, такие культурно разные, — увидели Пушкина во всем величии его гигантского замысла, попытка реализации которого его и погубила.

Те, кого я намерен процитировать ниже, далеко превосходят выше цитированных, но дело не в противопоставлении одних другим, а в том, что и те, и другие видели недостаточность понимания особости этого колоссального явления — Пушкина.

Эта недостаточность, поразившая Виталия Семина в 1974 году, была декларирована крупнейшим русским религиозным мыслителем Семеном Людвиговичем Франком еще в тридцатые годы. Франк, автор многочисленных сугубо философских трудов, о котором известный историк русской философии протоиерей В. В. Зеньковский писал: «По силе философского зрения Франка можно без колебаний назвать самым выдающимся русским философом вообще», — написал пять этюдов о Пушкине.

В 1937 году в этюде «Пушкин как политический мыслитель» он констатировал, что Пушкин «оставался в течение всего XIX века недооцененным в русском общественном сознании. Он /…/ не оказал почти никакого влияния на историю русской мысли,

русской духовной культуры. В XIX веке и, в общем, до наших дней, русская мысль, русская духовная культура шли по иным, непушкинским путям».

В этюде «О задачах познания Пушкина» Франк писал: «Пушкин — не только величайший русский поэт, но и истинно великий мыслитель. /…/ Пушкин, не будучи ни в каком отношении типом ученого „специалиста“, не ограничивался и познанием области словесного творчества. Пушкин был одновременно изумительным по силе и проницательности историческим и политическим мыслителем и даже „социологом“».

Правда, поскольку этюды писались в разное время и «пушкиноведение» было отнюдь не главным занятием Франка, то он подчас противоречил себе.

> «Пушкин был, как известно, прирожденным историком, хотя ему и не удалось осуществить в трудах, достойных его дарования, это призвание…»

Стало быть, все же был «специалистом».

Или: «Будучи чистым поэтом, абсолютным образцом поэтической натуры /…/ он не „философ“ и не поэт своих „настроений“. Он всегда и во всем — наивный мудрец — ведатель жизни». С тезисом о наивности Пушкина согласиться трудно.

Но для нас важно то, что мыслитель масштаба Франка в другом тексте назвал Пушкина «великим мыслителем», «изумительным по силе и проницательности историческим и политическим мыслителем».

В финале этюда «Пушкин как политический мыслитель» Франк подводит итог своему анализу политического развития Пушкина: «Пушкин, конечно, ошибся в своем историческом прогнозе в одном отношении. Русская монархия не вступила в союз с низшими классами против высших, образованных классов /освобождение крестьян, о котором в течение всей своей жизни страстно мечтал сам Пушкин, конечно, сюда не относится/; напротив, гибель монархии, по крайней мере отчасти, была обусловлена тем, что она слишком тесно связала свою судьбу — особенно в 80-х и 90-х годах — с судьбой естественно угасавшего дворянского класса, чем подорвала свою популярность в крестьянских массах. Но в основе своей воззрение Пушкина имеет прямое пророческое значение. Каковы бы ни были личные политические идеи каждого из нас, простая историческая объективность требует признания, что понижение уровня русской культуры шло рука об руку с тем „демократическим наводнением“, которое усматривал Пушкин…»

/Отсюда и жестокое противостояние «аристократа» Пушкина и «демократа», поклонника Ивана Грозного — Николая Полевого, к которому высшие власти до поры относились более благосклонно, чем Пушкину./

Я возьму на себя смелость не до конца согласиться с блестящим философом. — Пушкин считал, что монархия, самодержавие, подавляет дворянство, делая ставку не столько на «демократический слой» /хотя это было — вспомним триаду Уварова/, но замещает родовое дворянство имперской бюрократией, коренное дворянство — новой бюрократической знатью. Отсюда и «падение дворянства», естественной опоры государства. В результате монархия вообще потеряла опору. И рухнула. Этот аспект ситуации Франк упустил.

Но его признание «пророческого значения» пушкинской мысли — вот что главное для меня.

Теснейшая органичная связь судьбы Пушкина с судьбой России, именно как политического мыслителя, политической фигуры была ясна отнюдь не одному Франку, получившему возможность и в эмиграции знакомиться во второй половине тридцатых годов с многочисленными публикациями пушкинских текстов исторического и публицистического характера.

В 1918 году Бердяев в статье «Россия и Великороссия», анализируя «Медного всадника» и решительно осудив бунт Евгения, писал: «В русской революции и в предельном ее выражении большевизме произошло восстание против Петра и Пушкина, истребление их творческого дела /…/. Многие наивные и непоследовательные люди думают, что можно отвергнуть Петра и сохранить Пушкина, что можно совершить разрыв в единой и целостной судьбе народа и его культуры. Но Пушкин неразрывно связан с Петром, и он сознавал эту органическую связь, он был поэтом императорской, великодержавной России».

Если Франк мог познакомиться с отдельными опубликованными после революции фрагментами пушкинского, условно говоря, конспекта «Истории Петра», то Бердяев не знал и этих текстов, не говоря уже о полной публикации 1938 года, потому он не мог оценить сложной эволюции отношения Пушкина к Петру и его реформам. А главное — их отдаленным результатам.

Предлагаемая читателю книга написана в том числе и для того, чтобы показать роль петровского государства в трагедии Пушкина, Пушкина-мыслителя, историка, политика.

В 1718 году, когда пытали тех, кто был замешан в деле царевича Алексея, Петр спросил висевшего на дыбе Александра Кикина, некогда близкого к царю: «Как ты, умный человек, мог

пойти против меня?»

«То-то что умный, — ответил Кикин, — а уму с тобой тесно». Эту «тесноту ума», высшую степень личной несвободы и осознал Пушкин, изучая петровское царствование как глубокий и честный историк.

Георгий Петрович Федотов, трезвый и спокойно мудрый мыслитель, историк искренне идеализирует отношение Пушкина к Петру, опираясь на пушкинские тексты до «Истории Петра». Но Федотов предложил — в отличие от Бердяева, — удивительную в своей парадоксальной точности формулу — «Певец империи и свободы». Если для Бердяева Пушкин певец «императорской, великодержавной России» — безоговорочно, то Федотов вводит радикально меняющее смысл пушкинской позиции понятие свободы.

«Певец империи и свободы» — обширный и тонкий очерк взаимоотношения Пушкина и государства, написанный в 1937 году. Но и Федотов говорит: «Конечно, Пушкин не политик…»

И в то же время: «Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существования. Без свободы немыслим Пушкин, и значение ее выходит далеко за пределы политических настроений поэта».

Предлагаемая читателю книга написана для того, чтобы доказать — Пушкин был политиком. Тут мне союзник Франк. Да, «певец империи», но его империя — не петровский военно-бюрократический монстр, где «все равны перед дубинкою» императора.

Его империя — пространство стройного порядка, личной свободы и личного достоинства.

В советское время родилось вопреки всему великое пушкиноведение. Но оно, как правило, не затрагивало всерьез политические, исторические концепции и замыслы Пушкина. Так в превосходной книге Б. В. Томашевского «Пушкин и Франция» основной массив посвящен чисто литературной проблематике. За исключением статьи «Пушкин и история Французской революции». Но это не столько анализ взгляда Пушкина на суть событий, сколько с обычным для исследователя блеском и фундаментальностью рассказанная история творческого замысла.

Были чрезвычайно значительные книги, затрагивающие эту проблематику. Книги Вадима Вацуры, Натана Эйдельмана. Они, однако, относились к отдельным аспектам проблемы.

Но мне показалось тогда, в начале 1970-х, что «сквозь дым столетий» я разглядел некую систему, некий великий общий

замысел, которому попытался следовать Пушкин, замысел, который потребовал от него немыслимого духовного напряжения, тяжелых жертв и предопределил его гибель. Мне показалось, что я понял суть трагедии гения, трагедии, к которой бытовые обстоятельства имели лишь косвенное отношение. И потому я был радостно поражен, когда два столь разных читателя и, что важно, не пушкиниста, как Гладков и Семин, подтвердили мою догадку.

Я попытался написать, проследив месяц за месяцем, год за годом — с 1831 по 1836 год — логику действий Пушкина. И оказалось, что это — история великой надежды и горького разочарования, трезвой любви к России и мрачного пророчества о ее судьбе.

В книге только один раз упоминается Дантес и считаные разы Наталья Николаевна. На это неслучайно и обратили внимание проницательные Александр Гладков и Виталий Семин.

Ибо судьба Пушкина — едва ли не самая трагическая судьба в истории нашей культуры, рифмуясь с судьбой империи, решалась отнюдь не на бытовом уровне.

> *По общему своему характеру, политическое мировоззрение Пушкина есть консерватизм, сочетающийся, однако, с напряженным требованием свободного культурного развития, обеспеченного правопорядка и независимости личности, — т. е. в этом смысле проникнутый либерализмом.*
>
> *С. Франк. Пушкин как политический мыслитель*

> *Что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство? Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю,*

а кажется много.

Пушкин. Из разговора с великим князем Михаилом Павловичем

1831

Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы.

Пушкин — Вяземскому. 1831

Смутное сознание подсказывает мне, что скоро придет человек, который принесет нам истину нашего времени.

Чаадаев — Пушкину. 1831

1

В полдень 25 мая 1831 года Александр Сергеевич Пушкин с супругой въезжал в Царское Село. Петербуржец того времени писал о поездке в императорскую резиденцию:

> «По каким прекрасным чугунным мостикам мы теперь едем; дорога как скатерть. Перед нами въезд в Царское Село. Вот множество низеньких домиков в китайском вкусе, один другого милее, и сколько тут мандаринов, змей, драконов из жести… Это Китайская деревня. Направо лежит сад, обширный, величественный, отделенный от дороги широким каналом. Глазам нашим представляется императорский дворец во всем его величии и красоте; это истинно царские чертоги: едешь и ощущаешь какое-то особенное, возвышающее чувство…»

Сидя в коляске рядом с Натальей Николаевной, Пушкин тоже видел все это перед собой. Он тоже испытывал какое-то особенное, возвышающее чувство. Но не от близости императорского дворца.

Он уехал отсюда четырнадцать лет назад. Уехал вольнодумцем, мальчишкой, мечтающим надеть гусарский доломан, готовым каждый день выходить на дуэли, готовым к жестокой войне литературной, готовым безрассудно проповедовать вольность.

Это было время ожиданий и надежд.

И теперь — через четырнадцать лет — он возвращался обратно. Он снова был полон надежд и ожиданий. Но надежды были иные, и ожидания — иные. А главное — иное было время.

2

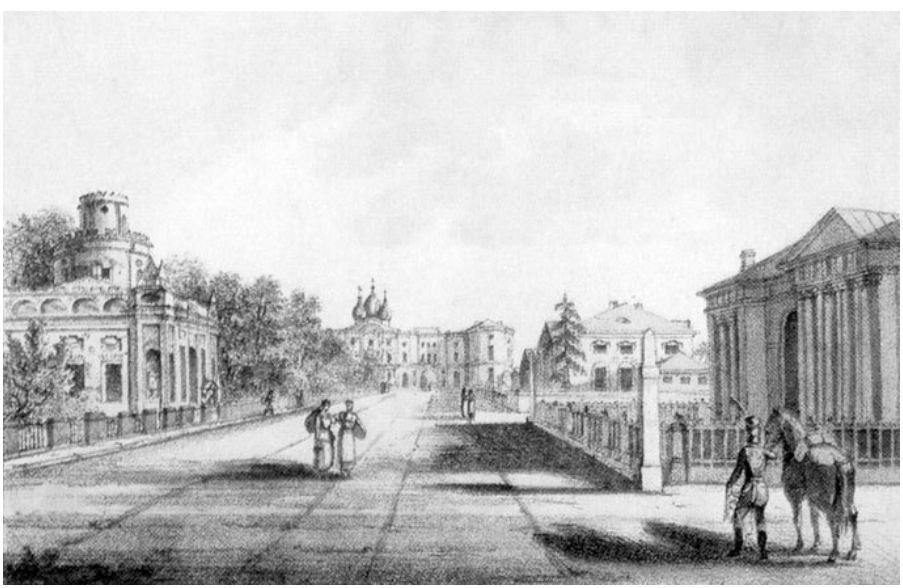
Время было апокалипсическое.

Чаадаев писал ему: «Посмотрите, друг мой: разве воистину не гибнет мир?»

26 июля 1830 года король Франции Карл X, возмущенный оппозицией Палаты депутатов и большей части прессы, издал шесть антиконституционных ордонансов: «Свобода периодической печати отменяется», «Палата депутатов от департаментов распущена…»

Оппозиционная пресса отреагировала мгновенно и безошибочно. 27 июля в двух газетах появился протест против ордонансов. Третья, наиболее влиятельная газета оппозиции «Глоб» перепечатала текст ордонансов. Редакционная статья, сопровождающая их, начиналась словами: «Преступление исчерпано».

Это был последний выпуск газет при старом порядке. Типографии прекратили работу. Многочисленные рабочие-полиграфисты вышли на улицы. Парижские предприниматели закрыли свои предприятия, обеспечив восстание живой силой.



Царское Село. Вид на Лицей и Садовую улицу. Литография

В. П. Лангера. 1820 г.

В тот же день — 27 июля — в Париже начались уличные бои. Среди рабочих было много наполеоновских ветеранов. Драться они умели. Карбонарии занялись организацией боевых отрядов. Общее руководство восстанием взяли на себя студенты Политехнической школы. Регулярные войска перешли в большинстве своем на сторону народа. На третий день единственная опора короля — швейцарская гвардия — была вытеснена из Парижа. Своим главнокомандующим восставшие провозгласили знаменитого генерала Лафайета, героя американской Войны за независимость и Великой революции 1789 года.

Король объявил ордонансы недействительными. Однако было ясно, что к власти ему не вернуться.

«Свобода на баррикадах». Французская революция 1830 года. Картина Э. Делакруа

После нескольких дней политической борьбы победили сторонники герцога Орлеанского. На французский трон была возведена Орлеанская династия. Новый король поклялся в верности конституционной Хартии (вскоре он начнет нарушать свои клятвы). 12 августа официозная газета писала:

«Сегодня утром король вышел пешком с зонтиком в руке. Он был узнан и окружен толпой; теснимый рукопожатиями и приветствиями, он принужден был вернуться при единодушных криках: „Да здравствует король Филипп“».

25 августа началась революция в Бельгии.

С первых дней французской революции Пушкин напряженно следил за событиями.

Действия короля Карла X, нарушившего законы страны, он осудил решительно. Он считал, что Полиньяка, министра, толкнувшего короля на такой шаг, надо казнить. Конституция не должна нарушаться. Но результаты революции, новый король и поведение публики не вызвали у него восторга.

«Их король с зонтиком под мышкой слишком буржуазен», — писал он. Фраза эта, как мы убедимся, имела для него смысл более глубокий, чем может показаться.

Главным же для него было, что Европа пришла в движение, как в 1789 году. Началось то, что он назвал «судорогами, охватившими Европу». Почва заколебалась.

3

Пушкины поселились в домике царского камердинера Китаева. Сам Китаев умер, и вдова домик сдавала.

Домик был небольшой, но комнат хватало — десять. Да еще — открытая веранда и балкон.

Ближайшие планы Пушкина были очень ясны. Он писал Нащокину:

«Вот уже неделя, как я в Царском Селе, а письмо твое получил только третьего дня. Оно было застраховано, и я возился с полицией и почтой… День ото дня ожидаю своего обоза и письма твоего. Я бы переслал Горчакову тотчас мой долг с благодарностию, но принужден был в эти две недели истратить 2000 рублей и потому приостановился. Теперь, кажется, все уладил и стану жить потихоньку без тещи, без экипажа, следственно без больших расходов и без сплетен».

Ему нужна была остановка в жизни, пауза, потому что жизнь начиналась совсем иная и необходимо было неподвижно прислушаться к себе и к миру и принять решения.

Обоз с вещами из Москвы пришел. Впервые Пушкин зажил

своим домом. Выглядело это вполне идиллично.

Встав утром, он принимал холодную ванну, пил чай и поднимался в кабинет, в мезонин. Там ему была уже приготовлена банка варенья из крыжовника и стакан ледяной воды. Он работал.

Наталья Николаевна вышивала в гостиной.

Потом они шли гулять.

Царскосельский Лицей. Рисунок А. С. Пушкина

«Многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женой, обыкновенно около озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе, и на плечах свитая по-тогдашнему красная шаль».

Вскоре после приезда пришел он в Лицей. Тогдашний лицеист Я. Г. Грот рассказывал:

> «Никогда не забуду восторга, с каким мы его приняли. Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших „дедов“, мы его окружали всем курсом и гурьбой провожали по всему Лицею. Обращение его с нами было совершенно простое, как со старыми знакомыми; на каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнату и передавал подробности о памятных местах».

Часто он ходил вокруг Лицея один. Ему было горько здесь. Но

он не щадил себя.

Полгода назад внезапно умер Дельвиг. Это было накануне свадьбы Пушкина. Сомов, сотрудник Дельвига по «Литературной газете», писал Баратынскому в Москву:

> «Приготовьте Пушкина, который, верно, теперь и не чает, что радость его возмутится такой горестью».

Это была одна из тех вестей, которые сразу и объявить человеку страшно. Все близкие к Пушкину люди знали, как любил он Дельвига. И не только по давней дружбе. Дельвиг был человеком редчайшим. Он был умен спокойным, ясным умом, бесконечно добр и безукоризненно благороден. А для Пушкина, зрелого Пушкина, куда как важны были эти качества.

«Что скажу тебе, мой милый? — писал он Плетневу, узнав об этой смерти. — Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось… Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам; сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все. Вчера провел я день с Нащокиным, который сильно поражен его смертию, — говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здрав — и постараемся быть живы».

Его не так-то легко было с ног свалить. Не свалила же его судьба Пущина и Кюхельбекера, о которых думал он, глядя на лицейские стены. Их страдания, их крестный путь, наконец, просто отсутствие их играли для него особую роль — до конца жизни.

Но он знал, что надо жить и делать свое дело. Его нелегко было с ног свалить. Он умел справляться с несчастьями. Встречавшие его в то время видели бодрость и спокойствие.

> «27 июля, в 7-м часу вечера, я шел к знакомому, жившему во дворце. Я шел парком. Не сделал я двадцати шагов, как вышел из-за деревьев на ту же дорогу человек среднего роста, с толстой палкой в руке. Он шел мне навстречу скоро, большими шагами. Хотя он был еще далеко от меня, но по походке и бакенбардам нетрудно было узнать в нем Александра Сергеевича. Я решился подойти к нему. За несколько шагов, сняв фуражку, я

сказал ему взволнованным голосом: „Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по Лицею и желаю вам представиться“. — „Очень рад, — отвечал он, улыбнувшись и взяв меня за руку, — очень рад“. Непритворное радушие было видно в его улыбке и глазах… При всей своей славе Александр Сергеевич был удивительно прост в обхождении. Гордости, важности, резкого тона не было в нем и тени, оттого и нельзя было не полюбить его искренно с первой же минуты… Многие расставленные по саду часовые ему вытягивались, и если он замечал их, то кивал им головою. Когда я спросил: „Отчего они ему вытягиваются?“, то он отвечал: „Право, не знаю; разве потому, что я с палкой“».

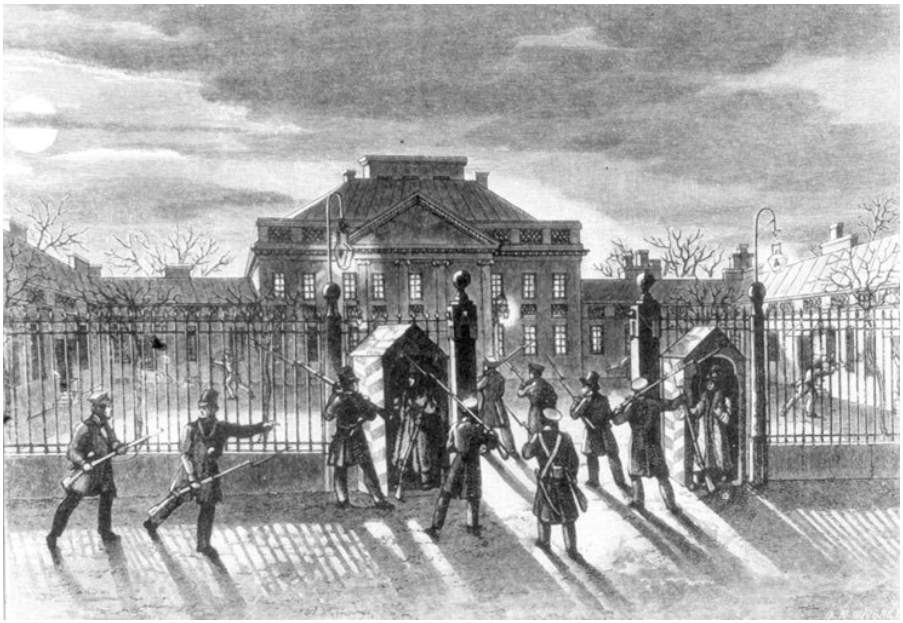
Итак, жили тихо. Ели однообразно, но вкусно. На обед обычно подавали «зеленый суп с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелем и на десерт варенье из белого крыжовника».

Пушкин повторял слова Шатобриана: «Если бы я мог еще верить в счастие, я бы искал его в монотонности житейских привычек». Монотонность житейских привычек, добропорядочность и прочность семейного дома пытался он противопоставить потопу жестокой стихии, окружавшей Россию, Петербург, Царское Село, подступавшей к его душе и уму.

4

17 ноября 1830 года в польской армии, которую император Николай намеревался отправить во Францию для усмирения революции, началось восстание.

Для Пушкина это было делом еще более серьезным, чем французская революция. Трещины, побежавшие по миру, гибель которого предвидел Чаадаев, пересекли границы Российской империи. Все свое сложное и мучительное отношение к происходящему он изложил на полстранице в письме к Вяземскому. Под вопросом оказалось само существование самодержавной империи. А существование единой и мощной империи было теперь связано в сознании Пушкина с тем великим будущим России, о котором он непрестанно думал в это время и которому собирался способствовать…



Начало Польского восстания. Варшава. Дворец Бельведер. 17 ноября 1830 г. С акварели Г. Дитриха. 1830-е гг.

С петровских времен существовала идея объединения славян вокруг России. Идея эта стала особенно популярна в начале XIX века. Ее сторонником был Державин.

Первый директор Лицея Василий Федорович Малиновский, человек, которого Пушкин уважал, крупный политический мыслитель, разработал план создания единой славянской державы. Она должна была объединить Россию, воссоединенную Польшу и балканских славян, освобожденных от власти Турции и Австрии.

В первую половину царствования Александра I проекты такого рода занимали серьезное место во внешнеполитических планах русского правительства и вызывали безусловную поддержку общества. «Славянская держава» могла — по убеждению русских патриотов — укротить любого завоевателя. В тот момент речь шла, естественно, о Наполеоне.

Идея эта неизбежно носила в себе революционное зерно — ведь для освобождения угнетенных славян требовалось их восстание. И для передовых русских политиков это движение, естественно, связано было с греческим восстанием, столь волновавшим Пушкина и декабристов.

В двадцатые годы, во время пребывания Пушкина на юге, зародилось революционное Общество соединенных славян. Его конечной целью было сплочение славянских народов вокруг свободной России…

И теперь — в 1831 году — Пушкин решил для себя, что победа восставшей Польши, отпадение ее, окажется чреватым слишком тяжкими последствиями для России и славянства.

Это была традиция декабристского патриотизма.

Спокойной жизни, спокойной работы, спокойных раздумий не получалось. Царскосельские парки, жестяные мандарины и драконы, свой удобный, устроенный дом — все это было идиллическим фоном для мучительных размышлений.

Катастрофические толчки почвы нарастали, пока не поставили империю на край гибели. Так думали современники. Так думал царь.

5

19 июня 1831 года молодой литератор Никитенко занес в свои дневник:

«Наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности. Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности».

Николай I на Сенной площади усмиряет холерный бунт. Рисунок неизвестного художника. 1830-е гг.

20 июня:

«В городе недовольны распоряжениями правительства… Лазареты устроены так, что они составляют переходное место из дома в могилу… Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто одушевил бы народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и, по обыкновению, верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и т. п. Кричат против немцев лекарей и поляков, грозят их перебить».

Царское Село оказалось отрезанным от мира карантинами.

Трудно было сохранять душевное спокойствие. Осень прошлого года, болдинское сидение, собственный «пир во время чумы» стали приходить на память. Письма Пушкина той поры полны беспокойства.

Между тем в Петербурге произошел бунт. Было убито несколько ни в чем не повинных лекарей. Император личным появлением слабый этот бунт усмирил. Да это был и не столько бунт, сколько вспышка отчаяния подавленных наступлением непонятного зла людей.

Волнения были и вокруг Петербурга.

Пушкин чувствовал, что можно ожидать худого. Он понимал неустойчивость положения. Недаром писал он за полгода до того:

«Россия нуждается в покое. Я только что проехал по ней… Народ изнурен и раздражен».

Он не ошибался.

Холерные дела, достаточно неприятные сами по себе, стали поводом к мятежу, какого Россия не видела со времен Пугачева.

Кто не знает, что в 1831 году было восстание в военных поселениях. Но мало кто представляет себе истинный масштаб этого восстания и ужас, в который оно привело власть, и

воздействие, которое оно оказало на умы людей думающих.

Военные поселения, в том виде, в каком существовали они при Пушкине, были задуманы и организованы Александром I и Аракчеевым с одной достаточно простой мыслью. Мысль эта выглядела так. Россия должна блюсти порядок в Европе. Для этого нужна большая армия. Большая армия стоит дорого. Следовательно, нужно, чтобы часть армии одновременно занималась и крестьянским трудом.

Выполнение этого плана шло с двух сторон. С одной стороны, некоторые армейские части были поселены в деревнях и как бы посажены на землю. С другой стороны, большое количество государственных крестьян было как бы превращено в солдат, занимающихся и хлебопашеством. Через несколько поколений, по мысли организаторов, военные поселения должны были дать России значительную резервную армию, обученную и ничего государству не стоящую.

А что получилось в действительности?

> «Все, что составляет наружность, пленяет глаз до восхищения; все, что составляет внутренность, говорит о беспорядке. Чистота и опрятность есть первая добродетель в этом поселении. Но представьте дом, в котором мерзнут люди и пища; представьте сжатое помещение — смешение полов без разделения; представьте, что корова содержится как ружье, а корм в поле получается за 12 верст; что капитальные леса сожжены, а на строение покупаются новые из Порхова, с тягчайшей доставкою; что для сохранения одного деревца употреблена сажень дров для обстановки его клеткою, и тогда получите вы понятие о государственной экономии. Но при этом не забудьте, что поселянин имеет землю по названию; а общий образ его жизни — ученье и ружье. Притом от худого расчета или оттого, что корова в два оборота делает в день 48 верст для пастбища, всякий год падало от 1000 до 2000 коров в полку, чем лишали себя позема и хлебородия, и казна всякий год покупала новых коров… В больнице полы доведены до паркетов, и больные не смели прикоснуться к ним, чтобы не замарать; у каждого поселенного полка была мебель, но она хранилась как драгоценность, на ней никто не смел сидеть».

Это написал не какой-нибудь маркиз де Кюстин, французский критикан. Это написал генерал-майор русской службы Маевский, начальник старорусских военных поселений.

Жизнь в военных поселениях была настолько страшна и бессмысленна, что прежнее крестьянское бытие, тоже отнюдь не райское, вспоминалось как предел благоденствия.

> «Всех жителей одели в солдатские мундиры, расписали по ростам; во всяком селении взяли гумно, начали их в нем приучать ворочаться налево и направо, ходить в ногу, топать каблуками, выпрямляться, носить тесак; даже до такой степени заботились, что в тех гумнах не поленились выстроить печки, дабы поселяне и в зимние дни навещали манеж, маршировали в нем и слушали команду горластого капрала, для их столь особенного счастья».

Это свидетельство тоже не какого-нибудь постороннего злопыхателя, а управляющего Высоцкой волостью поселений капитана Мартоса.

Всем здравомыслящим людям было ясно, что идея поселений провалилась по всем статьям. Однако поселения существовали, и конца им не было видно.

Если «корову содержать как ружье», она, бедная, сдохнет безропотно, и все тут. Но если в том качестве содержать человека, то он рано или поздно может и взбунтоваться.

В 1830–1831 годах военные поселения были готовы к взрыву. И только николаевское правительство, с его удивительной смесью самоуверенности и трусости, подозрительности и слепоты, этого не понимало.

Нужен был повод. Его дала холера.

Слухи о том, что под видом холеры начальство травит народ, ходили, разумеется, не только в Петербурге и Москве. На раздраженных, озлобленных военных поселенцев они действовали особенно сильно.

Уже после подавления восстания в рапорте следственной комиссии было сказано:

> «Единственным поводом к возникшим в городе Старой Руссе и в округах военного поселения гренадерского корпуса беспорядкам послужили распространившиеся нелепые слухи, что относимая к появлению болезни холера смертность происходит от отравы и что начальники состоят в заговоре истребить посредством оной нижний класс народа, выдумав существование холеры для прикрытия своих замыслов ‹…› Еще 8 июля один господский мальчик, который, идя по улице, завязывал в узелок платка соль, своевольно

> схвачен был чернью по подозрению, что рассыпает яд. Хотя на сей раз освидетельствованием оной соли выведены были жители из заблуждения, однако же 10 июля снова оказалось подобное самоуправство; Киевского гренадерского полка подпоручик Ашенбреннер, прохаживавшийся за городом, был остановлен мещанами тоже по подозрению, что он шпион и для того ходит близ реки, чтобы отравить ее ядом. Наконец, 11 июля, по пробитии вечерней зори, нижние чины военно-рабочего № 10 батальона схватили около своих бивуак, находящихся близ Старой Руссы, проходившего по большой Крестецкой дороге для прогулки Киевского же гренадерского полка капитана Шаховского, подозревая его в рассыпке яда, избили и связали его, после чего, вышед из повиновения к начальству, вооружились кольями и бросились с неистовым криком в город… Поднялся весь город, все улицы стали наполняться чернью, которая, питая в разгоряченном своем воображении мысль об отраве и узнав о приближении людей 10-го рабочего батальона, бросилась для соединения с ними; после того, видя безначалие, мятежники в совокупности предались неистовствам всякого рода, начав оные убийством вышедшего для убеждения их генерал-майора Мевеса, городского лекаря Вейгнера, и отысканию в саду полицмейстера Манджоса. Далее, разбив дома чиновников, подозреваемых в заговоре, и городскую аптеку, нанесли жестокие побои некоторым полицейским чиновникам…»

Затем события стали развиваться столь стремительно, что вести, посылаемые местным, уцелевшим еще начальством в Петербург, неизменно запаздывали. Хотя Петербург был совсем недалеко.

Ситуация менялась ежедневно и только в худшую сторону. Один за другим восставали поселенные полки. Регулярные части, расположенные в округах, переходили на сторону мятежников.

16 июля началось восстание в Новгородских поселениях. 17 июля солдаты 5-го и 6-го военно-рабочих батальонов вместе с крестьянами «сделали нападение на лагерь поселенного гренадерского корпуса, причем умерщвлены в истязаниях полковник Нейман и майор Маковский». Короче говоря, гренадеры поддержали восставших. 21 июля командовавший 2-й гренадерской дивизией генерал-майор Леонтьев, прибывший в

Старую Руссу для подавления мятежа с двумя батальонами пехоты и артиллерией, был убит. Его солдаты перешли на сторону мятежников.

Десятки тысяч восставших, среди которых было много обученных и вооруженных солдат, стояли не где-нибудь в оренбургской степи или на Волге, а в нескольких переходах от Петербурга. Русская армия и большая часть гвардии находились на западном театре военных действий.

Оставить без всякой защиты Петербург тоже было невозможно, ибо вокруг него все время вспыхивали холерные бунты, грозившие перейти в мятеж.

Сил для карательных операций у правительства не было.

Положение получалось отчаянное.

Члены следственной комиссии искренне заблуждались, считая, что все дело в нелепых слухах об отраве. 19 июля — в самый разгар мятежа — у подполковника Панаева произошел такой разговор со стариком, которого уважали поселяне:

— Послушай, старик, — сказал Панаев, — ты человек умный и можешь рассудить, как можно отравить всех. Поди ты и растолкуй им, они тебе более поверят.

— Что тут говорить, — отвечал старик. — Для дураков яд да холера; а нам надобно, чтоб вашего дворянского козьего племени не было.

Император Николай в такие моменты проявлял тонкое понимание ситуации. Он писал 18 июля:

«Бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные. Не дай и сохрани нас от того милосердный Бог, но я крайне беспокоюсь».

Происходило самое страшное — войска братались с мятежниками. Со дня на день полки 1-й и 2-й гренадерских дивизий, поддержанные чернью, могли выступить на Петербург.

Н. Н. Пушкина. Рисунок А. С. Пушкина

6

Двор переехал в Царское Село в начале июля. А с двором — дороговизна и сплетни, слухи и достоверные известия. Последнее было важно.

Приехали с двором Жуковский, воспитатель наследника, и «черноокая Россетти», фрейлина. От них и шли достоверные известия.

Однако первое время после начала мятежа в поселениях неясно еще было, что там происходит. Николай, очевидно, делился сведениями с очень ограниченным кругом.

Около 16 июля Пушкин писал Плетневу:

> «У нас в Царском Селе все суетится, ликует, ждут разрешения царицы; ждут добрых вестей от Паскевича; ждут прекращения холеры».

Но 21 июля тон меняется:

> «В Царском Селе также все тихо; но около такая каша, что боже упаси».

Это — Нащокину, с которым в политические разговоры Пушкин обычно не очень входил.

Но 3 августа он написал Вяземскому:

> «…ты верно слышал о возмущениях Новогородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новогородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных ‹…› Но бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улицах. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. — Плохо, Ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы».

Ему было тяжело.

Он прекрасно понимал причины мятежа и причины его жестокости.

Но жестокость, бессмысленная жестокость, приводила его в отчаяние. И еще одно — бесплодность мятежа.

В начале августа он уже знал, что мятеж кончается. В тревоге пережил он страшные июльские дни, когда неясно было — пойдут бунтовщики на Петербург или нет. Они не пошли. Они попусту теряли время. И потеряли все. Правительству удалось хитростью вывести из округов регулярные части. Удалось собрать военную силу. Поселенцы, оставшись одни, без сочувствующих гренадер, упали духом. Их хватали, заковывали.

Пушкина угнетала бессмысленность происходящего. За жестокостью мятежа следовало изуверское возмездие.

> «Когда привели на плац первую партию, то их невозможно было узнать; до того они были исхудалы, печальны и обросли, что не походили на людей… Для большей безопасности кругом плац-парада гарцевали два

эскадрона драгун. Вскоре приехал генерал Данилов, назначенный для наблюдения за порядком во время экзекуции. Поздоровавшись с полубаталионом Астраханского полка, он начал говорить солдатам, что когда придет время наказывать бунтовщиков-поселян, то не щадить их, — ибо кто окажет им малейшую снисходительность, того он сочтет за пособника и ослушника воли начальства, а следовательно, за такого же бунтовщика, как и поселяне… „Стегать их, шельмецов, без милосердия, по чему ни попало“, — прибавил он. Затем, обратившись к поселенному батальону, собранному для присутствия на экзекуции, сказал: „Ну, что, разбойники? Что наделали? Вот теперь любуйтесь, как будут потчевать вашу братию…“ Страшная была картина: стон и плач несчастных, топот конницы, лязг кандалов и барабанный душу раздирающий бой — все это перемешалось и носилось в воздухе. Наказание было настолько невыносимым, что вряд ли из 60 человек осталось 10 в живых. Многих лишившихся чувств волокли и все-таки нещадно били. Были случаи, что у двоих или троих выпали внутренности… У некоторых несчастных, как, например, у поселянина Егора Степанова, выхлестнули глаз и так водили, а глаз болтался; Морозова, который писал прошение от имени поселян, били нещадно. Несмотря на его коренастую фигуру, высокий рост, он не вытерпел наказания, потому что его наказывали так: бьют до тех пор, пока не обломают палок, потом поведут опять, и снова остановят, пока не обломают палок. Ему пробили бок, и он тут же в строю скончался…»

Это страшно читать. Но надо знать это. Ибо Пушкин тоже это знал. Он знал, где и в какое время живет.

Империя была на краю гибели. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли…» — писал он некогда. Теперь эта формула приобретала новый смысл.

За два года до этого Пушкин писал о Грибоедове:

> «Нет ничего завиднее последних годов бурной его жизни».

Последние годы жизни Грибоедов был крупным дипломатом, влияющим на судьбы государств. Пушкин завидовал Грибоедову — государственному деятелю.

Уже много лет он думал о своем издании — журнале, альманахе. Он все время — из всех своих ссылок — писал об этом друзьям.

«Литературная газета», которую в тридцатом году издавали Дельвиг и Сомов, была все же не совсем своя. Разумеется, он мог напечатать там что хотел. Но он все время был в отъездах — сватовство, Болдино, женитьба. Да и газета была всего лишь — «литературная». Ему и тогда этого казалось мало, а теперь и подавно.

Еще из Москвы — в марте — он писал Плетневу:

> «Я не прочь издавать с тобой последние Северные Цветы. Но затеваю и другое, о котором также переговорим».

Через две недели — опять же Плетневу:

> «Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести: альманаха, журнала, чего доброго и газеты!»

Вот оно — таинственное «другое» из первого письма. Мысль о газете. Об издании мобильном, многотиражном. Но не только в тираже и мобильности дело. Он хотел газету политическую.

8 июня Пушкин получил письмо от управляющего III отделением (то есть начальника тайной полиции) Фон-Фока.

> «Милостивый государь! Будучи бесконечно польщен доверием, которым Вы изволили меня почтить, я прошу Вас принять выражение моей столь же искренней, как и чувствительной благодарности. Позвольте, однако, милостивый государь, возвращая Вам черновик прошения, который Вы имели любезность мне сообщить, — заверить Вас с присущей мне откровенностью, что я далек от того, чтобы покровительствовать одному какому-нибудь литератору, кто бы он ни был, за счет его собратьев. К сожалению, встречаются люди до чрезвычайности склонные к тому, чтобы изображать в дурном свете самые невинные обстоятельства. Вот почему мне приписали влияние, которым я никогда не пользовался и которое было бы совершенно противоположно моим принципам. Я знаю

издателей „Северной Пчелы“ лучше других по прежним, чисто светским отношениям; это единственные литераторы, которые иногда навещают меня и с которыми я иногда обмениваюсь литературными мнениями, не всегда, впрочем, становясь на их сторону. Таким образом, пристрастие к этим господам мне приписывают совершенно безосновательно и даже не без зложелательства. Что касается политических статей, которые я им изредка посылаю для напечатания в их газете, то я делаю это по обязанностям службы, по поручению генерала Бенкендорфа, который обычно скрепляет их своей подписью. По этой самой причине осмеливаюсь думать, что Вы, быть может, хорошо бы сделали, обратившись с Вашим проэктом к генералу Бенкендорфу, который неоднократно давал явные доказательства особой к Вам благосклонности».

По содержанию этого иезуитского послания можно понять, о чем писал Пушкин к столь беспристрастному и откровенному полицейскому деятелю. Очевидно, он посылал Фон-Фоку ходатайство о разрешении издавать «политический журнал». Черновик этого документа написан был еще в 1830 году. Но теперь Пушкин решил, что пришла пора действовать.

Он послал письмо именно Фон-Фоку, а не Бенкендорфу, потому что Фон-Фока считал человеком благородным, а Бенкендорф — это было известно — покровительствовал Булгарину и его «Северной пчеле». Очевидно, в сопроводительном письме Пушкин намекнул на покровительство властей издателям «Пчелы». И хитрый Фон-Фок поспешил этот очевидный факт опровергнуть. И направить Пушкина к Бенкендорфу.

Все пути вели в штаб корпуса жандармов, к бледному голубоглазому генералу, который ненавидел литературу вообще, а Пушкина в особенности. И не просто ненавидел, но и презирал, как человека неосновательного, неблагодарного, которому вскружила голову искусственно раздутая слава.

Около 20 июля, когда в Царское Село стали доходить известия о серьезности событий в поселениях, Пушкин послал Бенкендорфу письмо:

«Если государю императору угодно будет употребить перо мое, то буду стараться с точностью и усердием исполнять волю его величества и готов служить ему по мере моих способностей. В России периодические издания не суть представители различных политических

партий (которых у нас не существует), и правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее общее мнение имеет нужду быть управляемо. С радостию взялся бы я за редакцию *политического и литературного журнала,* т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению».

В прошении, посланном Фон-Фоку, он мотивировал свое желание издавать именно политическую газету (под словом журнал тут надо понимать именно частое периодическое издание, он и «Северную пчелу» иногда называл журналом) очень правдоподобно: коммерчески. Газета с политическими известиями может собрать большой тираж и, стало быть, принести много денег. Газета с большим тиражом может успешно рекламировать книги издателя и его друзей и противостоять в этом смысле «Северной пчеле».

Все достаточно мелко, а потому должно было убеждать.

Но те, от кого зависела судьба будущего издания, поняли, что дело не только и не столько в меркантильных соображениях. Они догадывались, для чего нужна Пушкину газета с ее тысячными тиражами.

Слухи о пушкинском предприятии пошли широко.

И вскоре он получил любопытнейшее письмо от своего старого арзамасского знакомца Филиппа Филипповича Вигеля, человека умного, проницательного, злого, циничного, вполне реакционера.

«Проэкт политико-литературного журнала восхитителен; я им очень занят; я искал и, кажется, нашел обеспеченный и в то же время порядочный способ его исполнения. Вы знакомы с Уваровым, бывшим членом Арзамаса. Хотя он и не в особенно хороших отношениях с моим начальством, но благорасположен ко мне и в хороших отношениях с генералом Бенкендорфом. Ваш проэкт сообщен ему, — он им доволен, он его одобряет, он им увлекается, и, если Вы хотите, он поговорит с Бенкендорфом.

Повторяю, Вы знаете Уварова, знаете, что это придворный, раздраженный своими неудачами, но не настолько злопамятный, чтобы отказаться от хорошего места, которое бы ему предложили. Это человек умный,

пресыщенный умственными наслаждениями, но всегда готовый снова начать литературную и ученую карьеру; в конце концов это добрый малый, но малый тщеславный, досадующий в нетерпении на то, что не достиг ни на одном из двух им выбранных путей того уважения и той власти, на которую он рассчитывал. Теперь он выбрал третий путь — разбогатеть и встретил на нем еще больше препятствий. По-моему, он сильно изменился и сделался гораздо любезнее, чем был раньше; все зло происходит от того, что он сначала вступил на путь славы, потом на путь почестей, приняв их один за другой, и окончательно смешал их. Это ошибка, но его старые друзья были слишком взыскательны. Я бы сказал, даже несправедливы к нему, они предполагали в нем, не знаю почему, твердость стоика, душу римлянина; когда они увидели, что обманулись, они отреклись от него, как от перебежчика или клятвопреступника. Несмотря на все мое уважение, на всю мою уступчивость к ним, я не нахожу его таким виноватым; моя вежливость, мое благорасположение оплачиваются тою же монетою. За мысль Вашего проэкта он ухватился с жаром, с юношеским увлечением. Он обещает, он клянется помогать его исполнению. С того момента как он узнал, что у вас добрые принципы, он готов обожать Ваш талант, которому до сих пор только удивлялся. По своему нетерпению, он хотел бы Вас видеть почетным членом своей Академии паук.

Первое свободное место в Российской Академии Шишкова должно быть Вам назначено, Вам оставлено. Как поэту, Вам не нужно служить, но почему бы Вам не сделаться придворным? Если лавровый венок украшает чело сына Аполлона, почему камергерскому ключу не украсить зад потомка древнего благородного рода? Конечно, все это только предначертания счастия и славы для того, кто не довольствуется только прославлением своей родины, но хочет служить ей своим пером. От Вас только зависит иметь горячих и ревностных сторонников».

Богатое это письмо, если внимательно его читать. А Пушкин читал его весьма внимательно. Он хорошо знал Вигеля и знал, что тот не станет зря выводить такое количество многозначительных фраз.

В начале письма помещена была приманка, наживка.

Обещание выхлопотать политическую газету. Стало быть, и Вигель и те, кто стоял за ним, знали, как нужна она Пушкину. Затем начиналась откровенная торговля. Проницательный и ехидный Вигель не случайно так подробно расписывал прискорбный путь Уварова. Все здесь имело двойной смысл. Ведь и Пушкин шел по пути славы, прежде чем его стали обвинять в тщеславии и стремлении заслужить благоволение двора. И слова о том, что-де «старые друзья были слишком взыскательны», конечно, с одной стороны, относились к Уварову, но с другой — разве старые друзья не порицали еще недавно Пушкина за «Стансы» Николаю? Разве не смотрели на него как на перебежчика? Разве не вынужден был он, Пушкин, оправдываться, писать новые «Стансы»?

Письмо построено безукоризненно: приманка, разъяснение, что терять ему, собственно, нечего — он все равно «перебежчик», далее — посулы: место в Академии, камергерский ключ. Что до ключа, то еще в тридцатом году ходили слухи о пожаловании его Пушкину. И наконец, предупреждение, почти угроза — разумеется, все эти блага для того, кто не просто стихи сочиняет, но… служит своим пером. «Только от Вас зависит иметь горячих и ревностных…»

И важен тон письма — этот восторг ренегатов, получивших надежду на совращение еще одного порядочного человека. И не кого-нибудь — Пушкина. Это восторг от предвкушения удачного союза. Именно здесь зерно будущей смертельной вражды Пушкина и Уварова. Обманутые ожидания рождают особенно постоянную и едкую ненависть.

На союз с Уваровым Пушкин пойти не мог. Ни сейчас, ни позже. Тому были свои важные причины.

Пушкин понимал, что, если он хочет получить газету, он должен убедить правительство в своей лояльности. Он и в самом деле был в тот момент лоялен. Он только считал себя куда умнее правительства. Но это нужно было скрывать до поры до времени. И обещать «с точностью и усердием исполнять волю его величества». Нужно было перехитрить Николая в конечном счете для блага России и самого же Николая.

Без газеты политической было не обойтись. Только она могла быть кафедрой для проповеди. Для поучения и правительства, и общества. Нужно было получить эту газету. Но не любой ценой. Не союзом с Уваровым.

Он ждал ответа от Бенкендорфа.

Чем занимался он в это время? Он занимался историей.

История интересовала его давно. Со времен его молодости. Но тогда и позже — в Михайловском — интерес этот не имел значения самостоятельного. Изучив историю Смутного времени, он написал «Годунова». Когда он писал «Годунова», ему было равно важно показать отношения народа и власти и утвердить новый тип драмы. Утвердить в российской словесности опыт Шекспира. Когда он писал «Полтаву», ему равно важно было изобразить роковую баталию под Полтавой и роковую любовь Марии к Мазепе, убийце ее отца. Движение литературы и движения страстей человека частного занимали его ум.

Теперь было не то. «Собачья комедия литературы» и суета страстей человеческих отступили перед великой драмой мировой истории, которая вошла в его ум и душу.

30 мая 1831 года, сидя в своем кабинете в домике вдовы Китаевой, куда в незашторенные, как всегда, окна било солнце, отхлебнув ледяной воды из стакана и проглотив ложечку крыжовенного варенья, он написал на плотном листе хорошей бумаги, которую он любил:

«Прежде, нежели приступим к описанию преоборота, ниспровергшего во Франции все до него существовавшие постановления, должно сказать, каковы были сии постановления».

Он начал писать историю Великой французской революции. Он начал писать ее, когда во Франции вновь стало неспокойно. Приближались парламентские выборы. В газетах шла резкая полемика. Должна была определиться судьба Франции.

Он начал писать ее, когда устои империи колебались.

Он начал писать ее, когда холера ходила по России, убивая и ожесточая людей.

Он начал писать ее как ученый. Он ненавидел дилетантизм. Он говорил:

«В наше время главный недостаток, отзывающийся почти во всех ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указать на плоды долгих изучений и терпеливых изысканий».

Он задумал труд огромного масштаба. О масштабе этом дает представление план:

«1

Феодальное правление. Его основание.

Большие лены. Малые лены. Вассалы. Народ. Духовенство. Избирали предводителя. Все владение имело общую долю в добыче.

Сношения.

Короля с владельцами, владельцев между собою, владельцев

с вассалами, вассалов между собою.

Национальное собрание. Война и обязательства в отношении короля. Обязательства в отношении вассалов. Правосудие, обычай, законы, привилегии. Независимость, покровительство.

Права владельцев.

Изб. королей, судили, распри, выбивали монету, вели войну между собою, обязанность нести службу по определенным дням. Упадок феодализма.

Крестовые походы, Людовик Святой. Папы. Филипп Красивый. Генеральные Штаты. Парламенты.

2

Феодальное правление, основанное на праве завоевания. Что были предводители. Что был народ. Короли. Телохранители. Продажа должностей. Ришелье. Споры аристократии с парламентами. Уничтожение феодализма. Людовик XIV».

Это план пролога к истории Великой революции. Пролог должен был охватить все Средневековье с его сложнейшими проблемами.

Он начал этот труд с ясным сознанием задачи. Научная подробная история революции была необходима, чтобы понять современность и объяснить ее русским современникам. Понять судьбы нынешней России можно было только среди судеб европейских государств.

Вскоре после начала работы Пушкин писал Елизавете Михайловне Хитрово:

> «Я предпринял обзор Французской революции. Если это возможно, умоляю Вас прислать мне Тьера и Минье. Оба эти труда запрещены. Здесь у меня только „Мемуары, относящиеся к революции“».

На письменном столе возле банки с вареньем начали расти книжные вавилоны. Он работал.

Но события не ждали выполнения замыслов. Они обгоняли и меняли их.

Восставшая Польша требовала Украины. И он, прервав свой труд о Франции, принялся за историю Украины, задуманную еще во времена «Полтавы». Надо было показать, что Украина — неотделимая часть России. Но это был только повод. Его интересовал процесс возникновения империи. А присоединение Украины было одним из важнейших моментов этого процесса. Однако и Украиной ему не пришлось долго заниматься.

Восстали военные поселения. Сама исконная Россия требовала объяснений, а стало быть, изучения. Надо было понять ее дух и движение с самых первых времен.

Французские книги вернулись на полки. За ними последовали «История Малой России» Бантыша-Каменского и «История Руссов», которыми он пользовался для украинских дел.

Он начал составлять план истории России с киевских времен. Набросал несколько отрывков — о стрелецком войске Грозного, о происхождении Романовых.

Казалось, он мечется, не может найти точки, с которой должно начать, не может выбрать тему. А между тем в уме его уже созревал замысел, который станет главным его делом — до смерти.

9

В марте 1830 года Пушкин писал Вяземскому: «Я думаю пуститься в политическую прозу». Политическая проза — это не стихи на политические темы, которые можно писать время от времени. Это — особая сфера деятельности. Он решился войти в эту сферу.

Он думал об этом и мысли свои записывал кратко, но выразительно. Лапидарность его заметок — равно как и прозы — соответствовала точности и ясности его мысли.

> «Невежество русских бар. Между тем как мемуары, политические произведения, романы — Наполеон газетчик, Каннинг поэт, Брум, депутаты, пэры, женщины. У нас баре не умеют писать».

Русские баре невежественны. Между тем именно они — русское дворянство — должны заниматься политической деятельностью. На Западе политические деятели — люди не только образованные, но и обладающие талантом писателей. Каннинг-поэт был руководителем английской политики в двадцатых годах. На Западе политический деятель оставляет после себя мемуары, он пишет книги о политике, он может написать роман. Бенжамен Констан, Шатобриан — парламентарии, государственные люди. А русский барин не всегда грамоте толком обучен.

«Русские великие люди» александровского и николаевского царствования вообще мало его устраивали. Через несколько лет он скажет в одной из заметок:

> «Зачем ничтожных героев. Что делать. Я видел Ипсиланти, Паскевича, Ермолова».

Ипсиланти, русский генерал, попытавшийся возглавить греческое восстание 1820 года, был кумиром молодежи в начале двадцатых годов. Паскевич был наиболее удачливым полководцем нынешнего царствования. Ермолов, надежда декабристов, популярнейший генерал, преследуемый Николаем. Все они вызывают в Пушкине презрение. Ермолова он как-то назвал «великим шарлатаном». В них нет основательности политической, широты, европейской просвещенности. Они не могут спасти Россию.

Парламентские успехи Шатобриана и Констана, публицистика Наполеона и стихи Каннинга были серьезным аргументом в пользу его решения заняться политикой профессионально.

Прежде всего нужна была программа.

Этим он и занимался начиная с тридцать первого года, собирая и систематизируя соображения. И те, что были раньше, и те, что рождались теперь.

В первую очередь надо было уточнить — чего же он хочет.

Он был уверен, что политическая свобода России «неразлучна с освобождением крестьян». А потому необходимо было отменить крепостное право.

Он был уверен, что одно из верных оснований благоденствия государства — есть равенство граждан перед законом. Потому необходимо было укрепить в России законность — как для последнего простолюдина, так и для царя.

Его очень заботило также положение личности. Через несколько лет он скажет в крайнем раздражении:

> «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности не возможно: каторга не в пример лучше».

Парламентские заявления Бенжамена Констана о личной неприкосновенности гражданина были ему куда как понятны.

Российское самодержавие было — вне зависимости от личности монарха — чистейшим деспотизмом. При добром царе деспотизм этот был терпим, при злом — превращался в невыносимый гнет. М-м Сталь говорила шутя, что русское государственное устройство это самовластие, ограниченное удавкой, — речь шла о смерти Павла. Но тем, кто жил в России, было не до шуток. Пушкин полагал, что самодержавие надо ограничить более надежным и цивилизованным средством, чем удавка. И сделать это следовало без насильственных переворотов. В 1831 году он записал:

«Устойчивость — первое условие общественного

благополучия. Как она согласуется с непрерывным усовершенствованием».

Как согласовать устойчивость государственной системы с ее реформированием, ему еще было не совсем ясно. Но что надо идти по пути реформ, а не переворотов — в этом он был убежден.

Для того чтобы проводить реформы, нужна была сила, которая бы этим занималась.

Самой реальной силой было правительство. «Правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения», — писал он Вяземскому в начале 1830 года. В 1826 году Николай создал секретный комитет во главе с графом Кочубеем, бывшим либералом, для разработки планов реформ. В частности, для исследования вопроса об освобождении крестьян. В 1830 году, после пяти лет многообразной деятельности, комитет прекратил свое существование. Правительство нужно было подталкивать, заставлять. Кто мог это делать?

В 1831 году или немного позже — это не играет роли — он составил план большой статьи — «О дворянстве». Он мыслил теперь прежде всего как историк. И заметки начинаются с исторического экскурса. Он прослеживает деградацию дворянства с XVII века. А затем переходит к существу дела:

> «Высшее дворянство не потомственное (фактически). Следовательно, *оно пожизненное:* деспотизм окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость. Потомственность высшего дворянства есть гарантия его независимости; обратное неизбежно связано с тиранией или, вернее, с низким и дряблым деспотизмом».

В Англии, скажем, место в Палате лордов было наследственным. После смерти лорда его наследник механически становился лордом, то есть государственным деятелем. Он не был обязан этим королю. Король не мог отстранить лорда от государственной деятельности. Таким образом, высшее английское дворянство имело возможность оппозиции. Оно было независимо. Оно могло оказывать давление на власть.

В России государь был окружен *чиновниками,* которых он назначал или смещал по своему желанию и которые заменяли «высшее дворянство». Человек мог оказывать влияние на государственные дела только до тех пор, пока царь этого хотел. Естественно, никакая оппозиция в этих условиях была невозможна.

Мысли эти мучили Пушкина постоянно. Еще в 1830 году он писал:

«Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. Смотря около себя и читая старые наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворянские роды уничтожились, как остальные падают и исчезают; как новые фамилии, новые исторические имена, заступив место прежних, уже падают, ничем не огражденные…»

Царское Село. Вид на Камеронову галерею. Акварель неизвесного художника. 1831 г.

Новое бюрократическое дворянство, возвысившееся по манию самодержца, по его прихоти и гибнет, ибо оно не ограждено наследственными правами и противовесом самодержавию быть не может.

А много позже в «Родословной моего героя» сказано было:

Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух…

Вряд ли случайно — для рифмы — выбраны именно князья Пожарские. Князь Пожарский вместе с Мининым спас Россию в Смутное время.

Надежды Пушкина на дворянство происходили вовсе не от того, что он полон был сословными предрассудками.

Нет. Просто он был *реальный политик*. И понимал, что если можно рассчитывать на кого-то в тот момент, то на дворянство.

Проблема крестьянства как политической силы была еще не ясна ему окончательно. Решил он для себя эту проблему только в «Пугачеве».

Сила, которая могла бы ограничивать и направлять власть, была необходима.

«Что такое дворянство? потомственное сословие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? народом или его представителями. С какой целию? с целию иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных предстателей».

Дворянство, стало быть, должно было получать свои права из рук народа и блюсти народные интересы.

Могло ли современное Пушкину дворянство претендовать на эту роль? Никоим образом. Дворянство следовало воспитывать.

> «Нужно ли для дворянства приуготовительное воспитание? Нужно. Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще)».

Проблема дворянской чести занимала его чрезвычайно. Ибо от этого зависело выполнение человеком своего долга. Важно было решить, в чем этот долг заключался.

Одним из главных рычагов воспитания он считал изучение истории. Особенно истории русской. Он писал еще в 1826 году в записке «О народном воспитании»:

> «Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве».

То, что происходило с дворянством в России, вело к катастрофе. Ибо та часть дворянства, которая не могла

примириться с положением вещей, лучшая его часть — не малограмотные баре — становилась идеальным материалом для мятежа.

> «Падение постепенное дворянства; что из того следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.».

Вместо того чтобы быть двигателем благодетельных реформ, отстраненное от государственных дел дворянство с самыми лучшими намерениями шло на страшные беззакония.

В 1834 году он запишет в дневник свой разговор с великим князем Михаилом Павловичем, которому он скажет:

> «Что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниям и на власть и богатство? Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много».

Мысль о новом кровавом возмущении, о грядущей катастрофе не покидала его.

Путем умелого воспитания дворянство следовало превратить в созидательную силу. Дворянству следовало дать возможность окрепнуть. Путем восстановления майоратов — неделимых имений, переходящих по наследству к одному только из наследников, — надо было укрепить дворянство материально. А это в свою очередь вело бы к сознанию независимости.

Если первое он мог взять на себя, то второе было делом правительства. А правительство еще надо было убедить.

10

В своих заметках Пушкин определил власть в России как «низкий и дряблый деспотизм». Он прекрасно отдавал себе отчет в том, с чем имеет дело.

«Медный Всадник» без всадника. Рисунок А. С. Пушкина

Откуда же тогда его лояльность? От надежды на возможность реформ. Надежда эта — от веры в Николая как человека. От веры, что этого человека можно убедить, можно сделать союзником. От безумной веры, что этим человеком можно управлять.

Их первая встреча хорошо известна. «Где бы ты был 14 декабря?» — «На Сенатской площади с моими друзьями».

Полное и точное содержание их разговора неизвестно, но, судя по всему, речь шла о необходимости реформ, о его, Николая, грандиозных преобразовательных планах. Разговор, очевидно, шел и об уважении царя к литературе — «во мне почтил он вдохновенье». Быть может, были сделаны намеки на возможное прощение декабристов. Быть может, именно этим вызваны настойчивые напоминания Пушкина.

Как бы то ни было — разговор был серьезный и обнадеживающий. Иначе невозможно понять восторженные высказывания поэта о царе в первые годы после освобождения из ссылки.

Николай сумел понравиться некоторым декабристам во время следствия.

Пушкин, как известно, ехал на это свидание готовый к резкому разговору, к трагическому для него исходу встречи. И тем не менее внутренне он был готов и к другому варианту. Он понимал теперь своим ясным умом гибельность того пути, который избрали его друзья, как понимал и «необъятную силу правительства, основанную на силе вещей». Он умел смотреть в глаза реальности. Он был готов к союзу с правительством на почетных условиях. Условия превзошли все ожидания. Его освобождали из ссылки. Его освобождали от цензуры. С ним делились планами. Государь явно готов был прислушаться к мнениям первого поэта России. Ему было предложено вскоре изложить свои мысли о народном воспитании.

Царь, оказавшийся вовсе не чудовищем, брал его в союзники.

Разумеется, Пушкин прекрасно понял, что между ним и царем нет и не может быть полного единомыслия. Но царь готов был прислушаться к нему, а это уже было важно.

Не осознав еще себя человеком государственным, Пушкин придавал большое значение влиянию на царя.

Самым тяжким и болезненным в их отношениях была судьба декабристов. Но существовала надежда на перемены в этой судьбе. И была возможность этой перемене способствовать.

Он написал «Стансы» — некоторым образом программу царствования. Его не поняли — с самого начала. Ему пришлось писать послание друзьям, в котором он настаивал на своем праве давать советы царю.

Царь поставил между Пушкиным и собой Бенкендорфа, отношения с которым складывались не всегда идиллически.

И тем не менее воздействие на царя было серьезной надеждой.

И то, что царь делал в это время, подтверждало возможность союза. Было известно, что Николай сразу после окончания следствия по делу 14 декабря приказал составить свод мнений декабристов о положении в России. Один экземпляр он постоянно держал у себя на столе.

В декабре 1826 года, когда он создал секретный комитет Кочубея, Кочубей тоже получил экземпляр свода.

7 мая 1828 года Николай начал войну с Турцией. Россия выиграла эту трудную войну. Одним из результатов победы было освобождение Греции.

Надо помнить, какой восторг в начале двадцатых годов вызвало греческое восстание у всех либералов России. И у Пушкина тоже. Александр тогда предал греков. Восстание турки

подавили. Теперь Николай освободил греков.

Война окончилась в 1829 году.

1830 год тоже принес Пушкину доказательства его правоты. В мае он писал Плетневу:

> «Милый! Победа! Царь позволяет мне напечатать *Годунова* в первобытной красоте… Царь со мною очень мил».

Этот год был чрезвычайно важным для их отношений.

8 середине сентября в Москве началась холера. Меры, принятые московским начальством, оказались недостаточны. Число жертв умножалось. Тогда император выехал в Москву. Неизвестно, увеличило ли его посещение эффективность противохолерных мер, но бодрости москвичам оно, несомненно, прибавило. Поступок был решительный и незаурядный. Рядовых современников он привел в восторг:

> «Государь-то какой ангел! Всем известно, как он любит императрицу и детей своих, — а он оставляет непринужденно все, что сердцу его дорого, ценно, чтобы лететь в Москву, которую описали ему жертвою смертоносной лютой заразы!»

Даже та часть общества, которая была настроена по отношению к царю критически, заколебалась. Вяземский, отнюдь не разделявший в двадцатые годы пушкинских иллюзий, записал 6 октября:

Николай I. Гравюра с оригинала Дж. Доу. 1826 г.

> «Приезд государя в Москву есть точно прекраснейшая черта. Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу Владыке».

Для Пушкина это событие было особенно важно. Оно ускорило принятие рокового решения. Оно убедило его, что на Николая можно рассчитывать. Он писал Вяземскому 5 ноября:

> «Каков государь? молодец! того и гляди, что наших каторжников простит — дай Бог ему здоровье».

Человеческое благородство царя для Пушкина имело ценность прежде всего в аспекте политическом. Благородный царь должен был простить и вернуть декабристов — а это было важно для дела обновления России.

Еще за полгода до всего этого, 16 марта, он говорил в письме тому же Вяземскому:

> «Государь, уезжая, оставил в Москве проэкт новой организации, контрреволюции революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу».

Петр в свое время введением Табели о рангах уничтожил преимущество родового дворянства перед бюрократами. Каждый чиновник, достигнув определенного чина, получал дворянство. Бюрократы, люди без опоры в прошлом и настоящем, существующие только милостью царя и, стало быть, прочная опора деспотизма, потеснили дворян с их склонностью к здоровой оппозиции. Николай, по сведениям Пушкина, собирался вернуть родовому дворянству его значение, поставить бюрократию на место и дать «права людей» униженным классам. Позиции правительства и Пушкина, как ему казалось, совпали. Следовательно, должно было содействовать правительству.

Затем была осень 1830 года — «болдинская осень». Он подвел итоги пятнадцатилетнего литературного труда. Закончив «Онегина», распрощался с двадцатыми годами. Написал «Повести Белкина», положив начало русской прозе и определив законы своей прозы. Написал «Маленькие трагедии», впервые в русской культуре идеально подчинив форму высокой смысловой задаче и потому резко оторвавшись от любой традиции. Создав для себя новый жанр — «драматические изучения», — он показал, что творческая свобода и философическая строгость мысли, сочетаясь, дают необъятные возможности исследования любых проблем — семейных, исторических, общемировых.

Он написал два сочинения необыкновенной личной значимости — «Моя родословная» и «История села Горюхина». Он определил в них свой путь в тридцатые годы. Определил несколько еще иронически, потому что многое было ему неясно в собственном будущем, а многое — страшило.

Но этой осенью в родовом Болдине он доказал себе, что *в*

литературе он может все. И психологически это должно было сыграть огромную роль в выборе жизненной стратегии.

Нужно было определить тактику.

И тут Николай, к которому он напряженно присматривался, проявил себя героически — посетил холерную Москву.

В «Герое», написанном в октябре 1830 года, где Николай сравнивался с Наполеоном, посетившим чумной барак, было сказано:

> Оставь герою сердце! Что же
> Он будет без него? Тиран!..

По своему положению Николай — тиран. Никуда от этого не деться. Но у него благородное сердце. Значит, есть надежда просветить его. Из тирана он может превратиться в просвещенного государя.

Пущин, которого поэт ценил, быть может, больше, чем кого бы то ни было, писал накануне восстания:

> «Случай удобен. Ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов».

Чувство чести, чувство долга было для этих людей необходимым условием жизни. Пушкин был человеком той же формации. Он верил, что ему суждено продолжить дело своих друзей — другими средствами. Они попытались вывести Россию из тупика вооруженной рукой. И не смогли. Он был уверен, что нашел верный путь. Это был его долг. Знать, что случай удобен, — и устраниться, не вмешаться в дела истории было бесчестно.

24 февраля 1831 года он писал Плетневу:

> «Из газет узнал я новое назначение Гнедича. Оно делает честь государю, которого искренне люблю и за которого всегда радуюсь, когда поступает он умно и по-царски».

А в июле — Нащокину:

> «Царь со мной очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики…»

Николай Павлович. Рисунок А. С. Пушкина. 1829 г.

Это не только шутка. Это и затаенная надежда, которая казалась тогда близкой к осуществлению.

Молодой просвещенный царь и первый русский поэт. Газету между тем ему не разрешили. Но он не терял надежды.

11

В те самые дни, когда он с некоторым смущением, а потому иронически писал Нащокину о своей надежде «попасть во временщики», он отправил Бенкендорфу официальную бумагу, о которой уже шла речь. В ней он просил о разрешении издавать политическую газету.

Но кроме того, в бумаге этой были еще две важнейшие просьбы.

> «Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями его величества, мне давно было тягостно мое бездействие. Мой настоящий чин (тот самый, с которым выпущен я был из Лицея), к несчастию,

представляет мне препятствие на поприще службы. Я считался в Иностранной коллегии от 1817-го до 1824-го года; мне следовали за выслугу лет еще два чина, т. е. титулярного и коллежского асессора, но бывшие мои начальники забывали о моем представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало».

Он хотел занять положение официальное — как Карамзин.

> «Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

Несмотря на самоуничижающее заявление, это именно просьба — если помнить начало письма — о предоставлении должности историографа. С чином и жалованьем.

Но важнее жалованья для него в тот момент было именно официальное положение. Он хотел включиться в государственную структуру.

Судя по всему, он уже договорился с царем о вступлении в службу и о работе в архивах. Очевидно, во время одной из их встреч в Царском Селе. Но письмо — задним числом оформляющее эту договоренность — важно по тону и деталям.

Он, фактически, собирается начать там, где кончил Карамзин. Обширный пролог охватывал царствование первых Романовых — от Михаила до Федора. Основное же повествование он хотел начать с Петра I, который сломал дворянство, и кончить Петром III, который указом о вольности дворянства в какой-то степени возвратил его самостоятельность.

22 июля Пушкин писал Плетневу:

> «…царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы, с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли?»

Итак, жребий был брошен. Он стал историографом.

Он не назывался так официально. Но, получив доступ в архивы для писания русской истории, он стал государственным

лицом немалого политического значения.

Такова была традиция начиная с эпохи «Повести временных лет». Создание всех крупных историй — «Повести», «Сказания о князьях Владимирских», Хронографа XV века, Никоновского свода, научных трудов Татищева, Щербатова, Карамзина — всегда было крупной политической акцией. Вмешательством авторов в дела государства.

Пушкин не мог и не хотел был исключением.

Это был его путь борьбы. Его вмешательство в дела царства. Его давление на правительство. Его проповедь обществу. Его миссия.

В черновом варианте записки «О народном воспитании» он назвал «Историю» Карамзина «алтарем спасения, воздвигнутом русскому народу».

Так он смотрел на историю — «алтарь спасения».

Понятие «история» для него включало все — государственные размышления, нравственные уроки, философские идеи. И — науку.

Карамзин писал свою «Историю», чтобы просветить общество и дать урок Александру, которого он любил.

Пушкин приступал к своей истории с той же целью. Но с иными мыслями. И царь был иной.

12

После приезда двора в Царское Село Пушкин время от времени встречал императора во время прогулок. Тот неизменно подзывал поэта, и они беседовали.

Во время одной из таких бесед и было решено вступать Пушкину в службу. Царь держался просто и расположенно.

А. С. Пушкин. Акварель неизвестного художника. 1831 г.

Через несколько дней, гуляя с женой, Пушкин встретил императорскую чету. Наталья Николаевна чрезвычайно понравилась царствующим особам.

Следствия этого свидания тоже были важны.

> «Моя невестка очаровательна; она вызывает удивление в Царском, и императрица хочет, чтоб она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что не глупа; я не то хотела сказать: хоть она вовсе не глупа, она еще немножко робка, но это пройдет, и она, красивая, молодая и любезная женщина, поладит и с двором, и с императрицей» — так писала в августе 1831 года Ольга Павлищева, сестра Пушкина.

Молодая жена Пушкина привлекала внимание не только

императорской фамилии.

Жуковский писал Вяземскому в конце июля:

> «Пушкин мой сосед, и мы видаемся с ним часто. Женка его очень милое творение. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше».

Н. Н. Пушкина. Акварель А. Брюллова. 1831 г.

Василию Андреевичу казалось, что покой царит в недавно еще беспокойной душе его друга. И причину этого он видел в женитьбе.

Между тем покоя не было. Было высокое самообладание. И на душу Пушкина женитьба оказала весьма малое влияние.

Конечно, он женился по любви. Конечно, он был влюблен.

> «Женка моя — прелесть не по одной наружности».

Она была мила, наивна. Она была совершенным ребенком по развитию. Эта детскость не могла не умилять его. Но у него был ясный идеал женщины, светской женщины самого высокого класса — Татьяна из VIII главы.

И он надеялся воспитать жену. Поднять ее до этого идеала.

Он был влюблен, но трезв. Он писал Кривцову, приятелю молодости, с которым ему не было надобности хитрить:

> «Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано.
>
> Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностию. У меня сегодня сплин — прерываю письмо мое, чтобы тебе не передать моей тоски; тебе и своей довольно».

Это было написано перед свадьбой. Конечно, он был влюблен. Но женился он не без трезвого расчета.

Та огромная задача, которая уже в конце двадцатых годов брезжила перед ним, требовала иных условий жизни. Он вспоминал жизнь Карамзина, к которой прикоснулся в лицейские годы. Жизнь Карамзина-летописца, тихий уютный дом. Жизнь устроенная и спокойная. Заботливая, понимающая жена. В этом доме, в этом покое свершал Карамзин свой подвижнический труд.

Ему, Пушкину, нужен был покой. Для свершения своего труда.

Он многое предусмотрел. Он не предусмотрел только ее заурядности.

Екатерина Андреевна Карамзина была женщиной незаурядной. Она понимала — кто ее муж.

Наталья Николаевна Пушкина была женщиной заурядной. Вряд ли она поняла когда-нибудь по-настоящеему, с кем свела ее судьба.

Слишком разным был масштаб. Не умственный, бог с ним! — душевный. Пушкин более всего нуждался в понимании. И этого-то понимания он не видел и от людей куда более умных, чем его

жена.

Ему нужны были единомышленники.

Ближе всего по уму и возможностям стоял к нему Вяземский. Летом 1831 года их близость кончилась. Остался дружеский тон в письмах. Остались общие литературные демарши в печати. Некоторые общие идеи. Но появились внутри отчетливая неприязнь и недоверие.

13

4 сентября Пушкин узнал о взятии Варшавы. На другой день он прислал Россет «Бородинскую годовщину».

Еще в августе он написал «Клеветникам России». Он читал эти стихи императору, императрице и наследнику. Августейшее семейство было довольно.

Оба стихотворения совпадали не только по главному смыслу, но и по словам.

Пятого был молебен во дворцовой церкви. Пушкин присутствовал.

После молебна Николай подозвал Пушкина, поблагодарил за присланную «Бородинскую годовщину», сказал, что стихи превосходны.

До того как появиться в печати — отдельной брошюрой — вместе с «Клеветниками России» и «Старой песней» Жуковского, «Бородинская годовщина» пошла в списках и вызвала восторг.

Но не у всех.

В письме от 11 сентября Вяземский писал Пушкину из Москвы:

> «Дмитриеву минуло вчера 71… Вчера утром приходит к нему шинельный поэт и, вынимая из-за пазухи тетрадь, поздравляет его; Дмитриев, занятый мыслью о дне своего рождения, спрашивает его: а почему вы узнали? — Шинельный поэт заминается и наконец говорит: признаться, вчера в газетах прочел. Дело в том, что он поздравлял с Варшавою и приносил оду Паскевичу. Прощай… Надписывая адрес на письме к тебе, мне всегда хочется сказать:
>
> Спросить в Лицее, в Пантеоне».

Шинельными поэтами называли самодеятельных стихотворцев, которые в надежде на мзду подносили важным лицам свои сочинения.

В письме Пушкин, написавший «Бородинскую годовщину»,

недвусмысленно ставился рядом с тем графоманом, который поднес свои вирши на ту же тему его высокопревосходительству Ивану Ивановичу Дмитриеву.

Вяземский выразил свое презрение к позиции Пушкина достаточно ясно. И упоминание о Лицее не случайно. Намек крайне прозрачный — кем ты был в молодости и кем стал теперь.

В записной книжке Вяземский отвел душу:

«Вот воспевайте правительство за такие меры, если у вас колена чешутся и непременно надобно вам ползать с лирою в руках… Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспевать победы Паскевича».

В том же письме от 11 сентября Вяземский под не очень благовидным предлогом отказывается издавать вместе с Пушкиным журнал, разрешение на который поэт надеялся получить.

Пушкин не простил Вяземскому этого письма.

Они не простили друг другу сентябрь 1831 года.

Вяземский в своем негодовании был не одинок. Литератор Н. А. Мельгунов писал в декабре 1831 года С. П. Шевыреву, близко знавшему Пушкина:

> «Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши. Он мне так огадился, как человек, что я потерял к нему уважение, даже как к поэту. Ибо одно с другим неразлучно. Я не говорю о Пушкине, творце „Годунова“ и пр., — то был другой Пушкин, то был поэт, подававший великие надежды и старавшийся оправдать их. Теперешний же Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща и который, вместо того, чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств, для принесения им в жертву своего дара. Упал, упал Пушкин, и, признаюся, мне весьма жаль этого. О, честолюбие и сластолюбие».

Мельгунов был прав в одном — Пушкин действительно перестал смотреть в лицо Аполлону.

Страшно читать эти слова, написанные порядочным и неглупым человеком.

Страшно видеть, как самые разные силы объединились в осуждении Пушкина.

Все — друзья и враги — понимали, что с ним что-то происходит, что он меняется.

Но враги — во всяком случае Булгарин — лучше поняли

смысл этих перемен.

14

> «„Полтава“ не имела успеха. Вероятно, она и не стоила его; но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям; к тому ж это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся».

Так начинался отрывок из большой статьи «Опровержение на критики», который Пушкин напечатал в 1831 году в альманахе «Денница». Статья была написана в 1830-м. Целиком он ее печатать не стал.

А опровергать было что. С 1830 года его травили.

Он написал послание «Вельможе». Поводом был старый князь Юсупов, темой — XVIII век, со всеми его мудрствованиями и бурями, потрясшими мир. В одном двустишии он очертил суть английского парламента, весьма его занимавшего. В нескольких строчках — беспечность и крах королевской Франции. Тоже предмет немаловажный.

Он написал философско-исторический трактат в прекрасных стихах. Его обвинили в лакействе.

Николай Полевой в «Новом Живописце общества и литературы» напечатал «Утро в кабинете знатного барина». Знатный барин (читай — Юсупов) беседует со своим секретарем Подлецовым.

«КНЯЗЬ….Скажи, что у тебя смешного?

ПОДЛЕЦОВ. Вот листок какой-то печатный; кажется, стихи Вашему Сиятельству.

КНЯЗЬ *(взглянув)*. Как! Стихи мне? А! Это того стихотворца… Что он врет там?

ПОДЛЕЦОВ. Да что-то много. Стихотворец хвалит вас; говорит, что вы мудрец: умеете наслаждаться жизнью, покровительствуете искусствам, ездили в какую-то землю только затем, чтобы взглянуть на хорошеньких женщин; что вы пили кофе с Вольтером и играли в шашки с каким-то Бомарше…

КНЯЗЬ. Нет? Так он недаром у меня обедал… А стихотворцу скажи, что по четвергам я приглашаю его всегда обедать у себя. Только не слишком вежливо обходись с ним; ведь эти люди забывчивы; их надобно держать в черном теле…»

Его обвиняли в том, что он стихами выклянчивает себе право обедать у вельмож. Ни больше, ни меньше.

В том же 1830 году в «Московском телеграфе» появилась пародия на «Собрание насекомых», обвинявшая его и его друзей в подражательстве и подписанная — Обезьяний. Намек на его наружность.

«Вестник Европы» напечатал две подписи «К портрету Хлопушкина».

I

Младой певец Фактыдурая!
Хвала тебе, Евгений наш, хвала!
Ты, глупой скуки яд по капле выпивая,
Неопытным сердцам наделал много б зла…
Но, к счастью, ты велик… на малые дела.

II

О, гений гениев! неслыханное чудо!
Стишки ты пишешь хоть куда.
Да только вот беда:
Ты чувствуешь и мыслишь очень худо!
Хвала тебе, Евгений наш, хвала,
Великий человек на малые дела!

В 1831 году появились такие стихи:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел:
И стих его не звучен,
И гений охладел.
«Бориса Годунова»
Он выпустил в народ:
Убогая обнова —
Увы! — на новый год!

Всех превзошел Булгарин.

В № 30 «Северной пчелы» за 1830 год в фельетоне «Анекдот» Пушкин характеризовался следующим образом:

> «Француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели Музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое существо, как устрица; а голова род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно исступленным в басне Пильпая, бросающим камни в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; который марает белые листы на продажу, чтоб спустить деньги на крапленых листах, и у которого господствующее чувство — суетность».

Через несколько дней Булгарин напечатал рецензию на только что вышедшую главу VII «Онегина».

> «Мы сперва подумали, что это мистификация, просто шутка или пародия, и не прежде уверились, что эта глава VII есть произведение Сочинителя Руслана и Людмилы, пока книгопродавцы нас не убедили в этом. Эта глава VII, два маленькие печатные листика — испещрена такими стихами и балагурством, что в сравнении с ними даже Евгений Вельский кажется чем-то похожим на дело. Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения. Совершенное падение…»

И далее патриот Булгарин сокрушается, что Пушкин, ездивший перед тем в армию Паскевича, не счел возможным воспеть победы русского оружия, снова выпустил в свет «бледного, слабого» Онегина. Это был прямой донос.

Но этого еще мало. За издевательским разбором стихов последовал такой пассаж:

> «Подъезжают к Москве. Тут Автор забывает о Тане и вспоминает о незабвенном 1812 годе. Внимание читателя напрягается; он готов простить Поэту все прежнее пустословие за несколько высоких порывов… Читатель ожидает восторга при воззрении на Кремль, на древние главы храмов Божиих; думает, что ему укажут славные памятники сего *Славянского Рима* — не тут-то было. Вот в каком виде представляется Москва воображению нашего Поэта:

Прощай, свидетель *падшей* (?) славы (??????)».

Это было неожиданно даже со стороны Булгарина. Ведь из соседних стихов безошибочно явствовало, что речь идет о падшей славе Наполеона, коей Москва была свидетелем. Но Фаддей Венедиктович пошел на подтасовку, для которой слова «наглая» или «бесстыдная» — бледны. Он надеялся, что многие читатели, и в том числе генерал-адъютант Бенкендорф, ограничатся сведениями из его рецензии, и Пушкин будет обвинен в надругательстве над святыней. Это была иллюстрация к фразе из «Анекдота»: «бросает рифмами во все священное».

Однако в данном случае Булгарин пошел несколько дальше, чем следовало. Бенкендорф был статьей доволен. Но император вознегодовал. Он приказал Бенкендорфу сделать Булгарину внушение и даже заговорил о возможном закрытии «Северной пчелы».

Это заступничество, разумеется, сыграло роль в расцвете иллюзий следующего 1831 года.

Ф. В. Булгарин-гостинодворец. Рисунок Р. К. Жуковскогого. 1840-е гг.

Между тем в октябре 1830 года Булгарин напечатал в 12 томе собрания своих сочинений, которое выходило в то время, повесть «Предок и потомок». В повести этой стольник царя Алексея Михайловича некто Свистушкин проспал в замороженном состоянии двести лет и проснулся в XIX веке. Проснувшись, он стал искать своих потомков и нашел поэта Никандра Семеновича Свистушкина, автора двух сочинений — «Воры» и «Жиды» (то есть «Братья Разбойники» и «Цыганы»). Что же слышит он о своем потомке?

> «Ваш потомок и его товарищи, право, в существе, добрые ребята и вовсе не опасны. Винные пары и угар от самолюбия перевернули мозг в их голове, и тщеславие заглушило все другие чувствования. Они сами не знают,

чего хотят и что делают! Вопят противу всего в чаду винного упоения; помахивают деревянными кинжалами и грозят бумажными перунами негодования, а на деле лижут прах ног каждого сильного, из одной надежды получить что-либо, и ради обеда прославляют в посланиях блистательных шутов».

Наконец, увидев потомка, предок приходит в ужас:

«Какой это потомок мой? Это маленькое зубастое и когтистое животное, не человек, а обезьяна!»

Здесь политический донос замыкался издевательством над внешностью Пушкина. Обыгрывался его небольшой рост, белые зубы и длинные ногти. «Не человек, а обезьяна!»

Этой биологической ненависти было свое вполне логическое объяснение.

«Северная пчела» была очень популярна. Романы Булгарина раскупались и читались с упоением средним читателем. К его мнению публика прислушивалась. В провинции он был просто оракулом.

Единственным, кто мог ему противостоять, был Пушкин. И дело было не только в тщеславии или денежной выгоде. Булгарин был гением пошлости. Пошлость как форму существования он проповедовал со страстью. Эта идея была ему дорога. Потому все, что делал Пушкин, было ему враждебно как разрушение его идеи.

Была борьба за публику. И была борьба за влияние на правительство. Булгарин представлял Бенкендорфа в литературе. Пушкин делал ставку на Николая. «Стансы» и «Друзьям» были тому доказательством. Равно как и его устные речи, доходившие до Булгарина.

Влияние Пушкина могло оказаться сильнее булгаринского. Политическая подоплека пасквилей была вызвана именно этим. Булгарин хотел внушить недоверие к Пушкину.

В 1830 и 1831 годах враждебная Пушкину пресса точно с цепи сорвалась. И не случайно. Ибо становилось ясно, что из романтического поэта — в их представлении — он становился деятелем. Это было опасно.

Пушкин понимал серьезность ситуации. Погодин записал в дневник в январе 1830 года:

«Пушкин сердится ужасно, что на него напали все».

Надо было действовать.

И в 1831 году он напечатал в «Телескопе» две оглушительные

статьи, в которых все расставил по местам — истинные «заслуги» Булгарина перед русской литературой, его увольнение из русской армии и службу у Наполеона, его связи с полицией — все было сказано так, как мог сказать только Пушкин.

Получил свое и Греч.

На тот случай, если «Северная пчела» не уймется, было обещано продолжение.

Булгарин замолчал. Но вряд ли только от испуга. Он, надо сказать, был не из робкого десятка и обладал темпераментом кабана. Впав в ярость, он переставал соизмерять поступок с возможным результатом. Тут, очевидно, сыграли роль новые отношения Пушкина с императором летом 1831 года. И новое — официальное положение Пушкина.

Кабан кабаном, но тяжелой руки Николая Булгарин боялся.

Летом тридцать первого года Пушкин написал только одну крупную вещь в стихах — «Сказку о царе Салтане». Историю клеветы. Клеветы, сперва восторжествовавшей, а потом посрамленной.

15

Для реализации планов Пушкину нужна была сила.

Кроме проблематичной опоры на императора, нужно было опираться на силу собственную. Собственную силу могла дать популярность.

Он писал в черновом письме к Бенкендорфу в 1830 году:

> «Могу сказать, что в последнее пятилетие царствования покойного государя я имел на все сословие литераторов гораздо более влияния, чем министерство, несмотря на неизмеримое неравенство средств».

Он писал правду. В двадцатые годы он был силен «мнением народным». Он был популярен.

Теперь той популярности не было. То, что он писал в последнее время, не вызывало восторга у читателей. То, что он собирался писать, тем более не могло этого восторга вызвать.

Однако менять свое направление он не мог. Он собирался писать то, что считал должным. Стало быть, разрыв мог только увеличиться.

Но он надеялся совершить невозможное. Ему нужно было быть сильным.

Сознавал ли он, на что идет? Подходил ли он для роли государственного человека? Не переоценил ли он свои

возможности на поприще политическом?

Во-первых, он был поражающе умен. Иван Киреевский, незаурядный мыслитель, писал после знакомства:

> «В Пушкине я нашел больше, чем ожидал. Такого мозгу, кажется, не вмещает ни один русский череп, по крайней мере ни один из ощупанных мною».

Во-вторых, он был умен умом универсальным. В том числе и государственным. Мицкевич, человек огромного масштаба, писал о своем друге:

> «Когда он говорил о политике внешней или отечественной, можно было подумать, что это человек заматерелый в государственных делах и пропитанный ежедневным чтением парламентских дебатов».

Когда Пушкин умер, Мицкевич сказал, что смерть эта «нанесла опасный удар умственной жизни России».

Только теперь мы можем оценить в полной мере его правоту.

1832

Пушкин столь же умен, сколь практичен; он практик, и большой практик…

С. А. Соболевский — С. П. Шевыреву. 1832

Спрашиваю, по какому праву «Северная Пчела» будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь «Северный Меркурий»?

Пушкин. 1831

Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его… Водворить хочет новую систему.

Н. А. Муханов. Из дневника. 1832

1

Он стал чиновником.

После летних переговоров с государем, когда принципиально вопрос был решен, наступила пауза до ноября.

14 ноября 1831 года на запрос Министерства иностранных дел — каким чином принять «известного нашего поэта, коллежского секретаря Пушкина» в службу, последовал ответ:

> «Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять в службу тем же чином…»

Дальше дело пошло своим чередом. Государственная машина помещала его в себя неторопливо, тщательно, обдуманно. Каждый шаг был обставлен величественными формальностями. Для всех этих людей он как бы заново рождался.

3 декабря 1831 года граф Нессельроде запрашивал государя:

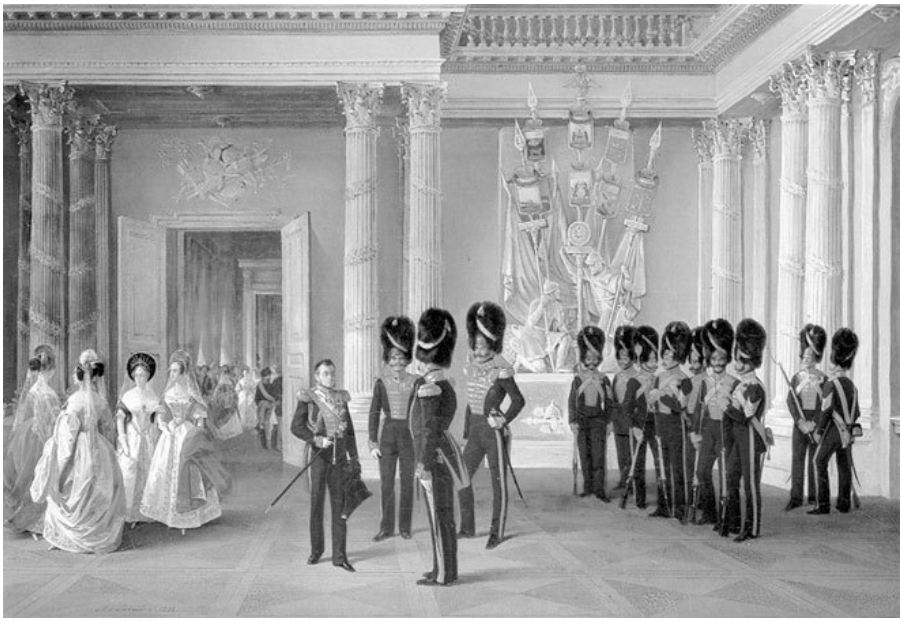
> «Вашему императорскому величеству благоугодно было повелеть определить Коллежского Секретаря Пушкина в Коллегию Иностранных дел тем же чином, оставив производство его в следующий чин до 6 декабря. Перед наступлением сего времени я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего соизволения на пожалование Пушкина в Титулярные советники».

Это было весьма торжественное действо — производство коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники. Ни царь, ни тем более Нессельроде не чувствовали идиотизма происходящего. Впрочем, быть может, они были правы. Происходящее было серьезно.

> «1831 г. декабря в 4-й день по Указу его императорского величества в Государственной Коллегии Иностранных Дел, во исполнение высочайшего указа, объявленного сей коллегии г. вице-канцлером в 14-й день минувшего ноября, в котором написано: „Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина считать в ведомстве сей коллегии, привести его на верность службы к присяге и взять надлежащую подписку о непринадлежности к тайным обществам“».

6 декабря 1831 года последовало высочайшее решение:

> «Государь император всемилостивейше пожаловать соизволил состоящего в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел, коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники».



Развод караула в Зимнем дворце. В центре зала — К. В. Нессельроде.

27 января 1832 года титулярный советник Пушкин принял присягу на верность службы и дал расписку о непринадлежности к тайным обществам и масонским ложам.

27 января 1832 года он стал полноправным членом великой корпорации российских чиновников. Свершилось. Он сам этого хотел. Он сам дал толчок этому необратимому движению. Он желал быть внутри системы, чтобы воздействовать на нее. Он вступил в игру, законы которой были ему чужды. Поэтому он не относился к ним всерьез. Но для тех, кто держал банк, законы эти были священны.

2

7 февраля 1832 года.

> «Генерал-адъютант Бенкендорф покорнейше просит Александра Сергеевича Пушкина доставить ему объяснение, по какому случаю помещены в изданном на сей 1832 год альманахе под названием Северные Цветы некоторые стихотворения его, и между прочим *Анчар, древо яда,* без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения».

Пушкин ответил в тот же день.

> «Милостивый государь Александр Христофорович.
>
> Ваше высокопревосходительство изволили требовать от меня объяснения, каким образом стихотворение мое, *Древо яда,* было напечатано в альманахе без предварительного рассмотрения государя императора: спешу ответствовать на запрос Вашего высокопревосходительства.
>
> Я всегда твердо был уверен, что высочайшая *милость,* коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и *права,* данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры…»

Дело было, естественно, не в самом факте публикации, что и прежде бывало и не вызывало нареканий. Дело было в «Анчаре», который не без оснований показался подозрительным.

Это значило, что за ним следят, и следят пристально. После идиллических бесед с государем в Царском, после чтения «Клеветникам России» императорской семье, после тех знаков внимания, которые императрица оказывала Наталье Николаевне, после того, как его надежды на влияние государственное казались такими реальными, — после этого он понял, что ему доверяют не больше, чем прежде.

Он не был прекраснодушен и наивен. Но, сам будучи человеком глубоко порядочным, с ясным понятием о чести, он не думал, чтобы люди столь высокого положения, как царь, Бенкендорф, Фон-Фок, лгали ему. Ему казалось, что им смысла нет ему лгать. Свое нерасположение они могли выразить, ничего не опасаясь.

Они, однако, выражали расположение. И лгали.

Когда в 1830 году, сватаясь к Натали Гончаровой, он просил Бенкендорфа разъяснить ему его, Пушкина, положение, шеф жандармов, в частности, ответил, что никто к нему, Пушкину, не имеет никаких претензий, что царь к нему благоволит, что никакого надзора за ним нет.

Письмо Бенкендорфа было написано 28 апреля 1830 года.

12 апреля того же года Вяземский писал жене:

> «Государь, встретясь однажды с Жуковским, кажется, у императрицы, сказал ему: Пушкин уехал в Москву. Зачем это?.. Жуковский ответил, что он не знает причины отъезда его. Государь: „Один сумасшедший уехал, другой сумасшедший приехал“».

Другим сумасшедшим был Вяземский. В Москву Пушкин уехал без спросу за месяц перед тем. История была свежая.

О полицейском надзоре Бенкендорф выразился так:

> «Никогда никакой полиции не давалось распоряжение иметь за вами надзор».

Между тем тщательный полицейский надзор велся за Пушкиным с 1828 года по решению Государственного совета. Куда бы Пушкин ни ехал — отовсюду поступали соответствующие донесения. Бенкендорф их внимательно читал.

Надо отдать должное как Николаю, так и его голубому ангелу-хранителю — солгать человеку в лицо им ничего не стоило.

Пушкин этого понять не мог. Он не знал, что они говорят о нем между собой презрительно и менее всего расположены принимать от него советы. История с «Анчаром» насторожила его.

Но планов своих он не изменил. Он продолжал верить в благородное сердце государя и возможность — даже в таких условиях — вразумить людей.

3

Среди немногочисленных пушкинских стихотворений 1832 года есть подражание Данте:

> И дале мы пошли — и страх обнял меня.
> Бесенок, под себя поджав свое копыто,
> Крутил ростовщика у адского огня.
>
> Горячий капал жир в копченое корыто.
> И лопал на огне печеный ростовщик.
> А я: «Поведай мне, в сей казни что сокрыто?»
>
> Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик:
> Одно стяжание имев всегда в предмете,
> Жир должников своих сосал сей злой старик
> И их безжалостно крутил на вашем свете».

Вряд ли стихи эти случайны, ибо Пушкин выбрал отнюдь не типичный для Данте сюжет.

В предыдущем году дел, напоминающих этот сюжет, у него было немало.

21 июля 1831 года он писал Нащокину в Москву:

> «С Догановским не худо, брат, нам пуститься в разговоры или переговоры — ибо срок моему первому векселю приближается».

29 июля ему же:

> «Что ты делаешь? ожидаешь ли своих денег и выручишь ли ты меня из сетей Догановского?»

Известному игроку Огонь-Догановскому Пушкин должен был 25 тысяч.

Как и все узлы последних шести лет, узел денежный завязался в 1831 году.

В феврале этого года Пушкин писал Плетневу:

«Через несколько дней я женюсь: и представлю тебе хозяйственный отчет: заложил я моих 200 душ, взял 38 000 — и вот им распределение: 11 000 теще, которая непременно хотела, чтоб дочь ее была с приданым, — пиши пропало.

10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остаются 17 000 на обзаведение и житье годичное».

Он плохо рассчитывал бюджет. Не хватило 17 000. Не хватило и тех, что получал он от Смирдина. Его письма царскосельского лета полны денежными расчетами. А ведь это были самые благополучные месяцы.

В последнее время перед женитьбой он неудачно играл. Образовались большие карточные долги.

Ему нужен был покой и независимость. Самая простая, бытовая, материальная. Быт Карамзина…

Для этого нужно было прежде всего рассчитаться с долгами.

10 января 1832 года.

> «Мой любезный Павел Воинович, дело мое может быть кончено на днях; коли бриллианты выкуплены, скажи мне адрес Рахманова. Я перешлю ему покамест 5500 рублей; на эти деньги пусть перешлет он мне бриллианты (заложенные в 5500). Остальные выкуплю, перезаложив сии. Сделай милость, не поленись отвечать мне. Весь твой».

15 января 1832 года:

> «Боюсь я, любезный Михаило Осипович, чтоб долгая

разлука совсем нас не раззнакомила; однако попытаюсь напомнить тебе о своем существовании и поговорить о важном для меня деле. Надобно тебе сказать, что я женат около года, и что вследствие сего образ жизни моей совершенно переменился, к неописанному огорчению Софьи Остафьевны и кавалергардских шаромыжников. От карт и костей отстал я более двух лет; на беду мою, я забастовал будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатой карточных долгов, расстроили дела мои. Теперь обращаюсь к тебе: 25 000, данные мне тобой заимообразно, на три или по крайней мере на два года, могли бы упрочить мое благосостояние. В случае смерти, есть у меня имение, обеспечивающее твои деньги. Вопрос: можешь ли ты мне сделать сие, могу сказать, благодеяние».

Это письмо старому приятелю и собутыльнику Судиенко. Денег Судиенко не дал.

А петербургская жизнь была, разумеется, дороже царскосельской. И винить было некого. Никто его не заставлял. Он сам выбрал эту жизнь.

Жалованья назначенного он все не получал.

3 мая он, потеряв терпение, написал Бенкендорфу:

«Генерал, Его величество, удостоив меня вниманьем к моей судьбе, назначил мне жалование. Но так как я не знаю, *откуда и считая с какого дня* я должен получать его, то осмеливаюсь обратиться к Вашему превосходительству с просьбой вывести меня из неизвестности. Благоволите простить мою докучливость и отнестись к ней со свойственной Вам снисходительностью».

Но письмо это отнюдь не сразу возымело действие…

В сознании читающей публики — и, стало быть, покупателя книг, — Пушкин был прежде всего автором поэм. Именно поэм ждали от него. Новый «Бахчисарайский фонтан», новых «Цыган»… Именно поэмы могли принести крупные гонорары. Поэмы с романтическим сюжетом спасли бы его от безденежья.

4

Ему было не до поэм. Его исторические планы оформлялись в уме его и не давали покоя. Ему хотелось начать работу в архивах

немедленно.

12 января Нессельроде запрашивал Николая — на всякий случай, — ко всем ли документам можно допускать Пушкина.

> «Осмеливаюсь испросить, благоугодно ли будет Вашему императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся, как-то: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче; также дела бывшей Тайной канцелярии».

Нессельроде сомневался. Он хотел предостеречь государя, который дал этому сомнительному титулярному советнику разрешение на вход в архивы, явно не подумав о тех весьма щекотливых и прямо касающихся чести императорской фамилии документах, которые могли попасть в руки нескромному читателю.

Н. Н. Пушкина. Рисунок А. С. Пушкина 1832 года

Царь понял свой промах. И 15 января Нессельроде сообщил тайному советнику Блудову знатоку петровского архива:

> «Его императорское величество ‹…› повелели ‹…› чтобы из хранящихся в здешнем Архиве дел секретные бумаги времен императора Петра I открыты были г. Пушкину не иначе, как по назначению Вашего превосходительства и чтобы он прочтением оных и составлением из них выписок занимался в Коллегии иностранных дел, и ни под каким видом не брал бы вообще всех вверяемых ему бумаг к себе на дом».

19 января Блудов обратился к Пушкину:

> «Милостивый государь Александр Сергеевич. Г-н вице-канцлер сообщает мне, что по всеподданнейшему

докладу его о дозволении Вам пользоваться находящимися в архивах Министерства иностранных дел матерьялами для сочинения истории императора Петра Первого его императорское величество изъявил на сие высочайшее соизволение с тем, чтобы вообще чтением вверяемых Вам бумаг того времени и выписками из оных Вы занимались в самом Архиве и чтобы из числа помянутых бумаг секретные были открываемы Вам по моему назначению».

К нему таким образом была приставлена нянька. С Карамзиным ничего подобного не проделывали. Но, по правде сказать, Блудов ему не очень мешал. Они встретились в феврале и договорились о порядке работы.

Пушкин вошел в архивы.

Быть может, впервые в русские архивы — плохо разобранные, строго охраняемые, набитые бездной ценнейших документов — вошел человек, так идеально подготовленный для жизни среди этих взывающих к потомкам бумаг. Вошел человек с чутьем великого историка. Вошел ученый, желающий не подбирать факты к любезной его сердцу идее, но ищущий понять эту историю — разбросанную, кровавую, скрытную, выталкивающую на поверхность малозначащее и прячущую в глубине свои роковые движения. Недаром же мыслителям, говорившим об особой судьбе России, приходилось больше опираться на ощущения, чем на факты. И тем не менее они были правы.

Он был из тех немногих людей своего века, которые хотели понять судьбу России исходя из фактов. Для этого требовалась изнурительная работа архивиста-историка. Он был к ней готов.

Он держал в руках опись «Дела под названием „Архив императора Петра I“».

Это был океан документов. Часть из них была опубликована, но это не намного уменьшало трудность будущей работы. Трудности не пугали его.

К постоянному изучению петровских бумаг Пушкин приступил не сразу.

17 февраля он получил письмо от Бенкендорфа:

«Шеф жандармов, командующий императорскою главною квартирою, генерал-адъютант Бенкендорф, свидетельствуя свое почтение Александру Сергеевичу, честь имеет препроводить при сем один экземпляр полного собрания законов Российской империи, назначенного Александру Сергеевичу в подарок его императорским величеством».

Это было понятно — лицу, занимающемуся изучением российской истории, лицу официальному, следовало знать законы империи, которые были как бы результатом самой этой истории.

24 февраля историограф Пушкин ответил шефу жандармов, командующему главною императорскою квартирою, генерал-адъютанту Бенкендорфу:

> «С чувством глубочайшего благоговения принял я книгу, всемилостивейше пожалованную мне Его императорским величеством. Драгоценный знак царского ко мне благоволения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда и который будет ознаменован если не талантом, то по крайней мере усердием и добросовестностью.
>
> Ободренный благосклонностью Вашего высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь побеспокоить Вас покорнейшею просьбою: о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его Истории Петра Великого».

29 февраля он получил дозволение. Получил дозволение в изъятие из строжайшего правила, введенного императором, — исследовать библиотеку Вольтера категорически запрещалось. Очевидно, император считал, что слишком много государственных и прочих тайн, совершенно не обязательных для простых смертных, знал этот французский проныра.

В марте Пушкин начал работать в библиотеке Вольтера, купленной некогда Екатериной II и находившейся теперь в Эрмитаже.

Там были редчайшие документы. Недаром Вольтер «собирал рукописи по всей Европе» — как он сам говорил. Кроме тех петровских материалов, которые получил из России. Там были, например, мемуары послов, аккредитованных при русском дворе во времена Петра.

А. Х. Бенкендорф. Гравюра с оригинала Дж. Доу. 1824 г.

Разбирая архивные тексты, обдумывая план труда, Пушкин отнюдь не забывал, что исторические его штудии — только часть задачи. Хотя и весьма важная.

5

В январе 1832 года в Москве вышел первый номер журнала «Европеец», который издавал Иван Васильевич Киреевский. Молодой Киреевский был человеком не только большого ума и образованности, но и превосходных нравственных качеств. Пушкин Киреевского ценил, изданию журнала радовался и собирался в нем сотрудничать. Это было если не собственное издание, то, во всяком случае, безусловно дружественное.

Вышло два номера журнала. Затем его закрыли.

«Журнал „Европеец“ издается с целью

распространения духа свободомыслия. Само по себе разумеется, что свобода проповедуется здесь в виде философии, по примеру германских демагогов Яна, Окена, Шеллинга и других, и точно в таком же виде, как сие делалось до 1813 года в Германии, когда о свободе не смели говорить явно. Цель сей философии есть та, чтоб доказать, что род человеческий должен стремиться к совершенству и подчиняться одному разуму, и как действие разума есть *закон,* то и должно стремиться к усовершенствованию *правлений.* Но поелику разум не дан в одной пропорции всем людям, то совершенство состоит в соединении многих умов воедино, а вследствие сего разумнейшие должны управлять миром. Это основание республик. В сей философии все говорится под условными *знаками,* которые понимают адепты и толкуют профанам. Стоит только знать, что *просвещение* есть синоним *свободы,* а деятельность *разума* означает *революцию,* чтобы иметь ключ к таинствам сей философии».

Так ясно и просто растолковывался в доносе на Киреевского злонамеренный смысл его выступления на поприще русской журналистики.

Разумеется, никакого «усовершенствования правлений» допускать не следовало. А потому — в полном соответствии с толкованием неизвестного нам доносчика — граф Бенкендорф, шеф жандармов и командующий императорской главной квартирой, писал князю Ливену, министру народного просвещения, 7 февраля. 1832 года:

«Государь император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве Иваном *Киреевским* журнала под названием „Европеец“ статью *Девятнадцатый век,* изволил обратить на оную особое свое внимание. Его величество изволил найти, что все статьи сии есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. — Но стоит обратить только некоторое внимание, чтоб видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под словом *просвещение* он понимает *свободу,* что *деятельность разума* означает у него *революцию, искусно отысканная середина* не что иное, как *конституция.* Посему его величество изволит находить, что статья сия не должна быть дозволена в журнале литературном, в каковом

воспрещено помещать что-либо о политике, и как, сверх того, оная статья, невзирая на ее наивность, писана в духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре оной пропускать».

Здесь два обвинения. Во-первых, политическая статья напечатана в литературном журнале, что запрещено. Во-вторых, статья эта зашифрованная и проповедует «усовершенствование правлений», то есть революцию.

Киреевский отнюдь не был революционером. Статья его была зашифрована не более, чем приказ о закрытии журнала. Умная статья эта трактовала проблемы культурно-философские, очень для России важные, но ничего революционного в ней не содержалось. И только бредовое полицейское сознание могло в ней эту зашифрованную революционность усмотреть.

Но это была особенность сознания. Как мы помним, в тот же день — 7 февраля — Бенкендорф отправил Пушкину резкий запрос по поводу «Анчара», и Пушкин в черновом варианте ответа писал:

> «Подвергаясь один особой, от Вас единственно зависящей цензуре — я, вопреки права, данного государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре, ибо весьма простым образом — сия цензура будет смотреть на меня с предубеждением и находить везде тайные применения, allusions и затруднительности — а обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом *дерево* будут разуметь конституцию, а под словом *стрела* самодержавие».

Пушкин писал это около 20 февраля, когда подробности дела Киреевского были уже известны ему, и сарказм его относится не только к истории с «Анчаром».

Надежды на «Европейца» рухнули. Надо было думать снова о своей газете.

Письмо Бенкендорфа Ливену важно в двух отношениях. Во-первых, оно объясняет, почему Пушкин так добивается именно политической газеты. Дело было не только в том, что политическая газета лучше расходилась бы.

А. Х. Бенкендорф. Рисунок 1829 года

В литературном издании запрещалось говорить о политике. Не только вещи неблагонамеренные. Любые. А ему нужно было говорить именно о политике. Во-вторых, письмо это дает представление — в какой идиотической атмосфере сыскного восторга собирался он стать журналистом.

Разумеется, он колебался. Но газета была ему необходима. И он снова решился.

27 мая он писал Бенкендорфу:

> «Теперь позвольте мне обеспокоить Вас по некоторому личному делу. До сих пор я сильно пренебрегал своими денежными средствами. Ныне, когда я не могу оставаться беспечным, не нарушая долга перед семьей, я должен думать о способах увеличения своих средств и прошу на то разрешения Его величества. Служба, к которой он соблаговолил меня причислить, и мои литературные занятия заставляют меня жить в Петербурге, доходы же мои ограничены тем, что доставляет мне мой труд. Мое положение может обеспечить литературное предприятие, о разрешении которого я ходатайствую, — а именно: стать во главе газеты, о которой господин Жуковский, как он мне сказал, говорил с Вами».

Стать во главе газеты. Царь дал согласие.

Многие серьезные литераторы, узнав об этом, выразили свой восторг. Они, несомненно, смотрели на будущее издание как на предприятие литературное.

В публике, однако, раздавались голоса, сетующие на то, что романтический поэт с «созерцательной, идеальной душой» из соображений меркантильных опускается до низменного ремесла журналиста. Вспоминали о временах «Бахчисарайского фонтана». В этих людях жило — и будет жить до конца — полное непонимание процессов, которые происходили в сознании Пушкина.

Публика. И если бы только публика. Гоголь писал, имея в виду Пушкина, в ноябре 1832 года:

> «В нынешнее время приняться за опозоренное ремесло журналиста не слишком лестно и для неизвестного человека, но гению этим заняться — значит помрачить чистоту и непорочность души своей и сделаться обыкновенным человеком».

И тут все тот же романтический слепой взгляд. А ведь это Гоголь.

Павел Вяземский вспоминал:

> «Семейство наше переехало в Петербург в октябре 1832 года. Я живо помню прощальный литературный вечер отца моего с его холостой петербургской жизнью, на квартире в доме Межуева у Симеоновского моста. В этот вечер происходил самый оживленный разговор о необходимости положить предел монополии Греча и Булгарина и защитить честь русской литературы, униженной под гнетом Булгарина, возбуждавшего ненависть всего Пушкинского кружка более, чем его приятель. За Греча прорывались изредка и сочувственные возгласы. И в этот вечер речь шла о серьезном литературном предприятии, а не о ежедневной политической газете».

Последняя фраза весьма осведомленного Павла Вяземского многое объясняет. Для «Пушкинского кружка» ежедневная политическая газета отнюдь не была «серьезным литературным предприятием». Серьезным предприятием она была только для самого Пушкина. За этой фразой стоят мучительные разногласия Пушкина и его ближайших друзей. Друзей, которые в самом серьезном для Пушкина деле не могли стать его соратниками.

Разумеется, многие из них радовались возможному появлению пушкинской газеты, но радовались как событию *литературному*. Вяземский писал И. И. Дмитриеву:

> «В литературном мире, за исключением обещанного позволения, данного Пушкину, издавать газету и с политическими известиями, нет ничего нового. Но и это — важное событие, ибо подрывается журнальный откуп, снятый Гречем и Булгариным».

Самое главное для Вяземского то, что «подрывается» журнальная позиция «Северной пчелы».

Однако он только повторяет слова Пушкина.

В начале сентября Пушкин писал Погодину:

> «Какую программу хотите Вы видеть? Часть политическая — официально ничтожная; часть литературная — существенно ничтожная; известие о курсе, о приезжающих и отъезжающих: вот вам и вся программа. Я хотел уничтожить монополию, и успел. Остальное мало меня интересует. Газета моя будет немного похуже Северной Пчелы. Угождать публике я не намерен; браниться с журналами хорошо раз в 5 лет, и то Косичкину, а не мне. Стихотворений помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публикой; на то проза — мякина. Одно меня задирает: хочется мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы».

Странное это письмо. Раздраженное. Может быть, надо делать поправку на изменившееся в то время отношение Пушкина к Погодину.

Да и вообще концы с концами не сходятся. Стоило ли столько стараться, так упорно добиваться разрешения на издание, чтобы издавать нечто совершенно невразумительное — хуже «Северной пчелы»? Неужели Пушкиным, три года осаждавшим правительство просьбами, двигало только стремление насолить Булгарину и Гречу?

Он столько раз выдвигал на первый план денежный свой интерес. А какую выгоду могла принести газета, столь мало привлекательная для подписчиков?

И стоило ли издавать *политическую* газету специально для того, чтобы обругать в ней французскую литературу? Это Пушкин мог сделать и в чужих журналах. Или — во всяком случае — в собственном *литературном* издании.

Таким образом, письмо Погодину, где Пушкин суммирует обычные свои мотивы, якобы заставлявшие его издавать газету, своей противоречивостью доказывает, что мотивы эти были отнюдь не главными.

Главные мотивы Пушкин держал про себя. Ему не с кем было ими делиться.

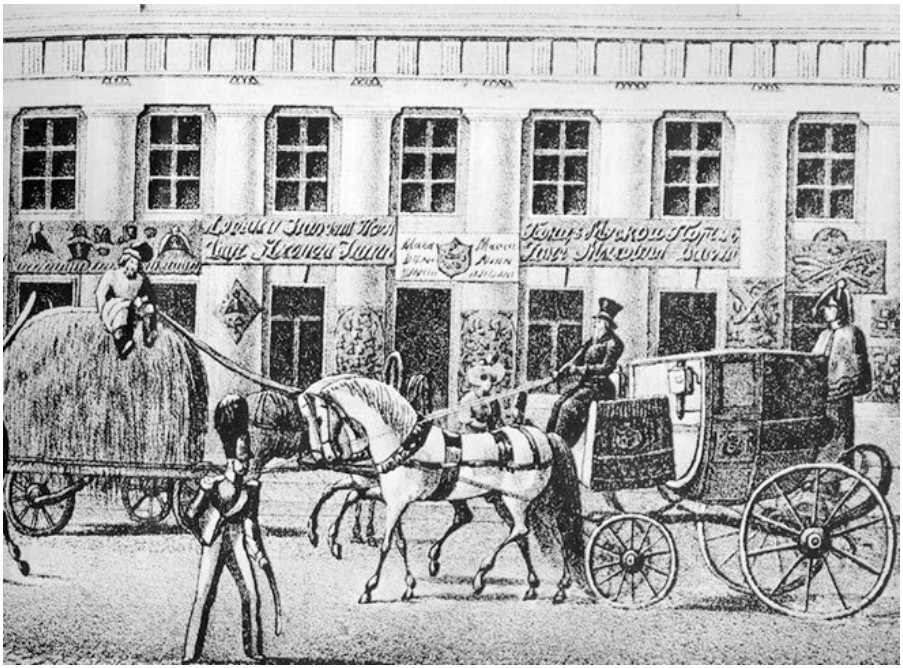
Иногда только он приоткрывался. Дневник Муханова:

> «5 июля….Пушкин говорил долго. Квасной патриотизм. Цель его журнала, как он ее понимает, доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как доселе было. Водворить хочет новую систему. Я много ожидаю добра от сего журнала».

Что можно понять несомненно из этой скупой записи? Что Пушкин в своем издании собирался выступать против квасного патриотизма. Что он надеялся привлечь правительство на свою сторону, стать доверенным лицом правительства в журналистике, дискредитировав Булгарина и его партию. Все это необыкновенно важно. А фраза «Водворить хочет новую систему» — открывает масштаб замыслов.

И не расшифровывается ли эта фраза заметкой 1831 года?

> «Журнал в смысле, принятом в Европе, есть отголосок целой партии, периодические памфлеты, издаваемые людьми, известными сведениями и талантами, имеющими свое политическое направление, свое влияние на порядок вещей. Сословие журналистов есть рассадник людей государственных… Что тут общего с нашими журналами и журналистами?.. Спрашиваю, по какому праву „Северная Пчела“ будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь „Северный Меркурий“?»



Панорама Невского проспекта. Литография с оригинала В. С. Садовникова. Фрагмент. 1830-е гг.

«Водворить хочет новую систему…» Однако вернемся к хронологии.

Получив разрешение издавать газету, Пушкин сделал шаг, который, очевидно, немало удивил его современников и многие годы приводил в недоумение исследователей.

В письме Греча Булгарину от 1 июня 1832 года есть таинственная фраза:

> «С Пушкиным мы сходимся довольно дружно, и, я надеюсь, сойдемся в деле. Но, ради бога, не думай, чтоб я тобой пожертвовал. Улажу все, к общему удовольствию».

В течение последующих двух месяцев Греч несколько раз упоминает о предприятии Пушкина, и наконец 3 сентября кое-что разъясняется:

> «Теперь о важном деле. За несколько дней перед сим встречается со мной на улице Пушкин и объявляет, что вступает на поприще журналиста. Я его поздравляю и желаю терпения. Пушкин. „Ах, если бы издавать с вами, то было бы славно“. *Я.* „А почему нет? Я не прочь — вы знаете“. — Тут он начал жаловаться, что его разобидели

> в Северной Пчеле и что он желал бы сладить дело, но не знает, как согласовать разные требования, и наконец обещал прийти ко мне и поговорить».

Судя по фразе: «Я не прочь — вы знаете», — у Пушкина с Гречем уже были разговоры на эту тему. Греч, очевидно, имеет в виду переговоры с Пушкиным в конце 1831 года, о которых он рассказал позже в «Записках», и какие-то дела в мае 1832-го.

В сентябре Пушкин предложил Гречу следующее: издавать совместно еженедельную газету. Греч согласился и получил разрешение от своего компаньона Булгарина. Ведь Греч не хотел оставлять и «Северную пчелу». Но поэт тут же раскаялся в этом отступлении от первоначального своего плана.

Греч пишет Булгарину:

> «На другой день по отправлении к тебе письма, виделся я с Пушкиным. Он сказал мне, что переменил мысли свои… хочет издавать газету три раза в неделю и просит меня войти с ним в половину и печатать ее у меня в типографии. Он обязуется доставлять статьи. Мое дело было бы только смотреть за редакцией и за переводом статей газетных».

Аргументы Греча в пользу этого альянса любопытны.

> «Мое мнение: зачем выпускать из рук П. и его партию? Мы уничтожим всякое дурацкое совместительство, и к 1834 году наверное соединимся в одной газете. Если мне нельзя будет за это взяться, возьмется другой и напакостит и нам, и Пушкину. Об интересах денежных не говорю: они будут ничтожны, ибо и сам Пушкин надеется иметь не более 1000 подписчиков».

Булгарин на этот вариант не пошел — сотрудничество Греча и Пушкина не состоялось.

Из всей этой истории можно сделать несколько существенных выводов.

Прежде всего — совершенно ясно, что в газете своей Пушкин менее всего собирался заниматься борьбой литературной. Ибо одним из главных условий Греча была неприкосновенность Булгарина. Пушкин это условие принял.

Греч нужен был ему исключительно как опытный организатор и владелец типографии. Материалы для газеты он собирался поставлять сам. Этим снимается вопрос о романтической лени

Пушкина и его разбросанности, которые, по мнению многих, мешали ему приступить к изданию газеты. Он чувствовал в себе силы для этого труда.

И наконец, последняя фраза Греча окончательно хоронит меркантильную мотивировку пушкинских действий как главную. Расчет тут очень прост. Три тысячи подписчиков «Северной пчелы» доставляли восемьдесят тысяч дохода. Тысяча подписчиков должна была доставить около двадцати шести тысяч. Отдавая половину Гречу, Пушкин получал бы в год не более тринадцати тысяч.

Но эту сумму он мог иметь без таких хлопот. Тот же Греч, по свидетельству современника, предлагал Пушкину за сотрудничество в «Сыне отечества» тысячу двести рублей в месяц, то есть больше, чем тринадцать тысяч в год.

Стоит напомнить, что позже Пушкин отказался от выгодного предложения Смирдина и стал издавать очень невыгодный материально, но *свой* «Современник».

Из всей этой истории ясно, как необходим был Пушкину свой орган и дельные сотрудники, если уж он пошел на переговоры с Гречем. С тем Гречем, которого так презрительно заклеймил год назад в статьях Косичкина.

Необходимость высокая, а не низменная, чувство долга перед Россией, а не только забота о заработке заставляли его лихорадочно искать средств для воздействия на умы русской публики.

16 сентября Пушкин вступает в договор со второстепенным литератором Наркизом Ивановичем Тарасенко-Отрешковым, который и должен был взять на себя обязанности редактора газеты. Ему отводилась, конечно, та же техническая роль, что и Гречу.

Но 24 ноября Вяземский уже сообщил Александру Ивановичу Тургеневу:

> «Пушкин единогласно избран членом Академии, но чтобы не слишком возгордился сею честью — вместе с ним избран и Загоскин. Журнал его решительно не состоится, по крайней мере на будущий год. Жаль. Литературная канальская шайка Гречe-Булгаринская останется в прежней силе».

Сожаления Вяземского опять-таки идут по чисто литературной линии.

Почему же не состоялось издание? Понял ли Пушкин посредственность и ненадежность Отрешкова? Возможно. Устрашила ли его судьба «Европейца»? Возможно. Он ведь

понимал, что ежели газету закроют, то другой вовек не дадут. А он собирался помещать вовсе не ту блеклую бессмыслицу, о которой писал Погодину. Быть может, он решил выждать более подходящий момент.

Но скорее всего объяснение содержится в письме Плетнева Жуковскому:

> «Издание газеты, о которой так хлопотал Пушкин еще при вас, едва ли приведется в исполнение, хотя ему и дано на то право. Он более роется теперь по своему главному труду, то есть по истории, да, кажется, в его голове и роман колышется».

Роман этот — «Дубровский» — был начат 21 октября 1832 года. Роман связан был с тем же великим планом, который погнал Пушкина в службу, ввел в архивы, заставил добиваться политической газеты. С тем гигантским историческим чертежом прошлого и будущего, создать который он вменил себе в долг. С той борьбой с Россией за Россию, которой требовала от него его честь.

Он понял, что при отсутствии дельных сотрудников ему со всеми этими трудами не совладать.

И он отложил издание газеты.

6

История несостоявшейся газеты, тот чудовищный факт, что ему пришлось вести переговоры с Гречем, цену которому он прекрасно знал, — все это заставило его еще раз осмотреться вокруг и подумать о людях, которые его окружали.

Были люди официальные, с которыми приходилось иметь дела.

Был Бенкендорф. И тут все было ясно.

Был Блудов — опекун в архивных делах. Видеться с ним в это время приходилось постоянно. Анненков, со слов современников, говорил:

> «С зимы 1832 года он (Пушкин) стал посвящать все свое время работе в Архивах, куда доступ был ему открыт еще в прошлом году. Из квартиры своей на Морской отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью».

Следовательно, Блудов находился, как правило, поблизости.

Они были хорошо знакомы еще с тех времен, когда оба состояли членами «Арзамаса». Но в 1832 году бывший арзамасец Блудов был уже министром внутренних дел. Его карьера началась в 1825 году, когда он получил назначение делопроизводителем Верховной следственной комиссии, допрашивавшей декабристов. Это, однако, было в тот момент делом обыкновенным. Руководил судом, как известно, Сперанский — известный либерал, которого декабристы прочили во временное правительство и с которым вели переговоры накануне восстания. Сперанский плакал по ночам, но судил.

Блудов был «очень умен, образован и крайне добр; но характером он был слаб и труслив. В те дни, когда он отправлялся к Императору, он был весь не свой: не слушал, не понимал того, что ему говорили, вскакивал беспрестанно, смотрел ежеминутно на часы и непременно посылал поутру сверять свои часы с дворцовыми… В большой упрек ему ставили написанное им Донесение следственной комиссии по делу 14 декабря. Конечно, оправдывать я его не буду; но в извинение его могу сказать, что он в этом уступил воле Императора…» — так писал близко знавший его современник — А. П. Кошелев.

Как ни деградировало русское общество после 14 декабря, но каинова печать все же доставляла некоторые неприятности тем, кто приложил руку к уничтожению декабристов.

«Александр Тургенев встречал графа Блудова у Карамзиной. Блудов — воплощенная доброта и совсем не злопамятный — протянул руку Тургеневу, который ему сказал: „Я никогда не подам руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату“. Представьте себе всеобщее замешательство, и я там присутствовала… Бедный Блудов вышел со слезами на глазах».

Это рассказ Смирновой-Россет.

Этот бедный Блудов «со слезами на глазах», воплощенная доброта, подписавший смертный приговор Николаю Тургеневу, в доме у которого он перед тем постоянно бывал, сделался теперь как бы патроном Пушкина.

Муханов описывает в дневнике такую сцену у Вяземского летом 1832 года:

> «Наконец пришел человек объявить, что приехал Д. Н. Блудов… Блудов сказал Пушкину, что о нем говорил государю и просил ему жалованья, которое давно назначено, а никто давать не хочет. Государь приказал поговорить с Нессельроде. Странный ответ: я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от

Бенкендорфа. — Почему же не от вас? Не все ли равно из одного ящика или из другого? — Для того, чтобы избежать дурного примера. — Помилуйте, — возразил Блудов, — ежели бы такой пример породил нам хоть нового Бахчисарайского Фонтана, то уж было бы счастливо (…) Мы очень сему смеялись. Пушкин будет издавать газету под заглавием Вестник; будет давать самые скорые сведения из министерства внутренних дел. Пушкин, говоривший до сего разговора весьма свободно и непринужденно, после оного тотчас смешался и убежал».

Автопортрет и профиль Н. Н. Пушкиной. Рисунок 1832 года

Они очень сему смеялись, а Пушкин почему-то смешался и убежал. Смеяться, прямо скажем, было нечему. Все здесь оскорбительно. И эта торговля: кто будет платить жалованье чиновнику-иждивенцу — III отделение или Министерство иностранных дел? И этот разговор о «Бахчисарайском фонтане», поэме десятилетней давности, как о его высшем достижении. И сам факт, что за него хлопочет ренегат Блудов. Все это было не смешно. Но нужно было через это переступить.

Был Уваров, тоже «арзамасец», приятель Жуковского, так и

рвущийся в покровители и союзники. В 1832 году он был назначен помощником министра просвещения и в этом качестве вот-вот мог стать начальником Пушкина-журналиста.

Мы помним, что писал об Уварове Вигель. Но Вигель — человек пристрастный. А вот что говорил об Уварове современник более беспристрастный — известный историк Сергей Михайлович Соловьев:

> «Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями, и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей, вынесенным из общества Штейнов, Кочубеев и других знаменитостей Александровского времени, был способен занимать место министра народного просвещения, президента академии наук etc.; но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно-аристократического, напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце слугою; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину (императору Николаю); он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочитав за свою жизнь ни одной русской книги, писавший постоянно по-французски или по-немецки. Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками».

Естественно, что мысль о союзе с этим господином вызывала у Пушкина отвращение. Он мог входить в дружеские отношения только с людьми порядочными. Это было непременным условием. Он был терпим. Он склонен был многое прощать другим людям. Но человеческая порядочность была для него условием непременным.

Ну а друзья? Были друзья.

Не сомневаясь в их дружбе, он посмотрел на них теперь как на возможных соратников в новой его борьбе, как на

единомышленников.

Был Жуковский, умный, благородный, не по-блудовски добрый Жуковский. Он Пушкина нежно любил и готов был многое для него сделать. Но мог ли он стать соратником? У Жуковского, которого мы явно недооцениваем как мыслителя, была своя программа воздействия на власть. Но она, скорее всего, основывалась на чисто человеческом влиянии.

Изменение политики должно было произойти через изменение личных качеств правителей. На первый план выдвигалась мораль. Стремление Пушкина к универсальной системе действия, диалектичность пушкинского мышления остались Жуковскому не ясны.

Был Вяземский. Один из самых резких и четких умов России. Человек с широким политическим взглядом, человек, знавший Россию.

Мог ли он стать соратником? Их столкновение 1831 года было ли случайным, частным?

В июле 1832 года, когда Пушкин лихорадочно искал людей для своей газеты, Муханов записал в дневнике:

> «Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его… О Вяземском он сказал, что он человек ожесточенный, aigri, который не любит Россию, потому что она ему не по вкусу…»

Именно в разговоре об издании газеты Пушкин отозвался о Вяземском резко. Он не видел в нем соратника.

Они никогда не полемизировали друг с другом печатно. Но спорили они часто и зло. Тот же Муханов написал 29 июня 1832 года — опять же в период организации газеты:

> «К Вяземскому поздравить с именинами. Нашел у него Александра Пушкина… Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский позорит, из чего вышел самый жаркий спор. Я совершенно мнения Пушкина по его доводам и справедливости заключений. Оба они выходили из себя, горячились и кричали. Вяземский говорил, что Дюмон старается похитить всю славу Мирабо. Пушкин утверждал, напротив, что он известен своим самоотвержением, коему дал пример переводом Бентама, что он выказывает Мирабо во внутренней его жизни и потому весьма интересен… Спор усиливался».

Они расходились в сфере для Пушкина самой важной — в сфере исторической. Вопрос о позициях Пушкина и Вяземского

очень сложен. Но факт их расхождения бесспорен.

Был Плетнев, человек благородный и Пушкина любивший, но, увы, посредственный мыслитель. А Пушкину нужны были люди остро думающие. Плетневу можно было поручить издание книги, но не более того.

П. А. Вяземский. Рисунок О. А. Кипренского. 1835 г.

Был Погодин. Молодой, деятельный, ученый. Готовый сотрудничать с Пушкиным. Но альянса не получилось. Пушкин был поначалу к Погодину расположен. Хвалил его драму. Прочил себе в помощники для «Истории Петра». Но, быть может, сказалась разница в их исторических взглядах, о которой сам Погодин писал в дневнике. А может быть, Пушкин рассмотрел в Погодине те черты, которые позже столь ясно увидел в нем историк Соловьев:

> «Он славился своей грубостью, цинизмом, самолюбием и особенно корыстолюбием».

Бесспорно, что Погодин глубоко Пушкина почитал. После смерти его, 2 февраля 1837 года, он писал в дневнике:

> «Подтвердилось. Читал письмо и плакал. Какое несчастье! Какая потеря!.. Плакал и плакал и думал о Пушкине…»

Странно. Вокруг Пушкина было много людей, его любивших. Но не было людей, его понимавших.

А ему так нужны были единомышленники. Ему нужны были те, кто жил сейчас в остроге. Кто судьбой своей доказал, что готов вмешаться в дела истории. Кто, как и Пушкин, знал, что такое долг, не оставляющий иного выхода, кроме действия.

Вяземский, человек не слабый, писал в трудный момент 1827 года:

> «Если не заставят Аксакова образумиться, то положу перо: делать нечего».

(Аксаков был цензором.) Вяземский готов положить перо. Уйти из литературы. Пушкин не сделал бы такого заявления в любой ситуации. Тут тоже была разница между ними. То, что для Вяземского было занятием огромной важности, для Пушкина было судьбой. Серьезный оттенок.

Пушкину в тот момент нужны были люди такого стиля мышления, как Никита Муравьев, Батеньков, Корнилович, с которым у Пушкина, как выяснилось из сохранившихся трудов декабриста, были общие идеи. Ему нужен был Пущин как опора нравственная. Ему нужны были декабристы как соратники, как среда. Ему нужны были те, чье дело он продолжал.

Его призывы к Николаю о великодушии были не просто актом гуманности. Они были еще и необходимостью. Гигантский труд, который он принял на себя, требовал сподвижников. Он очень надеялся на возвращение декабристов.

7

Он стал политиком. Он сделал этот шаг совершенно сознательно.

Но сознавал ли он, как это усложнит его дела поэтические? Сознавал ли противоречие между настойчивыми своими

декларациями и этим шагом?

В 1828 году он написал «Поэт и толпа».

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

В 1830 году, когда началась травля, он писал:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум.
Усовершенствуя плоды любимых дум.
Не требуя наград за подвиг благородный.

Но с 1831 года все меняется.

«Эхо», написанное в этом году, говорит уже о другом — о жажде понимания.

Тебе ж нет отзыва… Таков
И ты, поэт!

Уже в 1832 году он понял, что тот идеал высокого поэта, который ранее представлялся ему выходом, для него недостижим. Ибо жизнь его происходила в двух сферах. Он понимал, что должен принять все издержки своего решения. Но он еще не знал, как велики будут эти издержки.

В 1832 году он написал послание «Гнедичу».

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждался лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?
О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты

Скрываться в тень долины малой,
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой.
Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены,
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены,
То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Во след Бовы иль Еруслана.

В этих стихах много сказано. Их нельзя глубоко понять, не учитывая библейский план. Их не надо ограничивать обращением к Гнедичу как к конкретному лицу. Смысл стихов шире. В них есть тот идеал высокого поэта, которому Гнедич не соответствовал. Особенно важно то, что в стихах этих Пушкин впервые проводит четкую грань между ясным блистающим миром «таинственных вершин» и собой. Он знал, что не перестает быть поэтом гениальным. Самая великая его поэма — «Медный всадник» и самые великие, лежащие на пределе возможного образцы его лирики были впереди. Но он прощался с тем миром покоя и света, обрести который мечтал и от которого теперь отказывался.

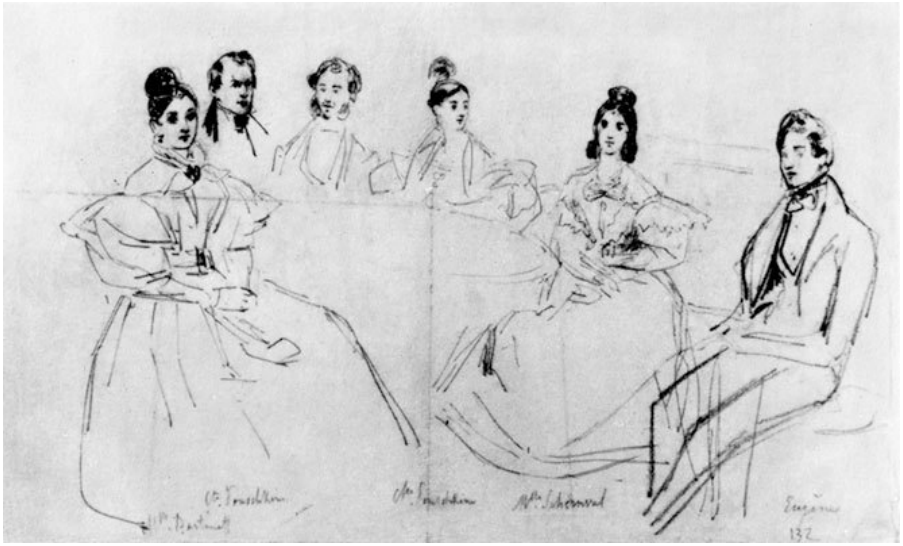
Его реальные поступки тридцатых годов, его стремление к практической деятельности, к деятельности государственной опровергали декларации поэтические.

Эту новую реальность он закреплял теперь в стихах.

Разумеется, нельзя категорически отделять Пушкина — политика и государственного мыслителя от Пушкина-писателя. Зрелый Пушкин сознавал необходимость цельной системы воздействия на мир.

Не было раскола творческого сознания.

Он выстраивал одно гигантское здание, в основе которого лежала общая задача — создание новой культуры, культуры политической и культуры эстетической. Одно не могло существовать без другого. Свободное общество и несвободная внутри себя литература — абсурд. Одной из главных задач Пушкина было эстетическое раскрепощение литературы, сближение ее с естественностью жизненных законов.



А. С. Пушкин в светской гостиной. Рисунок Г. Г. Гагарина. 1832 г.

Надо было преобразовать самое отношение публики к литературе. Функции развлекательная и учительская, выработанные еще XVIII веком, должны были слиться в третьем качестве — анализе реальной действительности. Романтизм этого анализа не давал. Он пытался преобразовать мир творческим вмешательством. А поскольку мир сопротивлялся, то романтик конструировал иной мир, сосуществовавший с реальным.

Едва ли не главной потребностью художественного сознания Пушкина была цельность. Романтическая расколотость мира — мир низменный и мир идеальный, высокий — была теперь глубоко чужда ему. Мир надо было объединить единой целесообразной системой. В частности, уничтожить разрыв между культурой образованных классов и культурой народной.

Отсюда — такое уникальное явление, как пушкинские сказки тридцатых годов, это слияние высочайших литературных достижений со смысловой конкретностью и стилистической простотой фольклора. Сказки — с их несложными и мудрыми сюжетами, вобравшими решающую проблематику человеческих отношений на всех уровнях — от любовного до государственного. Сказки, в которых справедливость и благоразумие побеждали фатально и бесхитростно.

Он строил этот прозрачный мир не только для читателей, но и для себя. Он убеждал себя — столь наглядно — в принципиальной возможности создания стройной и благополучной картины мира.

В сказках решались те же вопросы, что и в «Онегине»,

«Годунове», «Медном всаднике». Однако ни поэмы, ни сказки не казались ему главным средством вмешательства в политический процесс.

Но без поэзии, без литературы он не мыслил своего существования ни на каком пути…

8

Основные пункты его тактической программы были ему ясны еще в 1831 году. Воздействовать на государя с тем, чтобы он ограничил аристократию бюрократическую и выдвинул аристократию истинную, просвещенное родовое дворянство с неотменяемыми наследственными привилегиями, дворянство, которое было бы представителем у трона всего народа и которое ограничило бы самодержавие. Государь — под давлением умных советчиков и общественного мнения — должен пойти на ограничение собственной власти. Для мобилизации общественного мнения следует просветить русское дворянство и объяснить ему его долг. Для этого необходимо иметь мобильный печатный орган.

Самым действенным дидактическим материалом была история. Кроме того — это было для него чрезвычайно важно, — изучение истории давало возможность *понимания хода событий.* Он не переоценивал степени этого понимания. Он писал в конце 1830 года:

> «Не говорите: *иначе нельзя было быть.* Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия Провидения».

Он не претендовал на роль пророка. Он собирался не угадывать будущее России, но воздействовать на его формирование. Он решился действовать. И для этого ему было необходимо «видеть общий ход вещей» и «выводить из оного глубокие предположения». Изучение истории давало возможность понять направление процесса.

В это время он уже мыслил не как литератор-историк, но как историк-ученый.

Мысль его все время возвращалась к июлю 1831 года. К мятежу военных поселян, страшному своим размахом, своей жестокостью, своей конечной бессмысленностью.

Он понимал, что прежде всего необходимо решить для себя и для России вопрос о правомочности крестьянского восстания, этого лейтмотива русской истории. И это стало первым этапом его труда.

21 октября 1832 года он начал «Дубровского».

Он начал с художественной прозы как формы, более ему знакомой. Для исторического исследования на тему крестьянского мятежа у него еще не было материала.

Но «Дубровский» был историческим романом, основанием которому служил именно документ: подлинное дело о тяжбе за сельцо Новопанское.

В одном из черновиков есть фраза о старом Дубровском и Троекурове:

> «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору».

Речь идет о возведении на престол Екатерины II. Подоплека ссоры, погубившей старика Дубровского, по существу гораздо серьезнее, чем кажется. Дубровский из старых русских дворян, в которых Пушкин видел здоровую почву для возрождения России. Троекуров — из той знати, которую вынес наверх государственный переворот и которая стала опорой деспотизма. И есть тут один любопытный момент. Троекуровы — род старинный, боярский, но к XVIII веку утративший свое значение. Зрелый Пушкин достаточно хорошо знал русскую историю, чтобы фамилия Троекуровых звучала для него отнюдь не нейтрально. Но он выбрал фамилию, напоминающую не о безродных временщиках, вышедших в большие вельможи, или фамилию не историческую, ничего читателю не говорящую, он выбрал Троекурова. Троекуров, стало быть, потомок древнего рода, сомкнувшийся с новой знатью. Между тем в «Моей родословной» Пушкин объяснил упадок своего древнего и знатного рода тем, что его, Пушкина, дед отказался в 1762 году поддержать узурпаторшу и ее клевретов. И на эту столь занимавшую Пушкина коллизию накладывается коллизия иная. Мужики, всегда готовые к возмущению, по собственной воле, по собственному побуждению становятся на сторону Дубровских. Ими движет не чувство выгоды. У богатых бар мужикам, как правило, жилось лучше, чем у бедных. А троекуровские люди вообще находились на особом положении сравнительно с другими. Мужики восстают потому, что истинное дворянство близко народу, оно его

естественный представитель. Связь тут — органичная. Так думал Пушкин.

Развиваясь таким образом, роман вел к мысли о возможности союза между дворянством и крестьянами — в бунте. Дворянин — неважно, из каких соображений, во всяком случае, вполне благородных, — становится во главе крестьянского бунта со всеми его атрибутами (например, сожжение заживо приказных). Но для Пушкина такая ситуация была в тот момент неприемлема. Судя по наброскам плана третьей, ненаписанной части, он собирался показать трагическую бессмысленность ее. Молодого Дубровского выдавал полиции один из мужиков его шайки.

Пушкин не написал третьей части, ибо вариант с предательством противоречил всей нравственной логике произведения. Роман зашел в тупик. Первая попытка решить проблему крестьянского бунта и отношения к нему настоящего дворянина не удалась.

6 февраля 1833 года Пушкин отложил рукопись «Дубровского».

7 февраля он запросил военного министра графа Чернышева о бумагах, касающихся пугачевского бунта.

А за неделю до того — 31 января — сделал первые наброски к сюжету «Капитанской дочки».

Пушкин нашел материал, на котором можно было решить занимавшую его проблему.

Тут и началась по-настоящему реализация его великого плана.

Ему стала ясна очередность этапов. Не в том дело, как это часто говорят, что он чем-то увлекся и это определило его занятия. Например, занимался историей Петра, встретил любопытные документы — увлекся Пугачевым, стал заниматься этой эпохой. Потом вернулся к Петру… Ничего подобного. Даже если просто хронологически расположить пушкинские работы, становится видна стройная система.

Он отложил занятия Петром не случайно. Он — как историк, как человек, поставивший перед собой определенную задачу, — понимал в этот момент, что прежде, чем решать проблемы, связанные с переустройством государства и ролью дворянства в этом переустройстве, надо решить самую болезненную проблему последних ста лет русской истории — проблему крестьянской революции.

И здесь его гигантские планы соседствовали и пересекались с не менее грандиозными задачами чисто литературными.

Он создавал русскую прозу. И его общая задача влияла на этот процесс сильнейшим образом. Его художественная проза

носила ясные черты прозы научной.

«Поэт действительности», владевший всем многообразием художественных приемов ее воспроизведения, Пушкин не мог уже этим ограничиться. Он подходил теперь к действительности и как ученый-аналитик. Прозрачность словесной ткани, крупная — как под микроскопом — деталь, безупречная логика сюжета, ясность психологических мотивировок — результат такого подхода.

Он создал одновременно и художественную, и научную прозу. Он создавал для русской культуры новый метод познания и постижения мира.

1833

…Я по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни модному образу мыслей.

Пушкин — Бенкендорфу. 1833

1

31 января 1833 года Пушкин сделал первые наброски плана «Капитанской дочки».

6 февраля прекратил работу над «Дубровским».

7 февраля послал письмо графу Чернышеву с просьбой предоставить ему из архивов военного министерства документы, касающиеся пугачевского восстания.

Он понимал, что если прямо заговорит о Пугачеве, это неизбежно вызовет недоумение. В лучшем случае. Потому пустился на хитрость: написал Чернышеву, что собирает материалы для истории Суворова. А поскольку Суворов принимал участие в подавлении пугачевского бунта, то материалы его биографии за семидесятые годы, естественно, вели к Пугачеву.

Военный министр граф Чернышев, палач декабристов, отозвался быстро и предупредительно:

> «Военный министр покорнейше просит Александра Сергеевича Пушкина уведомить его: какие именно сведения нужно будет ему получить из Военного министерства для составления Истории генералиссимуса князя Италийского графа Суворова-Рымникского?»

Пушкин ответил дипломатично:

> «Приношу Вашему сиятельству искреннейшую благодарность за внимание, оказанное к моей просьбе.
>
> Следующие документы, касающиеся истории графа Суворова, должны находиться в архивах главного штаба:

Следственное дело о Пугачеве

Донесения графа Суворова во время кампании 1794 года

Донесения его 1799 года

Приказы его к войскам.

Буду ожидать от Вашего сиятельства позволения пользоваться сими драгоценными материалами».

Дело о Пугачеве он поместил среди других документов, совершенно ему не нужных. Хитрость удалась вполне.

Поскольку Пушкин был историографом милостью государя императора, то соответствующие распоряжения были отданы, и чиновничья система, имеющая отношение к архивам, заработала быстро и четко.

12 февраля директор канцелярии военного министерства генерал Брискорн адресовался к директору Инспекторского департамента генералу Клейнмихелю с запросом об интересующих Пушкина документах. Клейнмихель дал соответствующее распоряжение своим подчиненным, и 18 февраля вице-директор департамента Иванов поручил начальнику архива Румянцеву начать поиски документов. 14 февраля Румянцев сообщил Иванову, что «в здешнем архиве имеются только разные секретные бумаги и своеручные манифесты Пугачева в 2-х книгах, а также подлинные письма и донесения графа Суворова-Рымникского 789, 790 и 791 годов в одной книге, которые у сего и представляются».

25 февраля военный министр прислал полученные таким путем документы на квартиру Пушкина.

И тут стало совершенно ясно, как дальновидно поступил Пушкин, добиваясь официальной должности. Частному лицу, литератору Пушкину никто не разыскивал бы документы с такой готовностью, как историографу, наследнику Карамзина.

В двух «пугачевских» фолиантах, которые получил поэт, было более 1000 листов.

Здесь была переписка Военной коллегии за 1773 год, дающая представление о тех планах и мерах, которые разрабатывались против восставших. Здесь были манифесты и указы Пугачева и директивы повстанческого руководства.

Это было далеко не все, что требовалось. Но, имея эти драгоценные документы, впервые попавшие в руки историка, можно было начинать работу…

Какую работу?

Роман о «плохом» дворянине, согласившемся пристать к мятежникам? Роман был в стадии обдумывания.

Да и сюжет был сейчас для Пушкина не главным. Сейчас его интересовало иное.

Для Пушкина 1833 года исторического романа в этом случае было недостаточно. Нужно было историческое исследование. Он чувствовал себя ученым. Он мыслил и действовал как ученый.

Еще до получения документов от Чернышева — в начале февраля — Пушкин сам занялся поисками материалов, находящихся в руках частных лиц. Он снесся с известным литератором Свиньиным, владельцем «Музеума», где хранились разного рода редкости. И рукописи в том числе. Свиньину принадлежал интереснейший дневник Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины II.

19 февраля он получил от Свиньина такое послание:

> «Медленность в доставлении Вам, милостивый государь Александр Сергеевич, прилагаемой при сем рукописи произошла ни от чего другого, как от невозможности отпереть мой музеум за потерею ключа; неделю искали его, а другую приделывали… Воображаю, сколь любопытно будет обозрение великой царицы, нашего золотого века или, лучше сказать, мифологического царствования под пером Вашим. Право, этот предмет достоин Вашего таланта и трудов».

Стало быть, Свиньину в качестве мотива было выставлено намерение написать историю царствования Екатерины.

Получив из военного министерства первую партию документов и ожидая следующих, которые разыскивались в Москве, Пушкин начал работать напряженно. За полторы недели — с 25 февраля по 8 марта — он изучил два фолианта. В его рабочих тетрадях, в копиях, конспектах, выписках осталось больше 120 документов из этих сводов.

8 марта, получив от Чернышева документы, касающиеся только Суворова и, следовательно, ему не нужные, он написал военному министру:

«Принося Вашему сиятельству глубочайшую мою благодарность, осмеливаюсь беспокоить Вас еще одною просьбою; благосклонность и просвещенная снисходительность Вашего сиятельства совсем избаловали меня.

В бумагах касательно Пугачева, полученных мною пред сим, известия о нем доведены токмо до назначения генерал-аншефа Бибикова, но донесений сего генерала в Военную коллегию, так же как и рапортов князя Голицына, Михельсона и самого Суворова, — тут не находится. Если угодно будет Вашему сиятельству оные донесения и рапорты (с января 1774 по конец

того же года) приказать мне доставить, то почту сие за истинное благодеяние».

29 марта Пушкину были доставлены из военного министерства «восемь книг, заключающих в себе рапорты генерал-аншефа Бибикова, князя Голицына и графа Суворова-Рымникского». Так сообщил Чернышев. Но содержание «книг» было гораздо шире. Там были не только рапорты названных генералов, но и документы делопроизводства Секретной экспедиции Военной коллегии и военно-походных канцелярий командующих войсками императрицы генералов Бибикова и Щербатова.

Тщательно проштудировав всю эту массу разнородного материала, Пушкин оставил в своих рабочих тетрадях копии около двухсот документов.

При этом он читал все, что мог найти о Пугачеве на русском языке и на языках европейских.

Продолжал искать документы в частных собраниях. И не без успеха. Параллельно писал «Капитанскую дочку» и черновые варианты некоторых глав «Пугачева».

В это время один из окололитературных современников писал другому:

> «Пушкин умер, сидит да в карты играет или подличает по передним».

Таково было мнение людей далеких. Но и друзья Пушкина в феврале 1833 года оставили несколько любопытных свидетельств.

8 февраля Гоголь писал своему приятелю:

> «Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирит всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай, и более необходимость, не затащут его в деревню».

17 февраля Плетнев, один из самых близких к Пушкину людей, сообщал Жуковскому, другому близкому другу:

> «Вы теперь вправе презирать таких лентяев, как Пушкин, который ничего не делает, как только утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену по балам не столько для ее потехи, сколько для собственной».

Вообще, надо сказать, что легенда о суетности и лени Пушкина шла в значительной мере от его друзей. Ведь в

тридцатые годы Пушкин печатал не много нового. А о своих главных трудах и планах далеко не всегда извещал даже близких людей. Так и здесь — 17 февраля Плетнев еще ничего не знал об исторических занятиях своего друга. И это не случайно.

Пушкин не рассчитывал на понимание.

2

Мысли его, однако, были заняты не только русской историей. И деловую переписку он вел не только с военным министром.

Около 25 февраля, поджидая пугачевские материалы, он писал Нащокину:

> «Что, любезный Павел Воинович? получил ли ты нужные бумаги, взял ли себе малую толику, заплатил Федору Даниловичу, справил ли остальную тысячу с ломбарда, пришлешь ли мне что-нибудь?»

Денег не было.

26 июня он обращался к некоему Александру Андреевичу Ананьину:

> «Быв у Вас и не имев удовольствия застать Вас дома, на всякий случай беру с собой письмо. Я собираюсь в деревню. Вы изволили обнадежить меня, что около нынешнего времени можно мне будет получить от Вас еще 2000 р. По моему счету мне более 1500 р. не надобно. Смирдин готов в них поручиться. Буду ожидать ответа Вашего через городскую почту, если не угодно Вам будет прислать его ко мне в город».

Очевидно, Ананьин не согласился дать денег без ручательства кредитоспособного Смирдина, а Смирдин был в отсутствии.

В начале июля Пушкин послал Ананьину сухую записку.

> «Смирдин на днях приехал из Москвы. Он согласен за меня поручиться. Прошу Вас назначить мне день, когда можно будет нам кончить дело».

В какую деревню собирался ехать Пушкин?

22 июля он отправил Бенкендорфу прошение об отпуске для посещения вдовы Карамзина в Дерпте и поездки в Оренбург и Казань.

Ответил ему помощник Бенкендорфа Мордвинов. Любопытно отметить, что с этих пор Бенкендорф перестал лично отвечать на все письма Пушкина, как то было раньше. Теперь он отвечал только на некоторые. Теперь между царем и поэтом часто встает и второе лицо — Мордвинов. Еще одна ступень. Расстояние стремительно увеличивалось сравнительно с летом 1831 года.

Мордвинов писал Пушкину 29 июля:

«Г. генерал-адъютант Бенкендорф письмо Ваше от 22 июля имел счастие представлять государю императору.

Его величество, соизволяя на поездку Вашу в Дерпт для посещения г-жи Карамзиной, изъявил высочайшую свою волю знать, что побуждает Вас к поездке в Оренбург и Казань и по какой причине хотите Вы оставить занятия, здесь на Вас возложенные?»

Ему дали понять, что он — прежде всего человек служащий и оставлять занятия, за которые ему платят жалованье, он не имеет права. Ему дали еще раз понять, что взяли его не в советчики, а в чиновники. Вместе с появлением Мордвинова-посредника это был симптом угрожающий.

30 июля он ответил Мордвинову:

> «В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мной начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что делать? они одни доставляют мне независимость и способ прожить с моим семейством в Петербурге, где труды мои, благодаря государя, имеют цель более важную и полезную.
>
> Кроме жалованья, определенного мне щедростию Его величества, нет у меня постоянного дохода; между тем жизнь в столице дорога и с умножением моего семейства умножаются и расходы.
>
> Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит и Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии».

7 августа он получил сообщение от Мордвинова:

> «Г. генерал-адъютант граф Бенкендорф поручил мне

Вас, милостивый государь, уведомить, что Его императорское величество дозволяет Вам, согласно изъявленному Вами желанию, ехать в Оренбург и Казань на четыре месяца».

8 письме Мордвинову важно ясное утверждение Пушкина, что прокормить его могут только занятия чисто литературные. Это очень важно. И еще — он не хотел сообщать императору о действительных своих занятиях. О Пугачеве.

Получив разрешение, Пушкин через две недели выехал из Петербурга. Не в Дерпт, а в Москву, чтобы оттуда отправиться в места пугачевщины.

2 сентября 1833 года Пушкин подъезжал к Нижнему Новгороду.

«Пушкин мне рассказывал, что под Нижним он встретил этапных. С ними шла девушка не в оковах, у нас женщин не заковывают. Она была чудной красоты и укрывалась от солнца широким листом капусты. „А ты, красавица, за что?“ Она весело отвечала: „Убила незаконнорожденную дочь, пяти лет, и мать за то, что постоянно журила“. Пушкин оцепенел от ужаса».

Это из записок Смирновой-Россет.

Поездка заняла меньше месяца. Но успел он много.

8 сентября, жене:

«Здесь я возился со стариками, современниками моего героя, объездил окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону».

Речь идет о Казани.

Но это были последние штрихи. Основное было ему ясно. Собранные в Петербурге материалы были у него с собой. Он спешил в Болдино.

3

Пушкин приехал в Болдино 1 октября и сразу принялся за Пугачева. «Прости — оставляю тебя для Пугачева» — так он закончил письмо к жене от 2 октября. 11 октября:

«Мой ангел, одно слово: съезди к Плетневу и

> попроси его, чтоб он *к моему приезду* велел переписать из Собрания законов (год 1774 и 1775 и 1773) все указы, относящиеся к Пугачеву».

Теперь он уже точно знал, для чего пишет «Пугачева». Что хочет объяснить государю и обществу. Тому самому обществу, которое забыло свое назначение.

Прежде всего хотел он показать механизм возникновения и распространения крестьянского мятежа. Народ испокон недоволен и враждебен власти. Это обычное его состояние, вызванное непрерывным уменьшением свободы и возрастанием — на протяжении столетий — притеснений.

Тезис этот был доказан краткой историей яицких казаков.

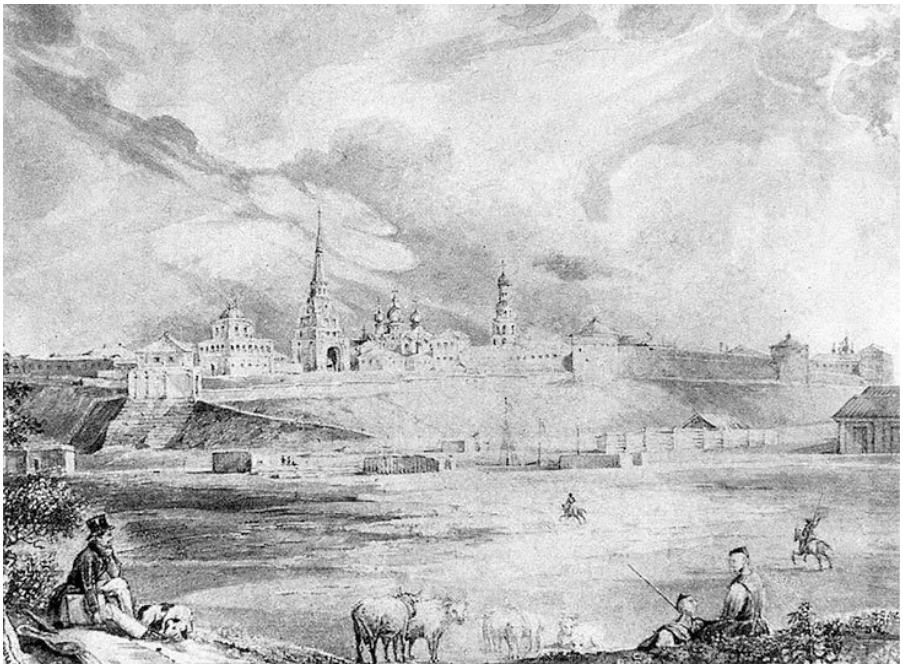
Как на причину перелома мирных настроений казаков Пушкин указывает на действия Петра:

> «Петр Великий принял первые меры для введения Яицких казаков в общую систему государственного управления… Казаки возмутились, сожгли свой городок с намерением — бежать в киргизские степи; но были жестоко усмирены полковником Захаровым».

Мятежная история яицких казаков начинается таким образом со столкновения с государством и жестокого усмирения. Казаки правы, отстаивая свои вольности. Петр прав, выстраивая крепкое государство. Перед нами — в конкретном виде — конфликт «Медного всадника». Поэма была начата через пять дней после приезда в Болдино и писалась параллельно с «Пугачевым».

Но «История Пугачева», помимо всего прочего, объясняет, что жестокое усмирение отнюдь не есть выход из положения. Оно ведет к новым мятежам.

Поводом к мятежу военных поселений были слухи о рассыпании господами отравы. Поводом к великому мятежу яицких казаков был инцидент с бегством в Китай калмыков. Для начала мятежа не нужны никакие капитальные потрясения — повод может быть случаен и незначителен. Мятеж может начаться неожиданно, ибо есть постоянная стихия мятежа. Стихия вспыхнувшего мятежа — самодеятельна. Она имеет свою внутреннюю логику, сама оформляет ситуацию. Она сама выдвигает необходимых предводителей и контролирует их.



Казань. Вид крепости. Рисунок Э. Турнерелли. 1830-е гг.

«Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошлеца…»

Начавшись в любом пункте, мятеж неизбежно охватывает пространства, ибо почва для него всегда готова.

Это была одна сторона проблемы. Но была и другая, важнейшая.

Главный тезис «Истории» — обреченность крестьянской войны, ее военная несостоятельность.

Восставшие одерживают победы над регулярными частями или вследствие перехода казаков и солдат на их сторону, или вследствие неспособности командиров. В Оренбурге «находилось до трех тысяч войска и до семидесяти орудий. С таковыми средствами можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастию, между военными начальниками не было ни одного, знавшего свое дело».

Подробно изобразив процесс распространения мятежа, Пушкин затем — страница за страницей — показывает военное превосходство регулярных войск над крестьянскими и казацкими отрядами. Даже при абсолютном численном превосходстве мятежников.

«Бошняк остался с шестьюдесятью человеками офицеров и солдат. Храбрый Бошняк с этой горстью

людей выступил из крепости и целые шесть часов сряду шел — пробиваясь сквозь бесчисленные толпы разбойников».

Последняя часть книги — это фактически история противоборства Пугачева и Михельсона. Численное превосходство неизменно было на стороне первого, победа — на стороне второго. Стихия народного мятежа не выдерживала столкновения с силой организованного государства. Крестьянская война была обречена на поражение и потому — бессмысленна. Огромные жертвы с той и другой стороны, разорение страны, неизбежные кровавые репрессии — все это было бессмысленно.

Пушкин не верил — и справедливо, — что крестьяне, находящиеся на том уровне политического и культурного развития, на каком находились они в его время, могут управлять государством. Не верил он и в возможность их военной победы. И он обосновал свою точку зрения как объективный и точный историк.

Понимал ли он при этом причины, побуждающие крестьян к этим отчаянным попыткам? Разумеется. Ведь он был автором и другой истории — «Истории села Горюхина»…

4

«Пугачевым» он занимался до начала ноября. 2 ноября закончил его.

Но это было далеко не единственное его занятие в тот октябрь.

6 октября он начал «Медного всадника».

14 октября окончил «Сказку о рыбаке и рыбке».

24 октября — первую часть «Анджело».

«Анджело» заслуживает особого внимания. Ибо с этой поэмой связаны были не только исторические его размышления, но и другие заботы, его мучавшие и игравшие в судьбе его роль мрачную и сильную.

22 июля 1831 года, когда Пушкины жили в Царском, бывавшая у них Надежда Осиповна писала дочери Ольге Сергеевне:

«У Натали страшно болят зубы, и нет никого, кто бы их вырвал. Она вызывает восхищение всего Двора, императрица хочет, чтобы она к ней пришла, и назначит день, когда ей явиться. Это досаждает ей очень, но она вынуждена покориться…»

26 июля Надежда Осиповна снова пишет дочери:

> «В качестве новости скажу тебе, что император и императрица встретили Натали и Александра; они остановились с ними поговорить, и императрица сказала Натали, что очень рада с ней познакомиться и тысячу других вещей, очень милых и любезных. Вот она и вынуждена появиться при дворе, совсем против своей воли».

Как мы помним, Ольга Сергеевна в письме к мужу повторила, что ее невестке очень не хочется бывать при дворе, и при этом обмолвилась весьма многозначительной фразой:

> «Императрица хочет, чтоб она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что не глупа…»

Правда, Ольга Сергеевна тут же спохватывается и пишет, что не то хотела сказать. Но ведь ее информатор — Надежда Осиповна — хотела сказать именно это. Безо всяких оговорок.

В чем же дело? Почему молодая женщина так не хочет бывать при дворе?

Для того чтобы сделать сколько-нибудь обоснованные предположения, необходимо знать придворную ситуацию и характер Николая.

> «Царь — самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках: если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, — о чести, которая им выпала».

Это писал француз, посетивший Россию в качестве секретаря крупного лица и вхожий в свет. Быть может, он несколько преувеличил. Кроме того, рассказ относится к более позднему времени.

Но есть основания предполагать, что упорное нежелание Натальи Николаевны бывать при дворе в значительной степени объяснялось нежеланием самого Пушкина. Есть основания предполагать, что страх перед возможными ухаживаниями императора за Натальей Николаевной появился у Пушкина еще в Царском, после явного восхищения, выказанного императорской четой его жене.

Нащокин рассказывал позже:

> «Когда Пушкин приехал с женою в Петербург, то они познакомились со всей знатью (посредницей была Загряжская). Графиня Нессельроде, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой придворный Аничковский вечер; Пушкина очень понравилась императрице. Но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубостей графине и между прочим сказал: „Я не хочу, чтоб моя жена ездила туда, где я сам не бываю“».

Хронологически речь идет об осени или зиме 1831 года.

Казалось бы, надо было не привязывать себя к Петербургу, не вступать в службу, не стремиться к встречам с Николаем.

Но надежда выполнить свою миссию была связана именно с Петербургом, именно с возможностью этих встреч.

И он решился.

Решение это, однако, не заглушало мучительных мыслей. Во время отъездов сознание, что жена постоянно бывает на придворных балах, терзало его.

8 декабря 1831 года он писал из Москвы:

> «Дома ты не усидишь, поедешь во дворец и, того и гляди, выкинешь на сто пятой ступени комендантской лестницы».

Бал у княгини М. Д. Барятинской. Акварель Г. Г. Гагарина. 1830-е гг.

10 декабря:

> «Целую тебя и прошу ходить взад и вперед по гостиной, во дворец не ездить и на балах не плясать».

Можно было бы считать, что все дело в беременности Натальи Николаевны и заботе мужа о ее здоровье. И это, конечно, было. Но в письме к Нащокину 8 января он раскрывает истинную подоплеку своего беспокойства:

> «Жену мою нашел я здоровую, несмотря на девическую ее неосторожность — на балах пляшет, с государем любезничает, с крыльца прыгает. Надобно бабенку к рукам прибрать».

«С государем любезничает…»

Любезничание с государем вряд ли могло повредить здоровью молодой женщины.

В главе VIII «Онегина» он писал о своем идеале — замужней

Татьяне:

> Кокетства в ней ни капли нет —
> Его не терпит высший свет.

Между тем едва ли не в каждом письме Пушкина жене встречается «кокетство». 3 октября 1832 года:

> «…кокетничаешь со всем дипломатическим корпусом, да еще жалуешься на свое положение… женка, женка!»

2 октября 1833 года из Болдина:

> «Смотри, женка. Того и гляди избалуешься без меня, забудешь меня — искокетничаешься».

8 октября:

> «Не стращай меня, женка, не говори, что ты искокетничалась…»

21 октября:

«…кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности — не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему».

30 октября:

> «Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри: кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона… Не только тебе, но и Парасковье Петровне легко за собой приучить бегать холостых шаромыжников; стоит только разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокетства. *Было бы корыто, а свиньи будут».*

6 ноября:

> «…кокетство ни к чему доброму не ведет; и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету: *уважения*… Женка, женка! я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, — для чего? —

> Для тебя, женка; чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнию мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности etc, etc. — не говоря уже об cocuage».

Он хорошо знал свою жену, знал, что кокетство — часть ее натуры. Ему это было неприятно — это был дурной тон. Но мучило его по-настоящему только одно. В письме от 11 октября, где нет никаких следов ревности, он между прочим — вырвалось против воли — обмолвился:

> «Не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с царем…»

И далее — как ни в чем не бывало — о смешных слухах местных про его пьянство.

Но главное — «не кокетничай с царем». Это стояло за всеми ревнивыми выговорами, назойливыми наставлениями. «Не кокетничай с царем». Ибо это было опасно — смертельно. Для него, Пушкина.

В те самые октябрьские дни, когда писались все эти увещевания, он работал над поэмой «Анджело».

24 числа окончил первую часть. 26 числа окончил вторую часть. 27 числа — третью.

«Анджело» он придавал особое значение.

> «Наши критики не обратили внимания на эту пиесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал».

Это было сказано слишком сильно. Написанный одновременно с «Анджело» «Медный всадник», безусловно, значительнее. И Пушкин не мог этого не видеть. Но в то же время тема «Анджело» — достаточно сложная — была для него столь важна, что он выдвигал поэму на самый первый план.

Это было переложение — очень вольное — драмы Шекспира «Мера за меру», которая Пушкину давно нравилась и которую он сперва хотел перевести.

Сюжет Шекспира Пушкин упростил, отсек все, что ему казалось лишним.

Император Николай I. Литография. 1830-е гг.

В одном из городов Италии счастливой
Когда-то властвовал предобрый, старый Дук,
Народа своего отец чадолюбивый,
Друг мира, истины, художеств и наук.
Но власть верховная не терпит слабых рук,
А доброте своей он слишком предавался.
Народ любил его и вовсе не боялся.

Добрый властитель, чтобы исправить нравы своего распустившегося народа, вручает власть вельможе Анджело, известному праведной жизнью и неподкупностью, а сам уезжает на время. Анджело железной рукой наводит порядки в

государстве. В частности, возвращает силу закону, карающему смертью за распутство. И закон этот обрушивается на некоего Клавдио, до свадьбы соблазнившего свою невесту. Клавдио приговорен к смерти. Его сестра — невинная Изабелла, собирающаяся постричься в монахини, приходит умолять Анджело пощадить брата. Пораженный ее красотой и чистотой, Анджело после недолгих внутренних борений предлагает ей обменять жизнь брата на ее любовь. Шантажируя несчастную Изабеллу, он склоняет ее к тому, за что казнил других. Для себя он делает исключение. Однако в решающий момент появляется Дук, который инкогнито жил в городе и все знал. Справедливость восстанавливается.

Удалив все хитросплетения шекспировского сюжета, Пушкин оставил только одну событийную линию — облеченный властью насильник и беззащитная женщина; властитель, который делает вид, что блюдет чистоту нравов, на самом деле посягает на честь своей подданной.

Пушкину были известны не только похождения государя. Знал он и то, что Николай любил выступать в роли охранителя семейных очагов, делая выговоры легкомысленным женам и строго наказывая мужчин за безнравственность.

Ситуация «Анджело» была — естественно, в трансформированном виде — ситуацией николаевского двора.

Но он не был бы Пушкиным, если бы ограничился личными заботами. Конечно, задачи «Анджело» — много шире. «Анджело» — поэма о самоотравлении и нравственном распаде бесконтрольной власти. О том, как достойный человек, оказавшись в положении деспота, не ограниченного «мнением народным», неизбежно перерождается.

5

«Медный всадник» и «Анджело» разделены двумя переводами из Мицкевича.

«Медный всадник» — в основном — был написан с 29 по 31 октября. Это поэма о главном — с точки зрения Пушкина — конфликте русской истории. Человек и государственная власть. Живой человек со всеми его правами на частное бытие и закон развития государства, который реализуется в действиях носителя власти.

Высшая необходимость — причина несчастья и гибели Евгения.

Высшая необходимость — причина смертного приговора

безобидному Клавдио.

«Медный всадник» и «Анджело» — написаны на одну тему. Но «Анджело» — локальнее по смыслу. «Анджело» есть конкретный комментарий к «Медному всаднику». Комментарий, весьма существенно корректирующий представление о точке зрения Пушкина.

Не важно, что «петербургская поэма» была закончена на четыре дня позже «итальянской поэмы». Ведь начата она была 6 октября. И стало быть, весь этот месяц Пушкин над ней думал. «Анджело» был написан на фоне «Медного всадника».

Решающие ситуации «петербургской поэмы» разыгрываются на площади, где произошло восстание декабристов. Уже давно существует весьма убедительная версия, что под общими историко-философскими категориями поэмы лежит политическая реальность столкновения декабризма с российским самодержавием. В «итальянской поэме» есть такая строфа:

Лишь только Анджело вступил во управленье,
И все тотчас другим порядком потекло,
Пружины ржавые опять пришли в движенье,
Законы поднялись, хватая в когти зло,
На полных площадях, безмолвных от боязни,
По пятницам пошли разыгрываться казни,
И ухо стал себе почесывать народ
И говорить: «Эхе! да этот уж не тот».

Если помнить, что буквально в те же дни Пушкин работал над «Медным всадником» и «Пугачевым» — сочинениями политическими, — то в строфе этой очень ясно просматривается локальный политический смысл.

Царь Александр I, который в отличие от Дука отнюдь не был образцом доброты, поражал, однако, современников своим лояльным отношением к тайным обществам. Л. Н. Энгельгардт писал в мемуарах:

«Император, будучи уже извещен о буйственном духе неблагомыслящих и заблуждавшихся, сделался более подозрителен, опасался покушения на свою жизнь, умножил шпионов, но зло не прекращал».

«Наш царь дремал», — писал сам Пушкин в главе X «Онегина».

Этому странному поведению было несколько причин. Между этими причинами было и сознание, что заговорщики проповедуют те же либеральные идеи, с которых он, Александр, начал свое царствование. Он считал себя виновным в насаждении духа

вольномыслия. «Не мне их карать», — сказал он в ответ на один из доносов.

Как ясно из начала записки «О народном воспитании», Пушкин считал одной из причин декабрьского восстания двойственную, нерешительную политику Александра.

Николай, вступив па престол, повел себя более чем решительно. «Казни на площадях» сразу показали обществу, что «этот уж не тот».

Эта аналогия возникает неизбежно. И она не единственная.

Пушкинисты еще в тридцатых годах совершенно верно заметили, что Евгений «петербургской поэмы» вырос из другой фигуры — героя неоконченной поэмы «Езерский», задуманной еще в 1832 году. Тема «Езерского» — падение дворянских родов, наступление новой знати. Это тема того самого вытесняемого из истории дворянства, которое выступило 14 декабря, которое было, по мнению Пушкина, «страшной стихией мятежа». Таким образом, обреченный в своем бунте Евгений связывался в сознании Пушкина с декабристами, с их обреченным бунтом. Связывался не только «географически» — Сенатская площадь, — но по существу.

А кто такой Анджело? Ведь это такой же кондотьер высшей власти, как Бенкендорф, как Уваров, как та «бюрократическая аристократия», которая охраняла русское самодержавие от оппозиции дворянства. Анджело, сила которого только в благоволении герцога и который может быть уничтожен им в любую минуту так же, как по прихоти вознесен. По существу, это — «новая знать».

Конфликты «Езерского», «Медного всадника», «Анджело» сплетаются воедино.

Дук милостив и терпим. Анджело — безжалостен. «Царь любит, да псарь не любит» — так определил Пушкин свои последующие отношения с Уваровым.

Принято считать, что в трагическом столкновении Евгения с суровой государственной необходимостью Пушкин остался нейтрален. Он, дескать, понимает и ту, и другую сторону. По-человечески сочувствует Евгению, с точки зрения государственной признает историческую правоту Петра. Пушкин умел разделять эти сферы. Но ведь Евгений, двойник Езерского, не мог вызывать у Пушкина только человеческое сочувствие. Езерские и Дубровские — потомки «тех родов», что строили Русское государство, спасали его в Смутное время, их старшие братья пытались ограничить деспотизм в декабре 1825 года. За ними не только право на тихое домашнее счастье. За ними — право историческое, историческая правота. 14 декабря они

ошиблись тактически. Стратегически, в масштабе русской истории, правы они, а не бескрылый демон бюрократии, вызванный к жизни Петром.

«Анджело» подтверждает это.

Передача самодержавной власти Анджело вызвана государственной необходимостью. Он должен безжалостными мерами оздоровить страну. Но оказывается, что носитель самодержавной власти — лицемер. Он готов на произвол. Он только делает вид, что закон для него святыня. В таких условиях самодержавная власть, по видимости действующая на благо государства, есть зло. Ибо она — аморальна.

В «Анджело» — впервые после «Годунова», — исследуя проблему власти, Пушкин выносит вперед ясное нравственное начало. В 1831 году это не играло для него такой роли. Нравственное начало, заглушенное в «Медном всаднике» громом исторических сдвигов, в «Анджело» становится определяющим.

Жестокость не может быть панацеей от общественных зол: вот вывод «итальянской поэмы». Жестокость — сестра безнравственности.

В «Анджело» и «Медном всаднике» Пушкин рассчитался с фетишем законности.

Не всякий закон справедлив только потому, что он — закон. Закон, по которому должен погибнуть Клавдио, — дурной закон, ибо вместо того, чтобы разрешить человеческую проблему, он убивает человека.

«Сила вещей», исторический закон, по которому гибнет Евгений, торжествует. Но можно ли смиряться с этим торжеством, если наследники первого императора ведут страну к катастрофе?

31 октября был закончен «Медный всадник».

2 ноября была закончена «История Пугачева».

Пушкин писал их параллельно. И в них есть общий конфликт, общая проблема. Проблема бунта.

В «Медном всаднике» речь идет о бунте дворянском.

В «Пугачеве» — о бунте народном.

Понимая истоки того и другого, Пушкин осудил бунт как метод воздействия на русскую жизнь.

Он думал, что осудил навсегда. Но через два года, в страшную пору своей жизни, он еще к этой проблеме вернется…

6

Среди стихотворений 1833 года есть два особенно значимые.

С 1834 года в письмах и стихах Пушкина появляется

усталость. Прямые признания в усталости. Мотив побега станет одним из главных в его лирике.

В 1833 году ничего этого еще не было. Но было стихотворение, в котором он с тоской вспоминал о том времени, когда был только поэтом…

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резко я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я.
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Да вот беда: сойти с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут.
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Если внимательно прочитать вторую и третью строфы, то становится совершенно ясно, что речь в них идет вовсе не о клиническом безумии. Пушкин начал стихотворение с мыслью о

подлинном безумии. Тому, очевидно, был конкретный повод. Например, судьба безумного Батюшкова. Но далее стихи стали развиваться по-иному.

Эти стихи не о безумии, а о поэте. Поэте, свободном «тайной свободой». Две эти строфы — энциклопедия, свод пушкинских формул, трактующих поведение поэта.

Почти каждая строка здесь имеет соответствие в прежних стихах — начиная с самых ранних.

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!

Еще в 1819 году Пушкин писал:

Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов…

В стихах 1833 года:

И я б заслушивался волн…

Это смысловые реминисценции из стихотворения 1824 года «К морю»:

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас…

И почти полностью две эти строфы совпадают с монологом Поэта из «Разговора книгопродавца с поэтом» 1824 года:

И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались…
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шопот речки тихоструйной.
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов

С толпою пламенным восторгом…

Сравним лексику: «Я пел бы в пламенном бреду» — «И тяжким пламенным недугом была полна моя глава», «пламенный восторг» (и в том и в другом случае романтическое толкование творчества как «высокого недуга»). Далее: «И я б заслушивался волн» — «моря гул глухой, иль шопот речки»; «вихорь, роющий поля» — «вихорь буйный». В последней строфе стихов 1833 года: «голос яркий соловья», «шум глухой дубров»; в стихах 1824 года: «шум лесов», «иволги напев живой».

А ведь в «Разговоре» — именно декларация романтического поэта.

Такая острая тоска по прошлому впервые появилась в пушкинских стихах 1830-х годов.

Безумие этих стихов — это высокое пророческое безумие, непонятное для окружающих. Такое безумие — это «воля», это «счастье». Но реализация его чревата бедой — «как раз тебя запрут».

Это была тоска по другому варианту его судьбы, от которого он сам отказался. Это была тоска по той «воле», которая была для него равнозначна «счастью»: «На свете счастья нет, но есть покой и воля…»

Он мог не пускаться в политическую деятельность, мог не заниматься профессиональными историческими изысканиями, мог не добиваться политической газеты, не вступать в службу и не искать сближения с царем. Он мог жить частным человеком, уехать в Михайловское или Болдино с молодой женой — «под сень дедовских лесов» и там, свободный «тайною свободой», вести жизнь поэта. Никто бы не мешал ему наезжать в Петербург, но он не был бы связан. Он не был бы поставлен в те жесткие рамки деятеля, историка, политика, в которые он сам себя поставил. Он не был бы поставлен в те жесткие рамки чиновника, человека, не свободного даже в частных своих поступках, в которые его поставил царь.

Впервые Пушкин усомнился в правильности выбранного им пути.

В творчестве своем он стремительно уходил от романтических представлений. Но он тосковал по независимости только поэта.

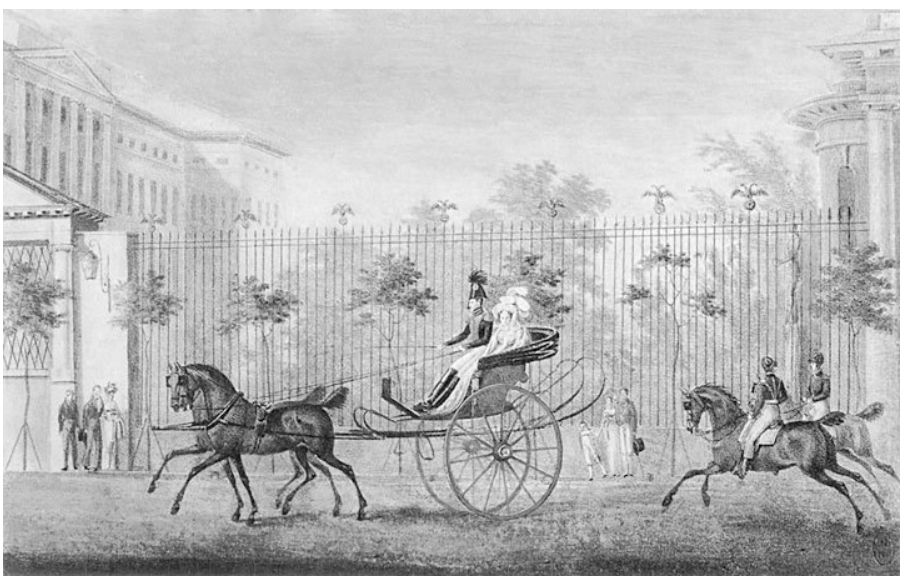
В том же 1833 году он в последний раз декларировал *поэтическую свободу* в неоконченном «Езерском»:

Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,

Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.

Это напоминает декларации из «Цыган», его романтической поэмы.

Он давно изменил своим декларациям. Давно перестал быть только поэтом. Для него теперь были условия.



Николай I и императрица Александра Федоровна на прогулке. Литография. После 1825 г.

Он и Езерского выбрал в герои по условиям своего общего плана — Езерский был «могучих предков правнук бедный», один из тех истинных дворян, на которых надеялся Пушкин.

Он еще не раз заговорит в стихах о свободе. Но это будет другая свобода. Не литературная. Впрочем, и не политическая. «Тайная свобода».

И было написано в 1833 году еще одно стихотворение. Стихотворение, в котором Пушкин подводил итоги своих отношений с литературой и литераторами.

…О, вы, которые, восчувствовав отвагу,
Хватаете перо, мараете бумагу,
Тисненью предавать труды свои спеша,
Постойте — наперед узнайте, чем душа
У вас исполнена — прямым ли вдохновеньем,
Иль необдуманным одним поползновеньем,
И чешется у вас рука по пустякам.
Иль вам не верят в долг, а деньги нужны нам.
Не лучше ль стало б нам с надеждою смиренной
Заняться службою гражданской иль военной,
С хваленым Жуковым табачный торг зачесть
И снискивать в труде себе барыш и честь…

Презрение вытесняло в нем все иные чувства.

В апреле 1834 года он писал Погодину:

«Вообще пишу много для себя, а печатаю по неволе и единственно для денег; охота являться перед публикою, которая Вас не понимает, чтоб четыре дурака ругали Вас в своих журналах только что не по матерну. Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так».

Было время… Он тосковал по двадцатым годам. Давним. До 14 декабря. Литературное поприще опротивело ему. Быть так…

Болдинской осенью 1830 года он подводил итоги своей прежней жизни.

Болдинской осенью 1833 года он подводил итоги первых трех лет своей новой жизни. Итоги были неутешительные.

Он начал понимать, что, делая ставку на Николая, ошибался. И рассказал об этом в «Анджело». Через два месяца его мысль получит страшное подтверждение.

Он начал понимать, что, женившись, отнюдь не создал себе жизни a la Карамзин. У него появились первые сомнения в том, что он может обеспечить семью.

У него впервые появились сомнения в возможности реализовать свои замыслы.

Литературное поприще опротивело ему.

Но как бы то ни было — как поэт и историк — он решил для себя проблему крестьянской революции. Это был первый этап его

плана.

Теперь надо было вбить это в сознание русской публики.

А на очереди был следующий этап — радикальные реформы. История Петра Великого, исследование путей и возможностей реформирования страны сверху.

1834

Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Опала легче презрения.

Пушкин — жене. 1834

1

Осенью 1833 года, сидя в пустом болдинском доме, Пушкин понял, что, делая ставку на государя, он страшно ошибался.

Он многого не знал. Он, еще недавно рассчитывавший стать конфидентом царя, не знал, что куда бы он ни ехал — за ним вслед путешествовали бумаги такого толка:

«С.-петербургский оберполицмейстер от 20 сент. уведомил меня, что… был учрежден в столице секретный полицейский надзор, за образом жизни и поведением известного поэта, титулярного советника Пушкина, который 14 сентября выбыл в имение его, состоящее в Нижегородской губернии. Известясь, что он, Пушкин намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернию, я долгом считаю о вышесказанном известить Ваше прев-во, покорнейше прося, в случае прибытия его в Оренбургскую губернию, учинить надлежащее распоряжение о учреждении за ним во время его пребывания в оной секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его», — так писал нижегородский военный губернатор оренбургскому.

В 1833 году Пушкин оставался в глазах правительства человеком подозрительным, готовым на государственное преступление.

Он этого не знал. Но понимал уже в то время достаточно.

29 ноября он записал в дневнике:

> «Три вещи осуждаются вообще — и по справедливости: 1) Выбор Сухозанета, человека запятнанного, вышедшего в люди через Яшвиля —

> педераста и отъявленного игрока ‹…› Государь видел в нем только изувеченного воина и назначил ему важнейший пост в государстве, как спокойное местечко в доме инвалидов. 2) Дамские мундиры. 3) Выдача гвардейского офицера фон-Бринкена курляндскому дворянству. Бринкен пойман в воровстве; государь не приказал его судить по законам, а отдал его на суд курляндскому дворянству. Это зачем? К чему такое своенравное различие между дворянином псковским и курляндским; между гвардейским офицером и другим чиновником? Прилично ли государю вмешиваться в обыкновенный ход судопроизводства? Или нет у нас законов на воровство?…Конечно, со стороны государя есть что-то рыцарское, но государь не рыцарь…»

Столь резко он никогда еще не писал о царе. Эта запись — переломная. Это — начало внутреннего разрыва с Николаем, крушение одной из основ его великого плана.

Каждое из трех обвинений имеет свой смысл.

Назначение Сухозанета, человека жестокого и нечистоплотного, главным директором Пажеского и всех сухопутных корпусов отдавало в его руки воспитание молодого офицерства. А мы знаем, какое значение Пушкин придавал воспитанию дворян.

Определение придворным дамам единообразной формы было проявлением заурядного самодурства.

Вмешательство царя в процесс судопроизводства доказывало отсутствие в стране законности.

Николай в 1833 году как будто задался целью опровергнуть надежды Пушкина.

14 декабря Пушкин записал в дневнике:

> «11-го получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на другой день. Я приехал. Мне возвращен Медный Всадник с замечаниями Государя».

Принять требования дворцовых цензоров поэт не мог. Он отказался от публикации поэмы. Такого удара он не ожидал.

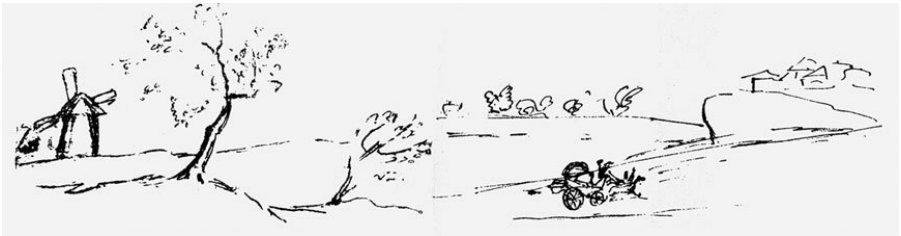
Напечатанный в одно время с «Анджело», «Медный всадник» должен был много сказать публике. И этот урон был важнее денежного.

Но события шли по восходящей.

30 декабря 1833 года Пушкин был пожалован в камер-юнкеры двора его величества.

Не надо считать Николая глупцом, действовавшим исключительно по прихотям. Он бывал очень точен в своих действиях. Претензии Пушкина на роль руководителя общественного мнения были для него неприемлемы. Одним движением он все ставил на место. Камер-юнкер не мог быть духовным вождем России.

Пушкин прекрасно понял эту сторону назначения. Перед Россией, которой он собирался представить свой чертеж



В дороге. Рисунок А. С. Пушкина

прошлого и будущего — три последних года были подготовкой, — перед Россией, которой он собирался объяснить ее историю, ее заблуждения, перед этой Россией он явился теперь в смехотворном виде камер-юнкера.

Автор «Истории Пугачева» и камер-юнкер — положения несовместимые. И он прямо сказал об этом своему старому приятелю Вульфу

В той сложной игре, которую они с 1826 года вели с Николаем, царь начисто переигрывал его.

Это было страшно. И страшно в нескольких отношениях.

Проницательный современник П. М. Смирнов, хорошо знавший Пушкина, вспоминал в «Памятных заметках»:

> «Пушкина сделали камер-юнкером; это его взбесило, ибо сие звание, точно, было неприлично для человека 34 лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно дано было, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателен, малодушен, и он, дороживший своей славой, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикой и не лишило его народности. Словом, он был огорчен и взбешен…»

Николай знал, что делал.

Дневник, 1 января 1834 года:

«Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau».

Этот факт становился в длинную линию полусобытий-полунамеков: Наталья Николаевна и царь. Пушкин говорил Нащокину, что царь, как офицеришка, волочится за его женой.

Данжо был мелким придворным Людовика XIV. Король выдал за него замуж одну из придворных дам, за которой сам ухаживал. Положение Данжо оказалось двусмысленным. Он стал предметом насмешек. При этом он оставил мемуары о придворной жизни.

Быть мелким придворным, мужем женщины, которой интересуется царь, — эта мысль приводила Пушкина в бешенство. Тон его фразы угрожающий — «русский Данжо» оставит не столь безобидные записки, как французский.

Он начал приводить свой замысел в исполнение сразу же. Вслед за записью о своем пожаловании он рассказывает о безумной ревности флигель-адъютанта Безобразова, женившегося перед тем на фрейлине, княжне Хилковой.

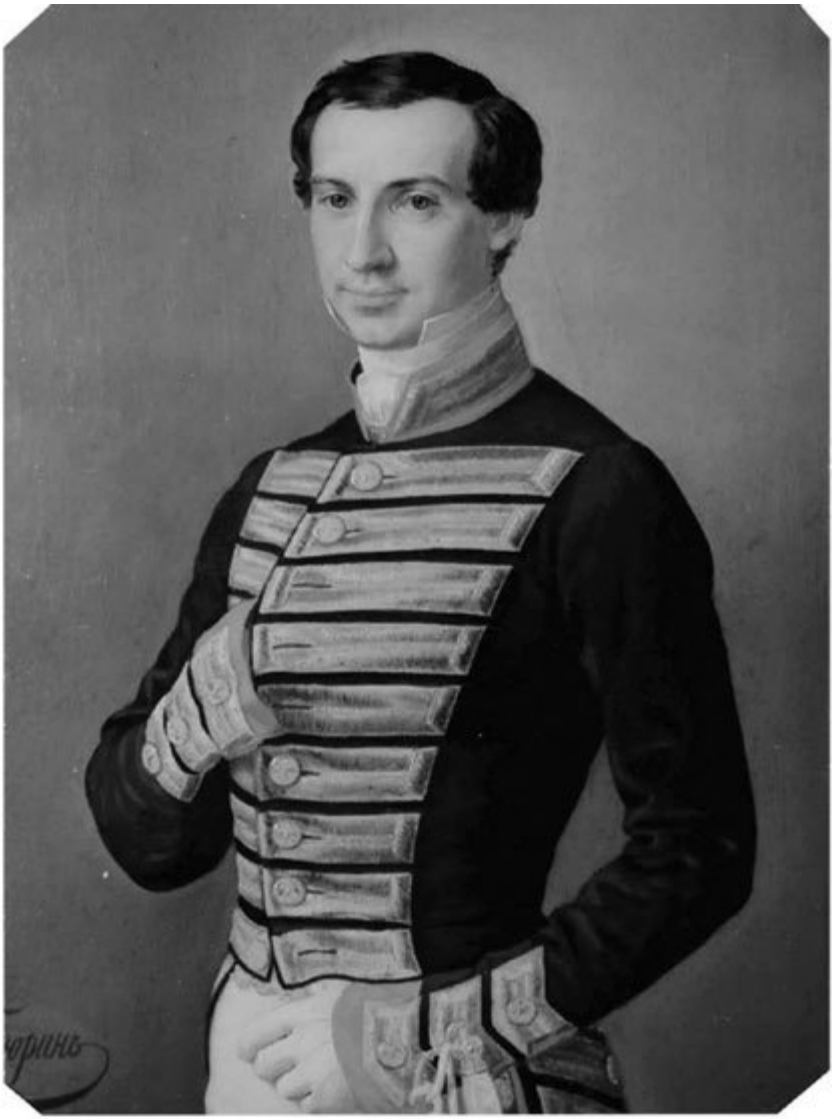
Следующая запись о камер-юнкерстве — опять-таки рядом с записью о Безобразовых. Одна комментировала другую.

Молодой Безобразов, человек решительный и вспыльчивый, женившись на фрейлине, узнал, что она была любовницей императора. А узнав, повел себя настолько бурно, что царь арестовал его и выслал на Кавказ.

Пушкин упорно ставил эту историю рядом со своим камер-юнкерством.

Таких тяжких дней еще не бывало в его жизни. Но, как он сам говорил, его не так легко было с ног свалить.

С декабря 1833 по апрель 1834 года он писал статью о Радищеве.



Придворный в мундире камер-юнкера. Иллюстрация к Полному своду законов Российской империи. 11 марта 1831 г.

После пожалования в камер-юнкеры Пушкин сказал Вульфу, что возвращается к оппозиции. Но он думал об этом и раньше. «Анджело» тому свидетельство. Он перешел в оппозицию не в январе 1834-го, а осенью 1833-го. И тут ему естественно было вспомнить Радищева.

2

Он все эти годы искал опоры — в истории, в людях, в

литературе. Все, на что, казалось ему, можно опереться, привлекало его внимание. И люди, и книги. В Радищеве он чувствовал что-то близкое себе.

Конечно, они расходились во многом. Радикализм Радищева, наэлектризованный Великой революцией, был ему чужд. Но оба они ощущали пугающую близость тупика, в который шла Россия. Оба понимали, какую роль может сыграть в будущем России крестьянский бунт. Они по-разному относились к бунту, по-разному оценивали его перспективы. Для Радищева времени «Путешествия» крестьянский бунт был страшным, но разрубающим узел событием. Для Пушкина он был заблуждением, еще туже затягивающим роковой узел.

Их роднило то, что оба они мучительно над этим думали. Но для Радищева это была последняя черта мысли. А для Пушкина — только первый этап чертежа.

К началу декабря 1833 года, когда была начата статья, Пушкин уже решил для себя проблему мятежа. И решил ее отрицательно. Он собирался идти дальше. Но судьба Радищева была понятна ему. Титаническое предприятие Радищева, возмечтавшего одной книгой открыть России глаза на ее судьбу, было сродни его собственному предприятию. Он не мог не восхищаться решимостью этого человека.

Возвращаясь к оппозиции, Пушкин видел единственную в русской истории аналогию своей судьбе — судьбу автора «Путешествия». Он решил воспользоваться мятежной книгой, чтобы еще раз — теперь уже в печати — высказать свои мысли о дворянстве и народе.

Его возвращение в оппозицию означало конец его упований на Николая. Но не означало отказа от главных идей.

> «Я начал записки свои не для того, чтоб льстить властям, товарищ, избранный мной, худой внушитель ласкательства, но не могу не заметить, что со времен возведения на престол Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I, правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что и составляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и каменьями, и английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму» — так говорил он в статье о Радищеве.

Отказ от надежд на царя неминуемо означал обращение их на

общество. Для воздействия на общество необходима была газета. Ветер возвращался на круги своя. Издавать газету, набитую вздором или краткими известиями о политических событиях, он не собирался. Печатать дельные политические статьи было — мягко говоря — крайне сложно. Нужно было изобретать некий жанр, который дал бы возможность говорить и печатать. «Путешествие из Москвы в Петербург» было опытом такого жанра.

Мысль, что правительство в России последние столетия — единственная сила, способная провести необходимые реформы, укрепилась в нем сразу после 14 декабря, и он от нее не отступал. Но он прекрасно видел, что реформаторский порыв Николая иссяк. Правительство не понимало, как опасна попытка законсервировать Россию. И он указывал правительству на источник его силы. И совершенно ясно предупредил о том, что может произойти, если этот источник забыть. «Бурбоны были выгнаны вилами и каменьями», потому что не хотели быть впереди народа в деле реформ.

Самые важные, по его мнению, для России мысли он вкрапливает в обширные описания, рассуждения, цитаты.

Он, например, не просто сравнивает Москву и Петербург. Петербург — это результат «революции Петра», средоточие бюрократов-наемников, паладинов «дряблого деспотизма». Москва — последний оплот старого дворянства. То, что говорится о Москве, имеет отношение ко всей небюрократической России[1].

«Упадок Москвы есть явление важное, достойное исследования: обеднение Москвы есть доказательство обеднения русского дворянства, происшедшее от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, частию от других причин, о коих поговорим в другом месте. Так что правнук богача делается бедняком потому только, что дед его имел четверо сыновей, а отец его столько же. Он уже не может жить в этом огромном доме, который не в состоянии он освещать, даже и отапливать. Он продает его в казну или отдает за бесценок старым заимодавцам и едет в свою деревушку, заложенную и перезаложенную, где живет в скуке и в нужде, мало заботясь о судьбе детей, которых на досуге рожает ему жена и которые будут совершенно нищими.

Но улучшается ли от сего состояние крестьян? Крепостной мелкопоместного владельца терпит более притеснений и несет более повинностей, нежели крестьянин богатого барина.

Но, говорят некоторые, раздробление имений способствует к освобождению крестьян. Помещики, не получая достаточных доходов, принуждены заложить своих крестьян в Опекунский Совет и, разорив их, приходят в невозможность платить проценты, имение тогда поступает в ведомство правительства,

которое может их обратить в вольные хлебопашцы или экономические крестьяне. Расчет ошибочный. Помещик, пришедший в крайность, поспешает продать своих крестьян, на что всегда найдет охотников, а долг дворянства связывает руки правительству и не допускает его освободить крестьян, ибо в таком случае дворянство почтет свой долг угашенным уничтожением залога».

В 1834 году, как и в 1831-м, Пушкина занимали процессы, происходящие с дворянством. Его занимала возможность освобождения крестьян. Он думал об этих важнейших предметах с постоянством и тщательностью человека государственного.

«Путешествие из Москвы в Петербург» было статьей о Радищеве и не было статьей о Радищеве. Радищев как повод явился из положения психологического. Разговоры о Радищеве были камуфляжем опасным и потому не выглядели камуфляжем. Разговоры о Радищеве давали возможность естественным образом перейти к тому, что у них было общего *тематически.* Содержание статьи говорит о стойкости его позиции. Имя Радищева говорит о новом взгляде на свою судьбу.

В то же время конспектировал он книгу уцелевшего декабриста Михайлы Орлова «О государственном кредите». Орлов был сторонником майоратов, то есть противником «раздробления имений».

После «Путешествия» он начал статью «О ничтожестве литературы русской».

> «Если русская словесность представляет мало произведений, достойных наблюдения критики литературной, то она сама по себе (как и всякое другое явление в истории человечества) должна обратить на себя внимание добросовестных исследователей истины».

Он считал себя добросовестным исследователем истины. Он мог теперь смотреть на русскую литературу со стороны. Он был историком. И статья была скорее исторической, чем литературной. Он рассматривал литературу как явление жизни общественной. Он дал богатый смыслом очерк русской истории, породившей новую литературу, дал обширный очерк истории процессов европейских, приведших к явлению Вольтера и его соратников. Статья тут и оборвалась. Но ясно, что ничтожество литературы русской, по мнению Пушкина, определялось ее общественным бессилием, в противовес общественной мощи французской литературы века Просвещения.

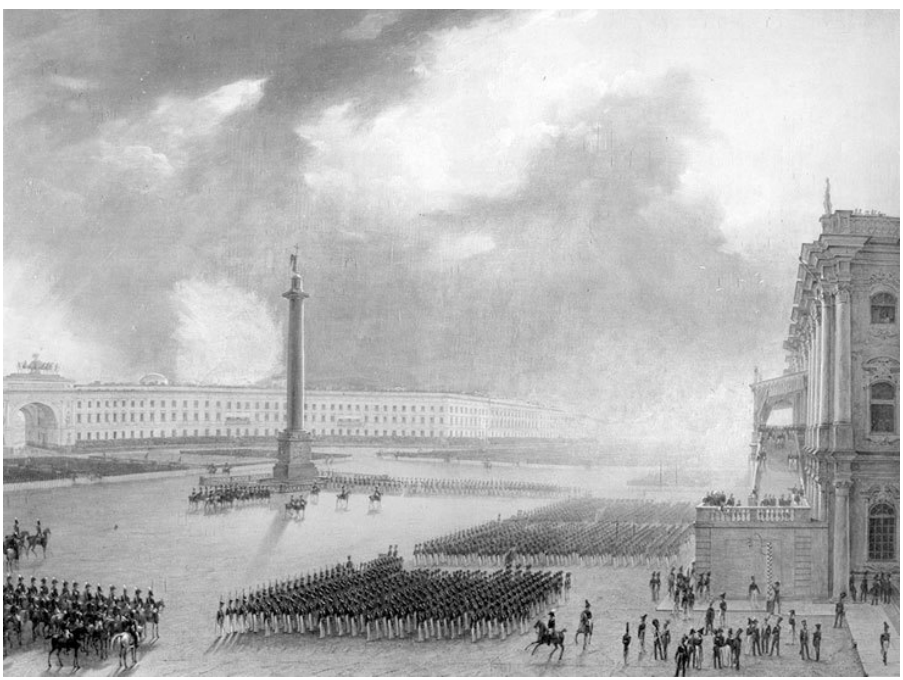
В 1833 году он в стихах высказал свое презрение к тому «вшивому рынку», в который превратилась русская словесность. В

1834 году он собирался как мыслитель объяснить причины этого превращения.

3

6 декабря 1833 года Пушкин писал Бенкендорфу:

«Хотя я как можно реже старался пользоваться драгоценным мне дозволением утруждать внимание государя императора, но ныне осмеливаюсь просить на то высочайшего соизволения: я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко времени Пугачева, но нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал Историю Пугачевщины. Осмеливаюсь просить через Ваше сиятельство дозволения представить оную на высочайшее рассмотрение. Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для его величества особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных».



Открытие Александровской колонны 30 августа 1834 года. Картина Г. Г. Чернецова. 1834 г.

Трудно отгадать, почему Николай пропустил «Пугачева». Быть может, как считают некоторые исследователи, он хотел напомнить о великом мятеже русским дворянам — тем самым

безграмотным барам, которые не одобряли даже робких разговоров о реформах. А может, он был уверен, что имеет дело с бездумной фактографией, а вчитываться и вдумываться ему было недосуг. Как бы то ни было, царь сделал очень незначительные замечания и 31 декабря 1833 года разрешил книгу напечатать.

Разрешение, как видим, совпало с пожалованием в камер-юнкеры. И, казалось, должно было нейтрализовать в сознании Пушкина — хотя бы отчасти — эту дальновидную акцию государя. Этого, однако, не произошло. Наоборот, легкость и равнодушие, с какими царь пропустил книгу, свидетельствовали, что важнейшие идеи, в ней высказанные, были им просто-напросто не замечены.

Равнодушие царя только усугубляло для Пушкина горькое сознание своей ошибки.

Тем необходимее было скорее напечатать «Историю» — представить ее обществу. Издание первого его исторического труда должно было многое определить. Оно должно было определить отношение публики к его исторической проповеди. Оно должно было определить его материальные перспективы — сможет он зарабатывать на жизнь историческими трудами или нет. Денежные надежды на «Пугачева» он возлагал большие.

В начале февраля 1834 года — Бенкендорфу:

«Разрешая напечатание этого труда, его величество обеспечил мое благосостояние. Сумма, которую я могу за него выручить, даст мне возможность принять наследство, от которого я вынужден был отказаться за отсутствием сорока тысяч рублей, недостававших мне. Этот труд мне их доставит, если я сам буду его издателем, не прибегая к услугам книгопродавца. 15 000 было бы мне достаточно.

У меня две просьбы: первая — чтобы мне разрешили отпечатать мое сочинение за мой счет в той типографии, которая подведомственна г-ну Сперанскому, — единственной, где, я уверен, меня не обманут; вторая — получить в виде займа на два года 15 000 — сумму, которая даст мне возможность посвятить изданию все необходимое время и старание».

Видит бог, как не хотелось ему просить деньги у Николая после всего происшедшего. Но другого выхода не существовало. «Пугачева» необходимо было напечатать. Причем напечатать с максимальной выгодой. Для этого нужны были деньги. Деньги мог дать только царь. Возможности крупных частных кредитов Пушкин к тому времени уже исчерпал.

Николай распорядился выдать 20 000 рублей и разрешил печатание в государственной типографии. Об увеличении суммы, очевидно, просил сам Пушкин в личном разговоре с

Бенкендорфом.

Внешне отношения между царем и камер-юнкером Пушкиным снова наладились.

4

Он недаром думал о сорока тысячах, которые позволят ему принять наследство — расстроенное и обремененное долгами имение покойного дядюшки Василия Львовича. Жизнь — самая что ни на есть низменная, практическая жизнь — терзала его.

Он жаловался Нащокину в марте 1834 года:

«Обстоятельства мои затруднились еще вот по какому случаю: На днях отец посылает за мною. Прихожу — нахожу его в слезах, мать — в постеле — весь дом в ужасном беспокойстве. *Что такое? имение описывают. — Надо скорее заплатить долг. — Уж долг заплачен. Вот и письмо управителя. —* О *чем же горе? — Жить нечем до октября. — Поезжайте в деревню. — Не с чем. —* Что делать? Надобно взять имение в руки, а отцу назначить содержание. Новые долги, новые хлопоты. А надобно: я желал бы и успокоить старость отца, и устроить дела брата Льва…»

Он взял на себя управление отцовским имением. Это требовало времени, нервов и денег.

Сформировавшееся и окрепшее в нем нравственное чувство вело его по пути человеческой заботы о малом и большом — от отцовского имения до России.

3 мая он занял у своего давнего знакомого полковника Энгельгардта 1330 рублей под вексель. 26 мая выдал книгопродавцу Лисенкову вексель еще на 4000 рублей. Это уже после получения ссуды в 20 000.

Жизнь терзала его. Однако надо было двигаться дальше. Надо было всерьез приниматься за «Историю Петра». Надо было решать, как он будет жить. Как и где.

В марте Пушкин записал в дневник без всякой связи с предыдущим:

«13 июля 1826 года — в полдень Государь находился в Царском Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. — В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец — собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним. Фр… подняла платок в память исторического дня».

13 июля 1826 года Николай повесил пятерых декабристов.

«Фр…» — фрейлина, которая подняла платок, была Россет. Она и рассказала Пушкину эту сцену.

Почему он вспомнил в эти мартовские дни 1834 года — после камер-юнкерства, после равнодушного снисхождения к «Пугачеву», после равнодушного благодеяния — 20 000, — почему вспомнил он июльский день 1826 года?

Очевидно, длительный — с осени 1833 года — процесс внутреннего разрыва с Николаем теперь завершался.

К 1831 году он выработал ясное представление — каким должен быть царь.

Когда Николай отправился в Новгород, чтобы лично принимать участие в усмирении мятежа поселян, Пушкин писал:

«Однако же сие решительное средство, как последнее, не должно быть всуе употребляемо. Народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади, — и царский голос не должен угрожать ни картечью, ни кнутом. Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с государем».

Кроме мысли о царе как о символическом олицетворении власти, тут угадывается еще одна — куда более опасная: государством должны управлять люди, специально для этого предназначенные. Царь должен олицетворять… Мысль об ограничении самодержавия жила в нем всегда.

Прошло четыре года. И все эти годы царь делал не то и вел себя не так, как того желал бы Пушкин. Он не оправдывал надежд ни в чем.

Единственным оправданием вмешательства царя в практическое управление был пример Петра. Но в этом случае необходим был петровский масштаб. С самого начала их отношений Пушкин пытался этот масштаб в Николае увидеть. Но масштаба этого не было. А обманывать себя Пушкин не считал возможным. Осенью 1834 года он подвел жестокий итог своим отношениям с царем в «Золотом петушке».

А пока что он восстанавливал истину в дневнике — для себя и для истории.

По отношению к Николаю дневник — без всякого преувеличения — документ издевательский. И не только по отношению к Николаю.

Вот Пушкин записывает известие, что царь, вмешавшись в судопроизводство, отдал проворовавшегося офицера Бринкена на суд курляндскому дворянству. Здесь явное неодобрение. Но через некоторое время другая запись:

«Лифляндское[2] Дворянство отказалось судить Бринкена, потому что он воспитывался в корпусе в Петербурге. Вот тебе шиш, и поделом».

Тут уже прямое издевательство. «Вот тебе шиш» — обращенное к царю — свидетельствует прежде всего о потере уважения.

«Государь посадил наследника под арест на дворцовую обвахту за то, что он проскакал галопом вместо рыси».

«Кто-то сказал о Государе: в нем много от прапорщика и мало от Петра Великого».

«Государь не хотел принять Каннинга ‹…› потому, что, будучи Великим Князем, имел с ним какую-то неприятность».

Замечательные дипломатические принципы.

«Царь однажды пошел за кулисы и на сцене разговаривал с московск. актрисами; это еще больше не понравилось публике».

Есть и более развернутые записи:

«В воскресенье на бале в концертной Государь долго со мной разговаривал; он говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения».

Единственное, что осталось в памяти от разговора с государем, — то, что он не коверкает язык своей страны. И на том спасибо.

Если вспомнить записи первых страниц, о которых уже шла речь, то император, изобретатель дамских мундиров, соблазнитель молоденьких фрейлин, любитель бесед за кулисами, делающий важные международные шаги, исходя из личных симпатий и антипатий, назначающий в воспитатели юношества нечистых людей, — и в самом деле оправдывает центральную характеристику — «много от прапорщика и мало от Петра Великого». И прапорщик-то не из лучших.

Короткие бесстрастные записи представляют в анекдотическом виде и двор великой державы. И едкие записи о Екатерине и Александре вкраплены в текущие заметки.

Он выполнил свою угрозу — «русский Данжо» не был похож на французского. Он знал, что пишет для истории.

И есть в дневнике еще одна запись, по горечи и ярости превосходящая все остальные:

> «10 мая. Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, писанное мною Наталье Николаевне, и нашед в нем отчет о присяге великого князя, писанный, видно, слогом не официальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча тоже его не понял. К счастию, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Все успокоились. Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью. Но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стащится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным».

Вот после этого он и написал жене:

> «Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство a la lettre. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя…»

Он надеялся, что полиция, читающая его письма, доведет до сведения государя и этот пассаж.

В марте 1834 года вспомнил о казни декабристов потому, что Николай стал ему окончательно ясен. *Такому царю не за что было прощать палачество.*

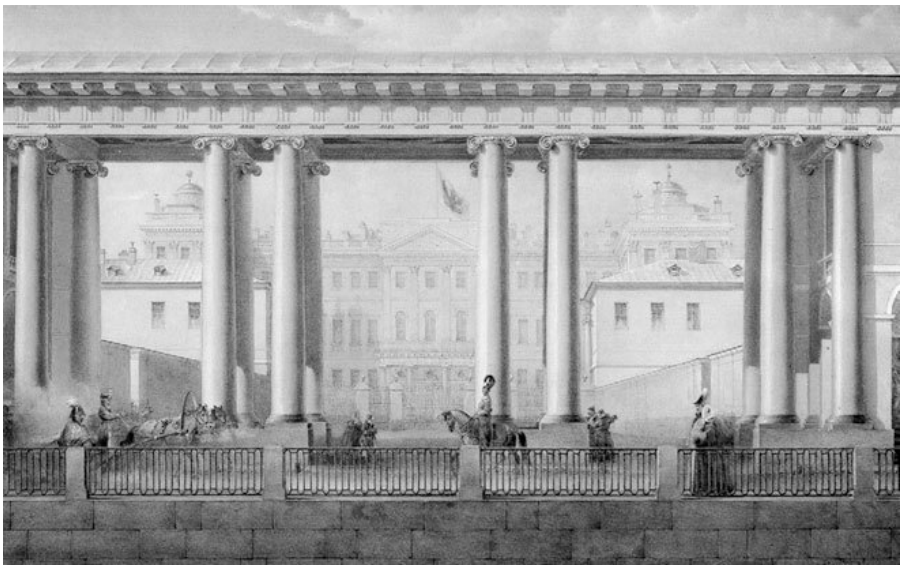
Все последующие записи этот вывод подтверждают.

Вскрытое и прочитанное царем письмо, обличающее его,

царя, безнравственность, замыкало этот восьмилетний круг — от года 1826 до 1834.

Иллюзии кончились. Незачем было думать о личном сближении, о воздействии — каком бы то ни было — *на такого царя.*

Надо было идти в отставку.



Петербург. Аничков дворец. Акварель В. С. Садовникова. 1838 г.

5

Надо было идти в отставку.

Надо было увезти Наталью Николаевну подальше от лестного внимания государя. Надо было сократить расходы. «Пугачев» должен был принести деньги. Тогда следовало отдать наиболее срочные долги и с легким сердцем писать «Петра».

Надо было ехать в деревню.

Единственное, что необходимо было выговорить себе при отставке, — это право приезжать в архивы. Архивная работа для «Истории Петра» предстояла еще огромная.

Он не предвидел особых затруднений. В душе он считал себя свободным от обязательств перед прапорщиком, который прикидывался великим государем. Он не думал, что после взаимных неудовольствий Николай станет его удерживать.

Это было освобождение необходимое. Ибо он понимал — сделать то, что он призван был сделать, стать тем, кем он должен

был стать для России, — он мог только сохранив свое достоинство в глазах общества. В том положении, в которое его остроумно поставил император, он рисковал потерять не только литературную популярность.

Мысль эта нарастала в нем.

18 мая он писал жене:

> «Дай Бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и живых! да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость; особенно когда лет 20 человек был независим».

Около 29 мая:

«Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами?»

8 июня:

> «Я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога».

Дело было уже не в обидах на Николая, которые казались стишком мелким чувством по сравнению с возможностью главной потери. Потери общественного уважения.

11 июня.

> «На *того* я перестал сердиться, потому что (out refexion faite) не он виноват в свинстве его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к <….. > и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman. Ух, кабы мне удрать на чистый воздух».

Положим, Николай немало был виноват в свинстве, его окружавшем. Но фраза эта — не только попытка оправдать царя. В ней — отчетливое понимание логики событий. Дело не в личных качествах или желаниях Николая.

В мрачные июньские дни 1834 года Пушкин осознал, что все эти годы, думая, будто он поддерживает благие намерения правительства, он — на самом деле — находился в состоянии

борьбы с правительством. Ибо правительство вовсе не хотело, чтобы его толкали в ту сторону, в которую пытался толкать его Пушкин. Борьба эта была подспудная и часто бессознательная. Но она была. И теперь она стала явной.

Не надо думать, что презрительное и подозрительное отношение к Пушкину ослепляло императора. Нет. Он ясно понимал, что в его внутриполитической игре Пушкин — фигура весьма существенная. Он мог не ценить его стихов. Но не мог не знать, что Пушкин, безусловно, признан русской публикой гениальным русским поэтом, первым русским поэтом. Об этом писал даже Булгарин. Несмотря на резкий упадок популярности в тридцатые годы, несмотря на частые разговоры об истощении пушкинского таланта, традиция отношения к Пушкину как к гордости литературы отечественной была жива и неизбежно учитывалась Николаем.

Разве случайно оба момента наибольшего сближения Пушкина и царя приходятся на периоды, наиболее для Николая трудные? Первый — в 1826 году, когда после казни декабристов Николаю нужно было как-то расположить в свою пользу общественное мнение. Второй — в 1831 году, когда перед царем довольно явственно предстал призрак внешне-и внутриполитической катастрофы.

Николай был политик вполне утилитарного толка. В тяжком для него 1831 году таким человеком, как Пушкин, пренебрегать было нельзя. В1834 году, когда Николай почувствовал себя прочно, он мог себе позволить относиться к Пушкину как хотел.

И он вполне выразил свое отношение пожалованием в камер-юнкеры, мелочными придирками и откровенным ухаживанием за Натальей Николаевной.

Пушкин как союзник уже не был ему нужен.

Пушкин должен был принять то положение, которое ему предлагалось, — положение мелкого чиновника, состоящего при российской истории, — и перестать претендовать на роль историографа-мыслителя, советчика государя. В противном случае его нужно было сломать.

Появление между Пушкиным и Бенкендорфом Мордвинова было предупреждением. Камер-юнкерство — решительным шагом.

Пушкин понял это:

«Теперь они смотрят на меня как на холопа».

Надо было спасать свое будущее и будущее своей миссии. Надо было идти в отставку.

25 июня 1834 года он написал Бенкендорфу письмо, по своей

ледяной стилистике и краткости напоминавшее картель:

> «Граф. Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу и покорнейше прошу Ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение.
>
> В качестве последней милости я просил бы, чтобы дозволение посещать архивы, которое соизволил мне даровать Его величество, не было взято обратно».

«В качестве последней милости». Он давал понять, что больше не нуждается в милостях, не претендует на будущие милости. Он хотел быть сам по себе.

Он перед тем внутренне готовился к перемене жизни:

> Пора, мои друг, пора! покоя сердце просит —
> Летят за днями дни, и каждый час уносит
> Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
> Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем.
> На свете счастья нет, но есть покой и воля.
> Давно завидная мечтается мне доля —
> Давно, усталый раб, замыслил я побег
> В обитель дальную трудов и чистых нег.

И прозаический план дальнейших строф:

«Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается *своего* уединения. Блажен, кто находит подругу, — тогда удались он *домой.*

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть».

Да, это был выход. Это был путь отступления. Почетного отступления. Никто бы не упрекнул его.

Но он не закончил стихотворения. Ибо программа эта его не устраивала. Ему нужны были архивы. «Труды поэтические» — этого было мало.

30 июня Бенкендорф ответил Пушкину:

«Письмо Ваше ко мне от 25-го сего июня было мною представлено государю императору в подлиннике, и его императорское величество, не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить г. вице-канцлеру об удовлетворении Вашей просьбы, что и будет мною исполнено.

Затем на просьбу Вашу, о предоставлении Вам и в отставке

права посещать государственные архивы для извлечения справок, государь император не изъявил своего соизволения, так как право сие может принадлежать единственно лицам, пользующимся особенною доверенностью начальства».

Уходя в отставку, он, стало быть, терял доверие. Это была опала.

Ему запрещали пользоваться архивами. Это значило, что он не сможет писать «Историю Петра». Это значило, что исторические занятия — важнейшие для него — станут невозможны. Это значило, что он не сможет делать то дело, к которому призван своим долгом.

Таким образом, терялся высокий смысл отставки и оставался только бытовой. Тот простой смысл — семейные и денежные дела, — о котором он писал и Бенкендорфу, а затем и жене. Он никому не писал о страхе потерять общественное уважение и духовную независимость (один раз это прорвалось в словах: «они смотрят на меня как на холопа»). Он говорил об этом в доверительной беседе с Россет и ее мужем Смирновым. Так же как свои подлинные планы относительно газеты, о которых нет ни слова в его письмах, изложил он в разговоре с Мухановым.

В. А. Жуковский. Акварель К. П. Брюллова. 1835 г.

Но раз оставался только бытовой смысл, простой смысл, то в действие вступали и другие мотивы, которые на этом уровне были серьезны. Раз он не сможет заниматься историческими трудами, стало быть, ему останется только литература. Но когда цензура узнает, что он в опале, она ополчится на него пуще, чем прежде. Защиты не будет ниоткуда. Доносы возобновятся с новой силой. И остановить их действие будет некому. Булгарин восторжествует.

Все оборачивалось не так, как он рассчитывал. Он заколебался.

И тут вмешался Жуковский, совершенно ошеломленный поступком Пушкина, полный заботы о друге.

2 июля. Жуковский — Пушкину:

> «Государь опять говорил со мною о тебе. Если бы я знал наперед, что побудило тебя взять отставку, я бы ему объяснил все, но так как я и сам не понимаю, что могло тебя заставить сделать глупость, то мне и ему нечего было отвечать. Я только спросил: *нельзя ли как этого поправить?* — Почему ж нельзя? отвечал он. Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое. — Это меня истинно трогает. А ты делай как разумеешь. Я бы на твоем месте ни минуты не усумнился как поступить. Спешу только уведомить о случившемся».

И здесь, как и в 1831 году, не следует преувеличивать влияние Жуковского. Пушкин ценил нежную дружбу Василия Андреевича и его постоянное желание, чтоб всем было хорошо. Но он видел то, чего не видел Жуковский, — катастрофичность своего положения.

Письмо Жуковского от 2 июля еще раз подтвердило, что царь по каким-то своим соображениям не желает пушкинской отставки и в случае упрямства Пушкина будет мстить.

3 июля. Пушкин написал Бенкендорфу:

> «Граф. Несколько дней назад я имел честь обратиться к Вашему сиятельству с просьбой о разрешении оставить службу. Так как поступок этот неблаговиден, покорнейше прошу Вас, граф, не давать хода моему прошению. Я предпочитаю казаться легкомысленным, чем быть неблагодарным. Со всем тем отпуск на несколько месяцев был бы мне необходим».

Он часто так делал в подобных случаях — выдвигал мотивировку, наиболее понятную адресату. На самом же деле — как видно из дальнейшей переписки — он вовсе не считал себя неблагодарным.

3 июля — в то время, как Пушкин писал Бенкендорфу, — Жуковский писал Пушкину из Царского Села:

> «Вчера я писал к тебе с Блудовым на скоро и кажется не ясно сказал то, чего мне от тебя хочется. А ты ведь человек глупый, теперь я и этом совершенно уверен. Не только глупый, но еще и поведения непристойного: как мог ты, приступая к тому, что ты так искусно состряпал,

не сказать мне о том ни слова, ни мне, ни Вяземскому — не понимаю! Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость! Вот что я бы теперь на твоем месте сделал (ибо слова государя крепко бы расшевелили и повернули к нему мое сердце): я написал бы к нему прямо, со всем прямодушием, какое у меня только есть, письмо, в котором бы *обвинил* себя за сделанную глупость, потом так же прямо объяснил то, что могло заставить меня сделать эту глупость, и все это сказал бы с тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает».

Затем он снова повторял свой разговор с Николаем и заканчивал свои увещевания так:

> «Я никак не воображал, чтобы была еще возможность поправить то, что ты так безрассудно соблаговолил напакостить. Если не воспользуешься этой возможностью, то будешь щетинистое животное, которое питается желудями и своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека; без галиматьи, поступишь дурно и глупо, повредишь себе на целую жизнь и заслужишь свое и друзей своих неодобрение».

Бедный Жуковский требовал невозможного. Пушкин не мог «прямо объяснить», что заставило его подать прошение. «Прямое объяснение» было чревато куда более тяжкими последствиями. Пушкин не мог прямо сказать Николаю, что он хочет сохранить свою репутацию, свою независимость, свое право на оппозицию, наконец. Он мог только повторять формулу нежелания показаться неблагодарным. 4 июля он ответил Жуковскому:

«Получив первое письмо твое, я тотчас написал графу Бенкендорфу, прося его остановить мою отставку ‹…› Но вслед за тем получил официальное извещение о том, что отставку я получу, но что вход в архив будет мне запрещен. Это огорчило меня во всех отношениях. Подал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на все. Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение мое не весело; перемена жизни почти необходима. Изъяснять все это графу Бенкендорфу мне недостало духа — от этого и письмо мое должно было показаться сухо, а оно просто глупо».

Он охотно принял версию Жуковского, что все происшедшее «просто глупо». В том же письме он растолковал ему, что не может писать прямо Николаю. Объяснить свой поступок одной глупостью было как-то странно. Надо было прибегать к

объяснениям материальным — к невозможности с его средствами жить в столице. Это и на самом деле было моментом важным. Но тогда объяснение стало бы похоже на выклянчивание денег. Он этого не хотел.

Конечно, вся мучительность положения была в том, что он не мог написать правду ни Бенкендорфу, ни царю.

4 июля. Пушкин — Бенкендорфу:

> «Письмо Вашего сиятельства от 30 июня удостоился я получить вчера вечером. Крайне огорчен я, что необдуманное прошение мое, вынужденное от меня неприятными обстоятельствами и досадными, мелочными хлопотами, могло показаться безумной неблагодарностью и супротивлением воле того, кто доныне был более моим благодетелем, нежели государем. Буду ждать решения участи моей, но, во всяком случае, ничто не изменит чувства глубокой преданности моей к царю и сыновней благодарности за прежние его милости».

Смысл письма был ясен — я не хотел никого оскорблять, но раз мое прошение принято за сопротивление высочайшей воле, то я подчиняюсь любому решению, удовлетворяющему государя.

6 июля. Жуковский — Пушкину:

> «Я, право, не понимаю, что с тобой сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в жолтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. Бенкендорф прислал мне твои письма, и первое и последнее. В первом есть кое-что живое, но его нельзя употребить в дело, ибо в нем не пишешь ничего о том, хочешь ли остаться в службе или нет; последнее, в коем просишь, чтоб все осталось по старому, так сухо, что оно может показаться государю новой неприличностью. Разве ты разучился писать; разве считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство к государю? Зачем ты мудришь? Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком; он считает его с твоей стороны неблагодарностью! Он тебя до сих пор любил и искренне хотел тебе добра. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть от себя. Что ж тут думать! Напиши то, что скажет сердце. А тут, право, есть о чем ему поразговориться. И, не прося ничего, можешь

объяснить необходимость отставки; но более всего должен столкнуть с себя упрек в неблагодарности и выразить что-нибудь такое, что непременно должно быть у тебя в сердце к государю».

Возможно, именно Николай через Бенкендорфа внушал Жуковскому это требование «разговорчивости». Их не удовлетворяли короткие деловые письма Пушкина. Точно оценив ситуацию, они явно решили использовать ее до конца. Заставить Пушкина связать себя такими обещаниями, чтобы попытки дальнейших бунтов были для него исключены. Они хотели провести его через новое унижение. Они хотели его сломать.

Пушкин был в том, характерном для него в последующие годы состоянии, когда бешенство сочеталось с отчаянием. В тот же день — 6 июля — он отвечал Жуковскому:

«Я, право, сам не понимаю, что со мной делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие — какое тут преступление? какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня в службе. Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? просить прощения? хорошо; да в чем? К Бенкендорфу я являюсь и объясню ему, что у меня на сердце — но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье».

6 июля. Пушкин — Бенкендорфу:

«Граф. Позвольте мне говорить с Вами вполне откровенно. Подавая в отставку, я думал лишь о семейных делах, затруднительных и тягостных. Я имел в виду лишь неудобство быть вынужденным предпринимать частые поездки, находясь в то же время на службе. Богом и душой моей клянусь, — это была моя единственная мысль; с глубокой печалью вижу, как ужасно она была истолкована. Государь осыпал меня милостями с той первой минуты, когда монаршая мысль обратилась ко мне. Среди них есть такие, о которых я не

могу думать без глубокого волнения, столько он вложил в них прямоты и великодушия. Он всегда был для меня провидением, и если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, которые я питал к нему. И в эту минуту не мысль потерять всемогущего покровителя вызывает во мне печаль, но боязнь оставить в его душе впечатление, которое, к счастью, мною не заслужено».

Панорама Невского проспекта. Литография с оригинала В. С. Садовникова. Фрагмент. 1830-е гг.

После предыдущего письма к Жуковскому совершенно ясно, что все это — декламация. Он чувствовал себя правым.

Скорее всего, его письмо разочаровало Николая и Бенкендорфа. Пушкин взбунтовался и не принес того полного и самоуничижающего покаяния, которого от него требовали.

И Пушкин, и его высокие противники понимали, что это только начало. Начало нового периода их отношений.

Денег между тем не было. «Пугачев» — большая надежда — был впереди. Хлопоты по имению терзали Пушкина. Лев Сергеевич входил в долги, которые приходилось платить ему, старшему брату. Но надо было делать свое дело.

3 июля — в самый разгар истории с отставкой — он писал своему лицейскому однокашнику Михаилу Яковлеву, заведовавшему типографией, официальное отношение:

«Вследствие данного Вам начальством поручения касательно напечатания рукописи моей, под названием История Пугачевского бунта, и по личному моему с Вами в том объяснению, поспешаю Вас уведомить:

1-е. Желаю я, чтоб означенная рукопись была напечатана в 8-ую долю листа, такого же формата, как Свод Законов.

2-е. Число экземпляров полагаю я 3000…»

5 июля, перед тем как решилось дело об отставке, он написал Яковлеву:

> «Вот тебе, мой благодетель, первая глава — с Богом».

Он сказал когда-то:

> «Появление Истории государства Российского (как и надлежало быть) наделало много шуму и произвело сильное впечатление. 3000 экз. разошлись в один месяц…»

Теперь свое первое историческое сочинение он выпускал тем же тиражом.

Если помнить, что «Полтава» вышла тиражом 1200 экз., «Цыганы» в период наибольшей пушкинской славы — тиражом 1200 экз., «Повести Белкина» — 1200 экз., — то 3000 экз. «Пугачева» оказываются очень знаменательными. Это единственный такой тираж у Пушкина.

Появление книги должно было решить многое.

6

Но как он устал за эти четыре года. И как ему хотелось паузы, хоть недолгой остановки в этом все убыстряющемся, выматывающем душу движении.

С 1834 года он стал с некоторым ужасом замечать, что его исторические планы направляют его жизнь. Даже против его желания.

Мог он выйти в отставку? Да, конечно же мог. Мог он прокормить семью, живя в деревне? Разумеется. Его теснила бы цензура? Но переизданиями он в состоянии был заработать на отдачу срочных долгов. Переиздания бы ему никто не запретил.

«Пугачев» должен был принести деньги. Русская словесность, беззащитная перед Булгариным? Да черт с ним, с этим «вшивым рынком»!

Стало быть, все дело в трудах исторических? Стало быть — так.

Дело было уже не только в злой воле Николая. Дело было в нем самом — Пушкине. В его планах. В его роковом чувстве долга.

Надежды на отдых, на паузу, хоть недолгую остановку все время возникали в нем. Он писал в 1834 году:

Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.
Надолго ли?.. а кажется прошли
Дни мрачных бурь, дни горьких искушений…

И бросил. Оборвал стихотворение. Потому что тоска по высокому покою, небесной лазури, отраженной в каждом часе жизни, — тоска эта не имела выхода. Он должен был делать свое дело.

Он вернулся к «Истории Петра». Интенсивность занятий его нарастала.

Начало апреля 1834 года. Погодину:

«К Петру приступаю со страхом и трепетом…»

Конец мая. Наталье Николаевне:

«Ты спрашиваешь меня о Петре? идет помаленьку; скопляю матерьялы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник…»

11 июня. Наталье Николаевне:

«Петр 1-ый идет; того и гляди напечатаю 1-ый том к зиме».

Надежд на Николая не было. Свое новое отношение к императору он закрепил осенью 1834 года «Сказкой о золотом петушке» — горькой историей мудреца, который помогал царю спасать государство.

Надежда была только на общество.

Надо было выпускать «Пугачева». Надо было писать «Петра». Надо было издавать газету.

Его не так-то легко было с ног свалить.

1835

О люди! Жалкий род,
достойный слез и смеха!
Жрецы минутного,
поклонники успеха!
Как часто мимо вас
проходит человек,
Над кем ругается слепой и
буйный век,
Но чей высокий лик в
грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и
умиленье!

Пушкин. 1835

1

«Пугачев» вышел в конце 1834 года. 23 ноября Пушкин писал Бенкендорфу:

«История Пугачевского бунта отпечатана, и для выпуска оной в свет ожидал я разрешения Вашего сиятельства; между тем позвольте обеспокоить Вас еще одною покорнейшею просьбою: я желал бы иметь счастие представить первый экземпляр книги государю императору, присовокупив к ней некоторые замечания, которых не решился я напечатать, но которые могут быть любопытны для Его величества».

Но все было не так просто.

17 декабря он снова адресовался к шефу жандармов:

«Я в отчаянии от необходимости вновь докучать Вашему сиятельству, но г. Сперанский только что сообщил мне, что так как История Пугачевского бунта отпечатана в его отделении по повелению Его величества государя императора, то ему невозможно выдать издание *без высочайшего на то соизволения.* Умоляю Вас, Ваше сиятельство, извинить меня и устранить это затруднение».

До публики книга дошла в самом конце 1834 — начале 1835 года. И *не имела ни малейшего успеха.*

А. Языков, брат поэта, писал своему знакомому:

> «Пушкинскую Историю Пугачева я прочел. Она написана весьма небрежно и поверхностно; заметно, что у него было слишком мало материалов и что он историк не дальний».

Несколько позже он писал:

> «Пугачев Пушкина, кажется, написан для того, чтобы скорее продать заглавие. У нас им очень недовольны…»

Языковых Пушкин считал своими друзьями. Погодин, историк Погодин, которого Пушкин прочил себе в помощники, записал в дневник:

«Занимательная повесть. Простоты образец; а между тем ругают Пушкина за Пугачева».

В феврале, когда конъюнктура определилась, Пушкин занес в дневник:

> «В публике очень бранят моего Пугачева, а еще хуже — не покупают».

Судя по тиражу, каким он выпустил «Историю», он ожидал совершенно иного приема.

Книга была написана прозрачным, четким пушкинским слогом. Строгим и чистым слогом ученого. Никаких прикрас — только существо дела. Это был образец научной прозы.

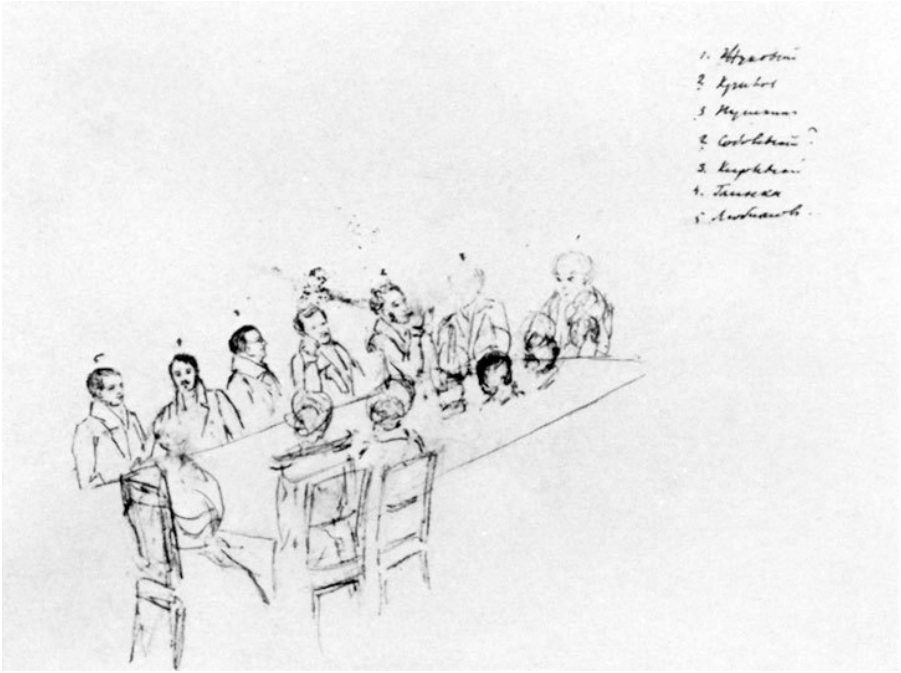
Его обвиняли в небрежности.

Он предлагал глубокую и чрезвычайно важную для России концепцию крестьянской войны. Его обвиняли в поверхностности.

«Занимательная повесть» — других слов Погодин не нашел.

Барон Розен опубликовал восторженную, но не очень квалифицированную рецензию. Она, однако, не могла изменить общего положения в критике.

Публика требовала от Пушкина другой истории. Истории, «написанной пламенной кистью Байрона». От него ждали романтических персонажей и захватывающих описаний. А получили тонкое историческое исследование.



Встреча Нового 1835 года у В. Ф. Одоевского. Рисунок В. Ф. Одоевского

И были разочарованы. Как выяснилось, публике это было не нужно.

Умный, любящий Пушкина Денис Давыдов еще в 1833 году писал Языкову:

> «Кстати о Пушкине: знаете ли, что я слышал от людей, получивших письма из Казани? В Казани были Пушкин и Баратынский, отыскивающие сведения о Пугачеве. Из этого я заключаю, что они в союзе для сочинения какого-нибудь романа, в котором будет действовать Пугачев. Итак, вот решение загадки появления Пушкина в нашей и в Оренбургской губерниях. Если это так, то, дай Бог, авось ли мы увидим что-нибудь близкое к Вальтер Скотту».

Давыдов ошибался относительно союза Пушкина и Баратынского. Они съехались в Казани совершенно случайно. Но он верно уловил другое.

Все ждали от Пушкина сочинения в духе Байрона или Вальтера Скотта, а он написал в своем, пушкинском духе. Так, как только он мог тогда написать. И обманул ожидания.

Пушкин понял это. И в апреле писал Дмитриеву:

> «Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил в примечания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену возмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону».

В январском номере «Сына отечества» появилась рецензия историка Броневского, наполненная теми же упреками в недостаточной художественности и мелкими придирками. Броневский считал, что Пушкин не сказал читателям ничего нового.

Никто не заметил, что они имеют дело с первоклассным для того времени историческим трудом, построенным на материалах, *еще не бывавших в руках историка.*

Глашатай мнений «среднего читателя» — Булгарин — выразил общее недоумение:

> «…для меня почти непостижимо, что из такого драматического сюжета, как несчастный Пугачевский бунт, поэт, автор не мог ничего создать, кроме сухой реляции».

Идеологические надежды на «Пугачева» провалились.

Материальные — в той же степени.

Он твердо рассчитывал получить от издания до 40 000 рублей прибыли. Получил 4000 убытку.

Из трехтысячного тиража разошлось немногим более тысячи экземпляров. Около двух тысяч так и осталось лежать у него на квартире. В углу.

Ссуда была 20 000. Выручил он около 16 000.

Это была катастрофа.

Во-первых, стало ясно, что исторические книги могут принести ему только убытки. И это делало будущее весьма мрачным.

Во-вторых, к огромным уже долгам прибавилось еще 20 000, возвращать которые было не из чего. Так начался 1835 год.

И этот год стал временем его самых напряженных исторических трудов.

Он не хотел и не мог остановиться.

В письме к Бенкендорфу от 23 ноября 1834 года Пушкин упомянул о замечаниях, которые хотел приложить к экземпляру государя. Зачем это ему было нужно? Хотел он просто развлечь Николая любопытными деталями? Вряд ли.

Николай пропустил «Пугачева» легко, с незначительными поправками. Из чего следовало, что он не придал книге серьезного значения. И «замечания» были последней попыткой Пушкина обратить внимание царя на некоторые мысли, усвоить которые императору, с точки зрения Пушкина, не мешало бы.

Он приложил к дарственному экземпляру двадцать «замечаний», среди которых часть была настолько неважных и частных, что назначение их не оставляет сомнений — это был камуфляж. А между этими историческими анекдотами поместилось несколько абзацев не только многозначительных, но и попросту угрожающих.

Некоторые из них говорят о людях, которые усмиряли восстание.

> «Чернышев… был некогда камер-лакеем. Он был удален из Петербурга повелением императрицы Елисаветы Петровны. Императрица Екатерина, вступив на престол, осыпала его и брата своими милостями. Старший умер в Петербурге комендантом крепости».

Довольно странное «замечание», если учесть, что Чернышев, о котором идет речь, не имел ни малейшего отношения к пугачевскому бунту. Но смысл в этом пассаже был — и не малый. Ибо брат камер-лакея, осыпанный, как и он, милостями Екатерины, пытался разбить Пугачева, был обманут хитростью мятежников, взят в плен и повешен. Таковы подвиги этого представителя «нового», екатерининского, дворянства.

Между тем военный министр граф Чернышев, столь любезно предоставивший Пушкину исторические документы,

получил графский титул и стремительно пошел вверх после 14 декабря и суда над заговорщиками, деятельным участником которого он был. Граф не состоял в близком родстве с теми Чернышевыми. Но он был таким же выскочкой, поймавшим фортуну во время государственного потрясения, утвердившимся на крови мятежников 1825 года. Так что связь тут была ясная.

Следом за справкой о Чернышевых идет история генерала Кара, тоже неудачного усмирителя.

> «Кар был пред сим употреблен в делах, требовавших твердости и даже жестокости (что еще не предполагает храбрости, и Кар это доказал) ‹…› Сей человек,

> пожертвовавший честью для своей безопасности, нашел, однако ж, смерть насильственную: он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостию».

Круг замкнулся — усмиритель Кар был все же убит именно мятежными мужиками. Этот факт тем более многозначителен, что через два «замечания» Пушкин поставил такое:

> «Уральские казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к памяти Пугачева. „Грех сказать, — говорила мне 80-летняя казачка, — на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал“. — „Расскажи мне, — говорил я Д. Пьянову, — как Пугачев был у тебя посаженым отцом“. — „Он для тебя Пугачев, — отвечал мне сердито старик, — а для меня он был великий государь Петр Федорович“».

Судьба генерала Кара, убитого мужиками уже после подавления мятежа, становилась в прямую связь с народными симпатиями к памяти Пугачева.

И сразу после этой заметки — две о дворянской жестокости.

«И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости».

> «Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений! Остальных человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши. Многие из сих прощенных должны были быть живы во время Пугачевского бунта».

Последняя фраза не нуждалась в растолковании.

Очень важное замечание о генералах-«немцах», которые в этот роковой час не выполнили своего долга. Ясное предостережение — кондотьеры ненадежны. Причем здесь нет националистической подоплеки — Пушкин тут же пишет о «немцах» — офицерах в средних чинах, честно делавших свое дело. (Вспомним, что декабристы тоже ратовали против «немцев», имея в своих рядах Сутгофа, Розена, Тизенгаузена, Кюхельбекера, Бриггена.)

И наконец, все суммировалось в «Общих замечаниях»:

> «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство

ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны.

Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних было в шайках Пугачева. Шванвич один был из хороших дворян».

Это звучало устрашающе. Все население страны на стороне мятежников, а дворянство — это очень важно! — против него потому лишь, что выгоды его не совпадают с выгодами мятежников. Но с тех пор значительная часть дворянства потеряла свои имения, своих крепостных, сама превратилась в «страшную стихию мятежей». Стало быть, в случае нового мятежа, который Пушкин в 1834 году предрекал в разговоре с великим князем Михаилом, эта часть дворян может поддержать восстание.

Пушкин такой дворянской позиции не сочувствовал. И сказал об этом в «Капитанской дочке». Но он предлагал смотреть на происходящее трезво. И знаменателен в этом смысле конец «Общих замечаний»:

«Нет зла без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен…» и т. д.

Екатерининское правительство поняло, мол, после крестьянской войны необходимость реформ, а николаевское после 14 декабря, польского восстания и бунта военных поселян такой необходимости не поняло. Хотя здесь Пушкин хитрит — никаких существенных реформ, облегчающих положение крестьян, Екатериной проведено не было. Ее царство закончилось в ситуации экономического и политического кризиса. Пушкин это знал. Но он преследовал очень определенную цель и ограничивался поучительными фактами. Бунт, действительно, многое доказал… Были в замечаниях и такие горькие слова:

«Ныне общее мнение если и существует, то уж гораздо равнодушнее, нежели как бывало в старину».

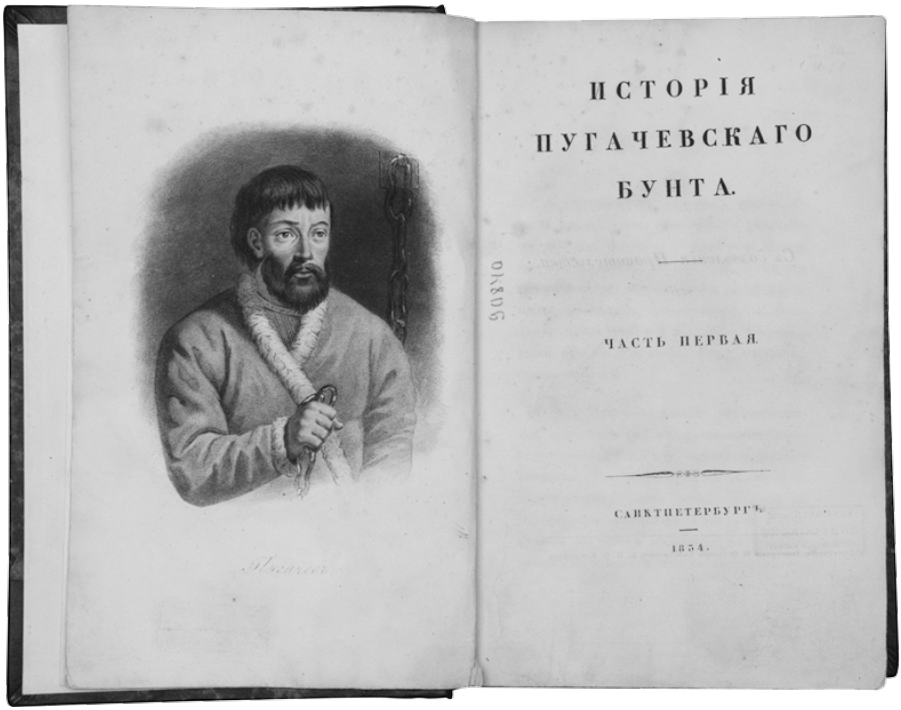
Вряд ли Пушкин, после всего происшедшего, особенно надеялся, что царь возьмет все это в толк.

3

Надо было издавать газету.

В апреле, когда окончательно стал ясен провал «Пугачева», Пушкин написал в черновом письме Бенкендорфу:

> «В 1832 году Его величество соизволил разрешить мне быть издателем политической и литературной газеты.
>
> Ремесло это не мое и неприятно мне во многих отношениях, но обстоятельства заставляют меня прибегнуть к средству, без которого я до сего времени надеялся обойтись. Я проживаю в Петербурге, где благодаря Его величеству могу предаваться занятиям более важным и более отвечающим моему вкусу, но жизнь, которую я здесь веду, вызывает расходы, а дела семьи крайне расстроены, и я оказываюсь в необходимости либо оставить исторические труды, которые стали мне дороги, либо прибегнуть к щедротам государя, на которые я не имею никаких других прав, кроме тех благодеяний, коими он меня уже осыпал.
>
> Газета мне дает возможность жить в Петербурге и выполнять священные обязанности. Итак, я хотел бы быть издателем газеты, во всем сходной с „Северной Пчелой“; что же касается статей чисто литературных (как то: пространных критик, повестей, рассказов, поэм и т. п.), которые не могут найти место в фельетоне, то я хотел бы издавать их особо, один том каждые три месяца, по образцу английских Review».



«История Пугачевского бунта». Титульный лист

Письму этому предшествовали поиски сотрудника. Пушкин выбрал князя Владимира Одоевского.

Одоевский представил ему примерный план первого номера приложения к газете. Содержание приложения, которое они решили назвать «Летописец», было связано, разумеется, с направлением газеты.

«Чтобы начать с какого-нибудь определенного времени, я думаю, Александр Сергеевич, начать обозрение политики, наук и литературы с 3-го десятилетия 19-го века, т. е. с 1830-го года, и потому поместил в Летописце: 1-ое — Хронологическое обозрение сухое, по годам, политических происшествий с 1830 года; впоследствии мы можем издать его отдельною книжкою, которая могла бы быть приплетена к 1-й части хронологического обозрения происшествий с начала мира; я его составлю, а Погодину пошлем на ценсировку. 2-ое — общий взгляд на состояние наук и литературы в последние 4 года в Европе — 1-е, т. е. науки я могу сделать, 2-е — ваше дело. 3-е — общее, но подробное обозрение русских произведений в последние 4 года — это общими силами; хорошо приложить им и краткий каталог. 4-е — особенные статьи о некоторых более достопамятных произведениях, каковы, напр., „Черная женщина“».

Далее — стихотворения, повести и все, что не войдет в

вышеупомянутые разряды. Заглавие «Летописца» может быть такое:

> «Современный Летописец Политики, Наук и Литературы, содержащий в себе обозрение достопримечательнейших происшествий в России и других государствах Европы, по всем отраслям политической, ученой и эстетической деятельности с начала 3-го (последнего) десятилетия 19-го века».

План этот, безусловно, был результатом их предварительных обсуждений. И прежде всего, из него ясно, что разговоры о подобии «Северной пчеле» велись исключительно для успокоения правительства. Литературно-развлекательный характер приложений, который Пушкин обещал Бенкендорфу, совершенно не соответствовал реальным намерениям издателей.

Начать с того, что издатели собирались дать обозрение политических событий с тридцатого года. События эти, как мы знаем, были весьма красноречивы. И систематическое их изложение — само по себе — должно стать уроком. И вообще — задачей своей издатели явно ставили анализ всех важнейших процессов эпохи — политических, научных, литературных.

Пушкин, как видно из письма к Бенкендорфу, сузил задачу газеты в том направлении, которое было для него основным. Все материалы «чисто литературные» он перенес в приложение. Газета должна была трактовать исторические и политические проблемы.

Письмо шефу жандармов, однако, осталось неотправленным.

16 апреля они встретились, и просьбу свою Пушкин изложил устно.

Бенкендорф доложил о ней Николаю. Николай в разрешении на издание газеты отказал.

Еще раз Пушкину дали понять, чтобы он не заносился. Что его дело писать историю дома Романовых, а не поучать общество.

4

Бенкендорфу Пушкин писал о денежных своих затруднениях. Писал достаточно ясно. Но слова эти отнюдь не давали понятия о настоящем его положении.

Положение было катастрофическим.

Недавно опубликовано недатированное письмо его к старшему брату Натальи Николаевны. Письмо, которое по тону своему и по упоминаемым обстоятельствам могло быть написано

не ранее конца 1835 года.

«Mon cher Дмитрий Николаевич! Я получил Ваше письмо как раз в то время, когда собирался Вам писать, чтобы поговорить с Вами о моих затруднениях в связи с предстоящими родами Наташи и о деньгах, которые мне будут крайне нужны. Таким образом, наши с Вами просьбы как бы столкнулись. Тем временем мне удалось кое-что сделать. Князь Владимир Сергеевич Голицын сейчас находится здесь, я с ним говорил о Вас и Вашем деле. Он мне показался расположенным оказать Вам услугу и сказал, что в конце месяца будет в Москве, где Вы сможете с ним переговорить.

Если Вы устроите этот заем, я Вас попрошу одолжить мне на шесть месяцев 6000 рублей, в которых я очень нуждаюсь и которые не знаю, где взять; и так как князю совершенно все равно одолжить 35 или 40 000, и даже больше, это как раз тот источник, из которого Вы будете так добры почерпнуть, если возможно. Я не могу сделать этого сам, так как не могу дать иной гарантии, кроме моего слова, и я не хочу рисковать получить отказ.

Так как Вы глава семьи, в которую я имел счастие войти, и являетесь для нас настоящим и добрым братом, я осмеливаюсь надоедать Вам, чтобы поговорить о моих делах. Семья моя увеличивается, мои занятия заставляют меня жить в Петербурге, расходы идут своим чередом, и так как я не считал возможным сократить их в первый год моей женитьбы, долги так же увеличились. Я знаю, что в настоящее время Вы не можете ничего сделать для нас, имея сильно расстроенное состояние, долги и семью на руках, но если бы Наталья Ивановна была так добра сделать что-нибудь для Наташи, как бы мало то ни было, это было бы для нас большой помощью. Вы понимаете, что, зная о ее постоянно стесненных обстоятельствах, я никогда не решился бы докучать ей просьбами, но крайняя необходимость и даже долг меня к тому вынуждают, — так как, конечно, это не для меня, а только для Наташи и наших детей, о будущности которых я думаю. Я не богат, а мои теперешние дела не позволяют мне заниматься литературным трудом, который давал мне средства к жизни. Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние…»

Это было уже не просто уныние. Это было отчаяние. В 1835

году он впервые стал писать о своей бедности — не в письмах.

О бедность! затвердил я наконец
Урок твой горький! Чем я заслужил
Твое гоненье, властелин враждебный.
Довольства враг, суровый сна мутитель?..

Д. Н. Гончаров. Портрет работы неизвестного художника. 1835 г.

И тут пора решить — что же было причиной его денежной катастрофы.

Неуменье рассчитывать расходы? Дороговизна петербургской жизни? Наряды Натальи Николаевны? Старые карточные долги?

Все это было. Но не это было главным.

Жил Пушкин, вопреки распространенному мнению, не столь уж широко. Жил так, как должен был жить в столице. Семья увеличивалась, и, соответственно, при самой скромной жизни было немало расходов. Наряды Натальи Николаевны оплачивала, главным образом, Загряжская — ее богатая тетка. Пушкин сам подтверждает это в письмах.

Главная причина была та, что начиная с 1831 года он большую часть времени занимался делом, *которое не могло приносить ему доходов*. Он занимался историческими трудами. Реализацией своего великого плана.

Работа в архивах, писание «Пугачева» и «Петра» отнимали столько времени, что оно отнюдь не окупалось государевым жалованьем.

> «…Мои теперешние дела не позволяют мне заниматься литературным трудом, который давал мне средства к жизни».

Эту причину Пушкин постоянно приводит и в письмах Бенкендорфу, в оправдание своих стесненных обстоятельств.

Он прекрасно понимал, в чем корень его материальных бед.

Если бы он все потраченное на историческую и государственную деятельность время тратил на литературный труд, он обеспечил бы себе независимость.

После осени 1833 года — после «Медного всадника» и «Анджело» — он не написал ни одной поэмы. Явление для него необычайное.

Быть может, дело в творческом кризисе? Быть может, хоть отчасти были правы те, кто говорил об охлаждении поэтического таланта Пушкина?

Нет. Талант его был при нем. Свидетельством тому гениальная лирика последних лет.

А отсутствие крупных сочинений?

Каждая крупная пушкинская вещь была воплощением новой крупной идеи. Каждый раз это был новый этап стремительно эволюционирующего пушкинского сознания.

В последние годы характер этих идей был таков, что для их воплощения нужна была историческая научная проза. Необходима была конкретная, подробная разработка конкретного исторического материала.

Бывали моменты — собственно, каждую осень, — когда ему безумно хотелось писать именно стихи. Но тут уже вступали в

действие высокие законы, от его желания не зависящие. Уровень и характер его историко-философского мышления был таков, что требовал иных жанров.

Сам он говорил жене о душевном беспокойстве, которое мешает ему писать стихи. Было, разумеется, и это. Но ведь и осенью 1833 года душа его была отнюдь не спокойна. Однако тогда центр тяжести его творчества еще не столь сильно переместился в другую сферу. Хотя, как мы видели, и «Медный всадник», и «Анджело» решали те же проблемы, которые параллельно решал он в научной своей прозе.

Он не потому стал историком, что не мог больше писать поэмы, а поэмы перестал писать потому, что исторические занятия оказались важнее.

Да, и образ жизни его, и место его жизни, и материальные его беды — все это было связано с характером его занятий, с той задачей, которую он перед собой поставил, с тем роковым сознанием долга, которое не давало ему отступиться от этой задачи.

Смешно говорить о том, что гибель Пушкина была самоубийством. Она была результатом жестокой борьбы. Борьбы, которую он вел до конца.

У него были куда более безболезненные выходы, чем самоубийство. Но он и ими не воспользовался. Хотя соблазн был велик.

5

Одну попытку он сделал.

1 июня 1835 года. Пушкин — Бенкендорфу:

> «Мне совестно постоянно надоедать Вашему сиятельству, но снисходительность и участие, которое вы всегда ко мне проявляли, послужат извинением моей нескромности.
>
> У меня нет состояния; ни я, ни моя жена не получили еще той части, которая должна нам достаться. До сих пор я жил только своим трудом. Мой постоянный доход — это жалование, которое государь соизволил мне назначить. В работе ради хлеба насущного, конечно, нет ничего для меня унизительного; но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег; и одна мысль об этом приводит меня в полное бездействие. Жизнь в Петербурге ужасающе дорога. До

сих пор я довольно равнодушно смотрел на расходы, которые я вынужден был делать, так как политическая и литературная газета — предприятие чисто торговое — сразу дала бы мне способ получать от 30 до 40 тысяч дохода. Однако дело это внушало мне такое отвращение, что я намеревался взяться за него лишь при крайней надобности.

Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые лишь вовлекают меня в долги и готовят мне в будущем только тревоги и хлопоты, а может быть — нищету и отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я обязан милости Его величества.

Я был осыпан благодеяниями государя, я был бы в отчаянии, если бы Его величество заподозрил в моем желании удалиться из Петербурга какое-либо другое побуждение, кроме совершенной необходимости. Малейшего признака неудовольствия или подозрения было бы достаточно, чтобы удержать меня в теперешнем моем положении, ибо, в конце концов, я предпочитаю быть стесненным в моих делах, чем потерять во мнении того, кто был моим благодетелем не как государь, не по долгу и справедливости, но по свободному чувству благожелательности возвышенной и великодушной».

Если отбросить необходимую в этом случае риторику, то смысл письма будет прост и ясен: государь не разрешил ему издавать газету — единственное средство обеспечить себе жизнь в Петербурге, — и теперь не остается ничего другого, как уехать. И если его не удержат угрозами, как в прошлый раз, он уедет. Об архивах речи уже нет. Он готов на время отложить свои главные занятия.

Бенкендорф показал это письмо Николаю. Николай написал на нем:

«Нет препятствия ему ехать куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласить сие со службой; спросить, хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок».

Короче говоря, царь сам предлагал отставку.

Пушкин ответил только 4 июля. Очевидно, он не знал, на что решиться. Казалось бы — чего проще. Он хочет отставки. Ему предлагают отставку. Бери и уезжай. О работе в архивах ни та, ни

другая сторона не заикнулись. А суть была именно в этом.

И 4 июля Пушкин посылает Бенкендорфу весьма дипломатичное письмо, однако упомянув в нем о камне преткновения — архивах:

> «Государю было угодно отметить на письме моем к Вашему сиятельству, что нельзя мне будет отправиться на несколько лет в деревню иначе, как взяв отставку. Передаю совершенно судьбу мою в царскую волю и желаю только, чтоб решение Его величества не было для меня знаком немилости и чтоб вход в архивы, когда обстоятельства позволят мне оставаться в Петербурге, не был мне запрещен».

Бенкендорф доложил государю и записал его ответ:

«Есть ли ему нужны деньги, государь готов ему помочь, пусть мне скажет; есть ли нужно дома побывать, то может взять отпуск на 4 месяца».

Об архивах — ни слова. Но гнева и раздражения, как в 1834 году, не было. Было выжидание — и с той, и с другой стороны. Николай предоставлял Пушкину возможность принять решение.

А Пушкин был в нерешительности. Казалось — вот она, отставка, в руках. Но архивы…

22 июля 1835 года. Пушкин — Бенкендорфу:

> «Я имел честь явиться к Вашему сиятельству, но, к несчастию, не застал Вас дома.
>
> Осыпанный милостями Его величества, к Вам, граф, должен я обратиться, чтобы поблагодарить за участие, которое Вам было угодно проявлять ко мне, и чтобы откровенно объяснить мое положение.
>
> В течение последних пяти лет моего проживания в Петербурге я задолжал около шестидесяти тысяч рублей. Кроме того, я был вынужден взять в свои руки дела моей семьи; это вовлекло меня в такие затруднения, что я вынужден был отказаться от наследства и единственными средствами привести в порядок мои дела были: либо удалиться в деревню, либо единовременно занять крупную сумму денег. Но последний исход почти невозможен в России, где закон предоставляет слишком слабое обеспечение заимодавцу и где займы суть почти всегда долги между друзьями и на слово.
>
> Благодарность для меня чувство не тягостное; и, конечно, моя преданность особе государя не смущена

никакой задней мыслью стыда или угрызений совести, но не могу скрыть от себя, что я не имею решительно никакого права на благодеяния Его величества и что мне невозможно просить чего-либо.

Итак, Вам, граф, еще раз вверяю решение моей участи…»

Пушкин был в нерешительности. Он предоставлял решение Николаю.

Бенкендорф доложил царю. Царь предложил еще один вариант, который Бенкендорф записал:

«Император предлагает ему 10 тысяч рублей и отпуск на 6 месяцев, после которого он посмотрит, должен ли он брать отставку или нет».

Ему давали ссуду, отпуск и, фактически, разрешение на отставку. При этом было ясно, что архивов ему не видать.

После двухмесячного колебания — первое письмо об отставке было написано 1 июня — Пушкин решил остаться в службе и в Петербурге.

Он мог уехать. И бросить исторические труды. Он предпочел остаться и продолжать их.

Он попросил только выдать ему жалованье за шесть лет вперед — 30 000 рублей. Николай разрешил.

Нельзя сказать, чтобы такой поворот событий внес мир в душу Пушкина.

12 сентября он писал жене из Михайловского:

Н. Н. Пушкина. Акварель В. Гау. 1842–1843 гг.

> «А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполовину промотал; Ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны».

Он был не совсем точен — записаться в помещики у него была возможность. Не царь удержал его на этот раз в Петербурге. Он обманывал самого себя.

Весь этот год он, как никогда напряженно, занимался историей.

6

В пределах двух месяцев — июня и июля 1835 года, — тех месяцев, когда шли переговоры об отставке, он написал «Странника».

Он воспользовался книгой знаменитого англичанина Беньяна, религиозного писателя. Книгой, автор которой во сне видит символические приключения Христианина.

Взяв у Беньяна сюжетную ситуацию, Пушкин в этот роковой момент своей жизни написал стихотворение о себе.

Нет в пушкинском «Страннике» никакого сна. Прозрачная проза Беньяна стала поводом для стремительно трагических стихов. Как и во всех пушкинских переложениях, отсекается все лишнее — остается движение мысли, грозной в своей обнаженности. Мысли столь глубокой и многоликой, что нет никакой возможности истолковывать ее однозначно.

И речь пойдет только об одном из многих ликов.
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу… —

так начал Данте «Божественную комедию».

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой… —

так начал Пушкин «Странника». Он был в возрасте Данте, и наступал момент полного прозрения.

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.

Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? Что станется со мной?»

Но причина тоски странника не в том, что он понял вдруг неистинность своего собственного пути, что он испугался гибели. Тоска его апокалипсична.

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я, — ведайте: душа моя полна
Тоской и ужасом, мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!»

Конечно, этим строкам можно без труда отыскать «семейные» аналогии в письмах 1835 года. «Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние…» и т. д.

Но это — малая доля смысла. Масштабы мысли были огромны. Речь здесь идет о России. «Наш город…» Это история того, как Пушкин пытался проповедью своей спасать Россию.

Мои домашние в смущение пришли
И здравый ум во мне расстроенным почли.
Но думали, что ночь и сна покой целебный
Охолодят во мне болезни жар враждебный.
Я лег, но во всю ночь все плакал и вздыхал
И ни на миг очей тяжелых не смыкал.
Поутру я один сидел, оставя ложе.
Они пришли ко мне; на их вопрос я то же,
Что прежде, говорил. Тут ближние мои,
Не доверяя мне, за должное почли
Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем
Меня на правый путь и бранью и презреньем
Старались обратить. Но я, не внемля им,
Все плакал и вздыхал, унынием тесним.
И наконец они от крика утомились
И от меня, махнув рукою, отступились
Как от безумного, чья речь и дикий плач
Докучны, и кому суровый нужен врач.

Как и в 1833 году, появился здесь мотив пророческой одержимости, которую окружающие принимают за банальное сумасшествие. «Как раз тебя запрут» — «кому суровый нужен

врач».

«Странник» — это тоже история пророка. Но не торжествующего пророка 1826 года. Это история «осмеянного пророка».

В 1826 году произошло рождение пророка — прозрение его:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился.
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился.

В 1835 году тоже происходит рождение пророка — прозрение его:

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой…

В 1826 году рождался пророк воодушевляющий, призывающий к действию:

Глаголом жги сердца людей.

В 1835 году родился пророк, предвещающий скорбь и ужас.

Его апокалипсические пророчества были отвергнуты ближними. Его ославили безумцем. И тогда произошло второе его прозрение.

В 1826 году томимый «духовной жаждою» путник встретил грозного серафима с мечом.

В 1835 году он — «духовный труженик».

Пошел я вновь бродить, унываньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая,
Как узник, из тюрьмы замысливший побег,
Как путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик — влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу.

Здесь собраны любимые пушкинские образы из его, несомненно, автобиографических стихотворений. «Узник, из тюрьмы замысливший побег» — «Давно, усталый раб, замыслил я побег». «Как путник, до дождя спешащий на ночлег» — «…как путник запоздалый К нам в окошко постучит». Причем ни узника,

ни путника, ни духовного труженика нет у Беньяна.

Вместо ослепительного серафима с мечом странник встречает скромного юношу с книгой. Вместо символа гремящего пророчества — символ тихой мудрости.

> Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь» —
> Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
> Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,
> Как от бельма врачом избавленный слепец.
> «Я вижу некий свет», — сказал я наконец.

В 1826 году в грудь пророку вложен был «угль, пылающий огнем», в уста вложено «жало мудрыя змеи», «отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы» — атрибуты мудреца-обличителя.

В 1835 году с ока его спало бельмо, и он увидел «тихий свет». Свет спокойной мудрости.

Юноша с книгой заменил не только пушкинского же серафима, но и беньяновского Евангелиста со свитком. Евангелист — апостол, активный проповедник, завоеватель духовного мира. Юноша, встреченный странником, ничего не проповедует. Он погружен в чтение. Он только тихо отвечает на вопрос. Он не призывает странника «глаголом жечь».

> «Коль жребий твой таков, —
> Он возразил, — и ты так жалок в самом деле,
> Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?»

Пушкин. Гравюра с оригинала О. А. Кипренского. 1830 г.

Это писалось в то время, когда шли переговоры об отставке. Когда Пушкин был готов оставить свой великий план и уединиться в деревне.

Странник принял совет юноши. Он бежал из обреченного города, от людей, не внявших его проповеди.

Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих;
Один бранил меня, другой моей супруге
Советы подавал, иной жалел о друге,
Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,

Спасенья верный путь и тесные врата.

Как точно эти строки передают ситуацию вокруг первой отставки 1834 года. Волнение и хлопоты Жуковского, его настойчивые советы, неудовольствие и порицание со стороны других друзей, на которых ссылается Жуковский. Как это все пророчески похоже на ситуацию вокруг последней дуэли. Как точно говорят эти строки о полном непонимании друзьями того, что делалось в душе и уме Пушкина.

В стихотворении страннику удается бежать. В жизни этого не получилось. Как ни манил его «тихий свете» уединенной мудрой жизни, удаленного от суеты творчества, «тайной свободы», — сознание пророческой своей миссии оказалось сильнее. Шестикрылый серафим с мечом одолел тихого юношу с книгой.

«Духовный труженик — влача свою веригу» — он решил сделать еще одну попытку.

Он понимал возможность еще одной неудачи. Он писал в апреле, когда определился провал «Пугачева» — его исторической проповеди:

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо нас проходит человек.
Над кем ругается слепой и буйный век.

Он понимал возможность неудачи. Но он считал необходимым выполнить свой долг. Он должен был написать «Историю Петра».

7

В 1835 году исполнилось десять лет со дня декабрьского восстания.

В начале октября Пушкин писал Плетневу из Михайловского по поводу альманаха, который они собирались издавать:

> «Ты требуешь имени для альманаха: назовем его Арион или Орион; я люблю имена, не имеющие смысла…»

Последняя фраза была издевательским поклоном в сторону полиции, вскрывавшей его письма. Ибо «Арион» было название

его старого стихотворения — о себе и декабристах.

В 1835 году многие надеялись на возвращение сосланных. Надеялся и он. Они были ему необходимы.

В этом году написал он «Пир Петра Первого».

До того — в самом начале черновой «Истории Петра» — он привел слова Ломоносова:

> «Петр, простив многих знатных преступников, пригласил их к своему столу и пушечной пальбою праздновал с ними свое примирение».

На этот сюжет и написан «Пир».

> Нет! Он с подданным мирится;
> Виноватому вину
> Отпуская, веселится;
> Кружку пенит с ним одну;
> И в чело его целует,
> Светел сердцем и лицом:
> И прощенье торжествует,
> Как победу над врагом.

Несмотря на разочарования, надежда на возвращение декабристов жила в нем. И он пытался объяснить царю, в каком выгодном свете предстанет он перед миром, простив своих подданных. И как у него самого, у царя, станет светло на сердце после этого великодушного решения.

Это был тот нередкий случай, когда он верил в исполнение своих надежд не потому, что для этого были реальные основания, а просто потому, что добрый поступок лучше злого, разумное решение целесообразнее неразумного. Он мерил людей своей меркой. А они были совершенно иными и не желали меняться. Но он верил.

О возвращении декабристов он писал в конце 1835 года как о свершившемся факте:

> Кто из богов мне возвратил
> Того, с кем первые походы
> И браней ужас я делил,
> Когда за призраком свободы
> Нас Брут отчаянный водил?

Это было переложение оды Горация на возвращение его друга

и соратника по гражданской войне Помпея Вара. И, как всегда в таких случаях, Пушкин так сдвигал смысл подлинника, что стихи трактовали проблемы, важные для него самого. Иногда это делалось изменением нескольких слов.

У Горация сказано буквально следующее:

О, как часто ты был со мною в дни бедствий,
Когда Брут предводительствовал войсками.
Кто возвратил тебя квиритам,
Отеческим богам и италийскому небу.

Никакого «призрака свободы» у Горация нет. Между тем именно это — смысловой центр строфы. «Призрак свободы», за которым водили отчаянные вожди, — это декабристские мечтания, которые не могли осуществиться.

Ода Горация полна реалиями его времени. Он точно говорит, что бежал с поля боя под Филиппами, где войско Брута было разбито армией Октавиана. У Пушкина большинство этих реалий отсутствует, что придает его стихам вполне современное тридцатым годам звучание.

Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?

Гораций ясно говорит, что он бежал вместе с Помпеем Варом, вместе со всем войском, — у Пушкина бежит только герой стихотворения. Иначе и быть не могло, ибо эта строфа — усиленный вариант «Ариона» — говорит о спасении поэта, в то время как его друзья-декабристы шли на гибель.

Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственным певец,
На берег выброшен грозою…

Те античные реалии, которые Пушкин сохраняет, были обычны для русской поэзии и не мешали актуальности стихов. Более того, он и здесь вводит свои прежние мотивы, окончательно проясняя смысл переложения.

А ты, любимец первый мой,

Ты снова в битвах очутился…
И ныне в Рим ты возвратился
В мой домик темный и простой.
Садись под сень моих пенатов…

Ни «первого любимца», ни «домика темного и простого» у Горация опять-таки нет. Но все здесь настойчиво напоминает другие стихи.

Мой первый друг, мой друг бесценный…
Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил.

О пенатах Пушкин упоминал часто, говоря о Михайловском.

Он не просто постоянно вспоминал о декабристах с нежностью и тоской. Он мечтал об их возвращении. Без них он был одинок. Только они могли стать настоящими его соратниками.

Но вскоре стало ясно, что царь не собирается возвращать бывших мятежников. Он слегка облегчил их участь. Но только в пределах Сибири.

8

С годами все чаще стал приходить вопрос — правильно ли он — Пушкин — повел себя в 1826 году после казни декабристов? Вряд ли он пришел к каким-нибудь определенным выводам на сей счет. Скорее всего, он рассматривал различные варианты.

В 1835 году он писал повесть из жизни нероновского Рима «Цезарь путешествовал…».

Он, возможно, начал повесть несколько раньше. Но в окончательном виде существующие страницы были написаны именно в 1835 году.

Сюжет он взял из любимого своего Тацита — гибель Петрония, автора знаменитого «Сатирикона». Уже сам этот выбор — писатель гибнет по вине тирана — вряд ли случаен. Но в сюжете, предложенном ему античным обличителем, Пушкин сделал изменения, полные личного смысла.

Тацит пишет о Петронии:

«Дни он отдавал сну, ночи — выполнению светских обязанностей и удовольствиям жизни. И если других

вознесло к славе усердие, то его — праздность. И все же его не считали распутником и расточителем, каковы в большинстве проживающие наследственное достояние, но видели в нем знатока роскоши. Его слова и поступки воспринимались как свидетельство присущего ему простодушия, и чем непринужденнее они были и чем явственней проступала в них какая-то особого рода небрежность, тем благосклоннее к нему относились. Впрочем, и как проконсул Вифинии, и позднее, будучи консулом, он выказал себя достаточно деятельным и способным справляться с возложенными на него поручениями».

В повести же «Цезарь путешествовал…» о Петронии сказано:

«Я уважал его (Петрония) обширный ум; я любил его прекрасную душу. В разговорах с ним почерпал я знание света и людей, известных мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту. Его суждения обыкновенно были быстры и верны. Равнодушие ко всему избавляло его от пристрастия, а искренность в отношении к самому себе делала его проницательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового; он изведал все наслаждения; чувства его дремали, притупленные привычкою. Но ум хранил удивительную свежесть. Он любил игру мыслей, как и гармонию слов. Охотно слушал философские рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла».

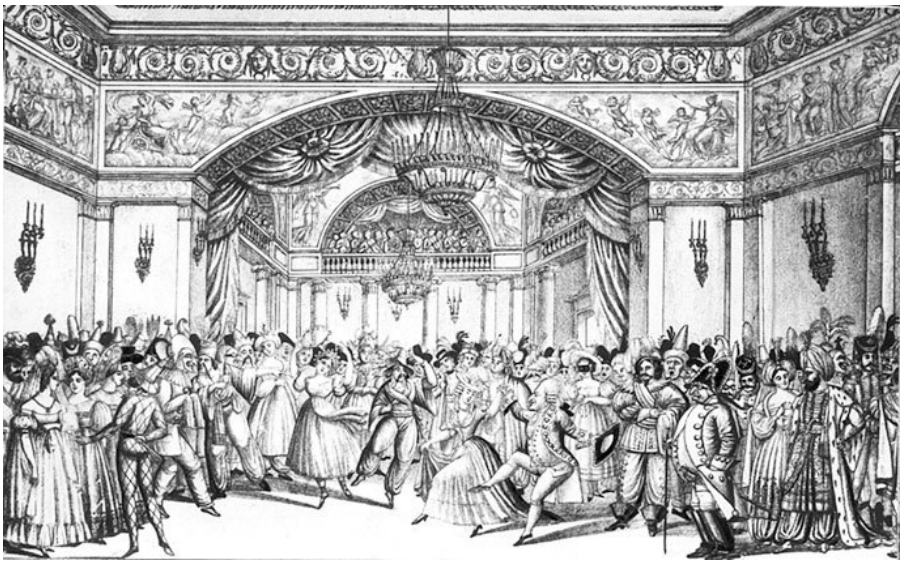
Произошел весьма существенный смысловой сдвиг — вместо светского древнеримского льва мы видим интеллектуала с «прекрасной душой», тончайшим знанием людей, утомленного своим огромным опытом, и, что самое главное, — замечательного поэта. «…Писал стихи не хуже Катулла». Пушкин конструировал личность, близкую себе. Более того, он, быть может, и ориентировался на самого себя.

Перед нами набросок повести о замечательном поэте и незаурядном мыслителе, стоявшем близко к императору и принимавшем прямое участие и управлении государством. Ведь Петроний был проконсулом Вифинии, а затем римским консулом.

Сюжет повести — история гибели этого человека.

Можно предполагать, что написанный Пушкиным отрывок — не начало повести. Во втором абзаце посланец Нерона приносит Петронию приказание «возвратиться в Рим и там ожидать решения своей участи вследствие ненавистного обвинения».

Очевидно, этому отрывку должны были предшествовать страницы, рассказывающие о возникновении «ненавистного обвинения». Или же речь о «ненавистном обвинении» должна была — ретроспективно — пойти в дальнейшем.



Костюмированный бал в Зимнем дворце. Лубочная картинка. 1830-е гг.

Как бы то ни было, именно «ненавистное обвинение» и его трагические последствия — стержень повести.

Что это было за обвинение и от кого оно исходило?

Тацит пишет:

> «И вот Тигеллин обращается к жестокости принципса, перед которою отступали все прочие его страсти, и вменяет в вину Петронию дружбу со Сцевином».

Сенатор Сцевин — казненный участник заговора против Нерона.

«Ненавистное обвинение» — обвинение в дружбе с участниками подавленного заговора. От кого оно исходило?

Тигеллин, человек темного происхождения, был префектом преторианцев и ведал личной безопасностью Нерона, без устали разоблачая реально существовавшие заговоры и придумывая несуществующие.

Ситуация римской повести — эпилог провалившегося заговора против императора и гибель поэта, связанного с заговорщиками.

В 1835 году, теряя последние надежды, Пушкин выстраивал собственную ситуацию 1826 года и развивал ее не в том направлении, в котором она реализовалась тогда. Поэт не договаривается с победившим заговор императором. Он гибнет вслед за своими друзьями.

В конспекте продолжения римской повести, оставшемся в бумагах Пушкина, Петроний перед смертью диктует «Сатирикон»:

«Рассуждения о падении человека — о падении богов — о общем безверии — о предрассудках Нерона…»

Пушкин ошибался. Предсмертное сочинение Петрония, обличавшее Нерона, не было дошедшим до нас «Сатириконом». Но введение в повесть этого эпизода — знаменательно. Вспомним, что — по некоторым сведениям — Пушкин, отправляясь в 1826 году на свидание с Николаем, взял с собой стихотворение, в котором называл императора убийцей. Если бы они не договорились — поэт вручил бы стихотворение властителю.

Вспомним, что в 1833–1835 годах Пушкин вел дневник, в который заносил все известные ему глупости и беззакония, совершенные Николаем. Это был прямой аналог предсмертному памфлету Петрония.

В римскую повесть Пушкин вмонтировал и свой перевод горациевой оды Помпею Вару.

Разумеется, заговор Сцевина не есть зашифрованное из осторожности название заговора декабристов. И Тигеллин не тождествен Бенкендорфу. И Петроний отнюдь не псевдоним Пушкина. Не детали важны. Важна сама выстроенная Пушкиным ситуация.

Не надо упрощать пушкинские замыслы. И в этом случае — как всегда — он ставил перед собой целый комплекс задач — стилистических, исторических, политических.

Но автобиографический пласт, о котором шла речь, в римской повести весьма значителен.

Пушкин был последователен. В реальных условиях 1835 года он не исключал и такого варианта своей судьбы.

И еще одно — после конспективного рассказа о последних часах Петрония, после слов о падении человека, падении богов, о всеобщем безверии в пушкинском конспекте стоит — «раб христианин». Конец конспекта.

Речь шла о качественно новой нравственности, которая явилась на смену полумертвым нравственным представлениям Римской империи.

Помимо всего прочего, римская повесть — это повесть об умирании эпохи, культуры, античной морали.

Блок сказал о Пушкине: «С ним умирала его культура».

Римская повесть, как и многие другие пушкинские замыслы последних лет, эсхатологична.

9

С середины 1834 года он снова избрал главным своим занятием исторические изыскания для «Истории Петра» и собирание новых пугачевских документов.

Неуспех издания «Пугачева» заставил его сделать ряд трезвых и мрачных выводов. Но, сделав эти выводы, он решил идти до конца. И чертеж свой окончить независимо от того, будет оказывать немедленное действие его историческая проповедь или нет.

Это было новое, далеко не такое оптимистическое осознание своей миссии, как прежде. Но долг свой он знал. И отступать от него не собирался.

Он добивался доступа к тем архивным пугачевским материалам, которые были сокрыты от него в 1833 году. И добился. Кроме того, к нему начали стекаться материалы от тех немногих читателей, которые хоть в какой-то степени оценили его «Историю». И через некоторое время он стал думать о втором издании, хотя ничего, кроме новых убытков, оно ему не сулило. Он должен был это сделать.

Работа над «Петром» продвигалась успешно. Пушкину удалось получить редчайшие документы. В частности, материалы процесса царевича Алексея. Он изучал свидетельства современников Петра — их записки, дневники. Неизданные, разумеется. Он штудировал гигантскую переписку царя. Для того чтобы освоить чудовищный почерк Петра, копировал написанные царем документы.

Приступая некогда к этой титанической работе, он ясно осознавал свою цель. Ему надо было создать историю великого царствования, которое, несмотря на трудность и жестокость, могло — по сути своей — стать образцом для дальнейшего развития России. Проанализировав историю «революции Петра», как он говорил, он надеялся с большой точностью — на конкретных примерах, что было крайне важно, — понять и объяснить наилучшие пути переустройства страны.

Ибо всему происходящему ныне — и хорошему, и дурному — он видел корень в «революции Петра». Например, гибель старого дворянства началась при Петре.

«Петр Первый укротил дворянство, опубликовав *Табель о*

рангах… Но одно дело произвести революцию, другое дело это закрепить ее результаты. До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того, чтобы ее упрочить. Екатерина II еще боялась аристократии; Александр сам был якобинцем. Вот уже 140 лет, как *Табель* о *рангах* сметает дворянство…»

Это он писал позже, в черновом письме Чаадаеву. Страна не могла, по его мнению, вечно находиться в состоянии «революции». Пора было разделить хорошее и дурное в петровских реформах. Крепостное право, которое Петр энергично упорядочил и ужесточил, пора было отменять. Бюрократизацию страны, замену родового дворянства бюрократами пора двинуть вспять. Между тем сторон положительных и разумных в царствовании Петра было вполне достаточно, и на них-то следовало строить позитивную часть программы. Если «История Пугачева» была негативной частью этой программы, поскольку в ней анализировался тот путь, идти которым не следовало, то позитивная часть программы должна была дать рекомендации, опиравшиеся на опыт петровского царствования.

Так думал Пушкин, приступая к работе. Его сведения о Петровской эпохе базировались до 1831 года, главным образом, на материалах голиковского свода, который он читал еще в Михайловской ссылке. Сведения, которые сообщал Голиков, вполне давали право на такие выводы.

Но он был честным историком и настоящим исследователем. Окончательные выводы, стройная концепция должны были вырастать из материала.

Шло время. И тот колоссальный материал, который он осваивал, материал, не включенный в голиковский свод или включенный в него, но потерявшийся ранее среди обилия второстепенных сведений, — этот исследованный и продуманный им теперь материал стал противоречить первоначальным наметкам.

Пушкин начал понимать, что позитивной концепции не получается. Получалась концепция крайне сложная. И совсем не та, которую можно было предложить правительству и обществу, оставаясь лояльным в его глазах.

Он начал понимать это уже с середины 1835 года.

В плане предисловия он записал свою любимую мысль:

«Просвещение развивается со времен Бориса; нравы дикие, свирепые etc.; правительство впереди народа; любит иноземцев и печется о народе».

Но постепенно методы, которыми действовало правительство Петра, то есть сам Петр, стали в глазах Пушкина настолько выходить из нравственных рамок, что исчезала возможность

представить их читателю без интонации ясного осуждения.

Количество отрицательных оценок стало стремительно нарастать в рукописи.

> «За корчемную продажу табаку описывать имение и ссылать с женами и детьми; доносителю — четвертую часть имения».

Это напоминало методы испанской инквизиции в самые страшные ее времена. Петр вообще, как замечает Пушкин, поощрял доносительство.

> «О недерзании бить челом никому на находящихся в армии, а дерзающих (хотя бы и в правых делах) отсылать в армию под военный суд… Варварский указ о *недерзании бить челом* etc. отменен и объяснен в том же году».

> «Он запретил *под жестоким наказанием* самим помещикам на их земле рубить дубовый лес…»

> «В сие время издан тиранский же указ о запрещении во всем государстве каменного строения под страхом конфискации и ссылки».

> «О непродаже *русского* платья и сапогов; ослушников лишать имения и ссылать на каторгу».

> «При сем послано королю прусскому в *подарок* 100 человек рослых солдат».

> «Велено всем жителям выезжать на Неву на *экзерсицию* по воскресениям и праздникам… Смотри тиранский о том закон».

Описание «тиранских» методов обращения с подданными подготовляет страшные страницы гибели царевича Алексея.

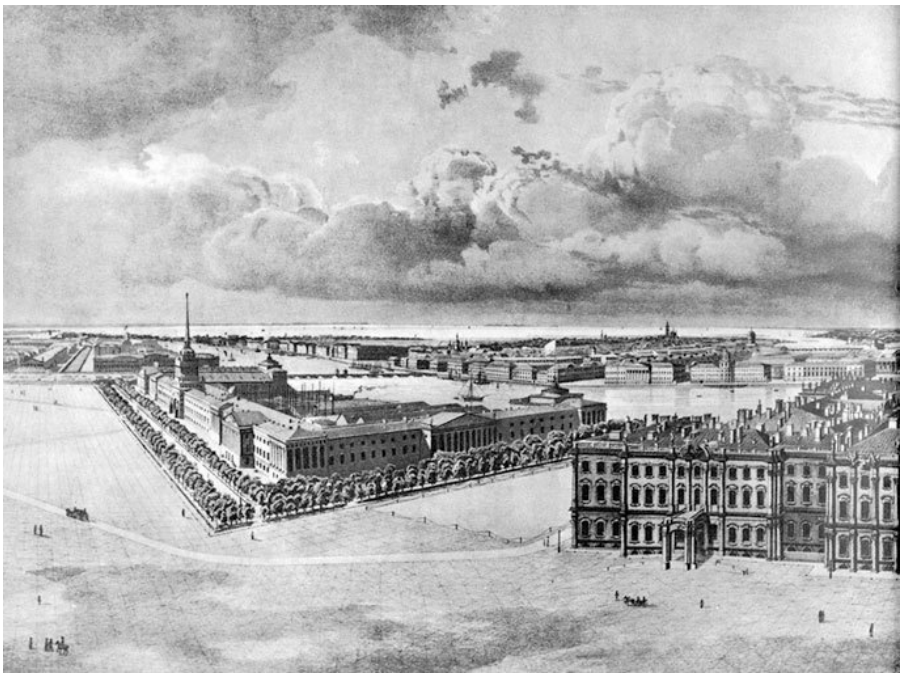
> «Изветы се (Афросиньи) были тяжки, царевич отпирался. Пытка развязала ему язык; он показал на себя новые вины… Царевич более и более на себя наговаривал, устрашенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями… 14 июня Петр прибыл в Сенат и, представя на суд несчастного сына, повелел читать выписку из страшного дела… 26-го царевич умер отравленный… Есть предание: в день смерти царевича торжествующий Меншиков увез Петра в Ораниенбаум и

там возобновил оргии страшного 1698 года».

Следом за этим такая запись:

> «20-го запрещает бедным просить милостыню (см. о том указ, жестокий, как обыкновенно)».

Рассказывая об участи первой жены Петра, Пушкин пишет:



Петербург. Панорама Дворцовой площади. Литография Г. Г. Чернецова. 1830-е гг. Фрагмент

> «Царица высечена и заключена в Новую Ладогу. Петр хвастал своей жестокостию: „Когда огонь найдет солому, — говорил он поздравлявшим его, — то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает“».

Те отрывки, которые дошли до нас от последних, пропавших, тетрадей «Истории Петра», говорят, что осуждающий тон все усиливался.

> «Он 11 января издал указ, превосходящий варварством все прежние…»

Речь идет о 1722 годе, конце петровского царствования.

> «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые *нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом».*

Но не следует целиком полагаться на эту формулу. Ибо далее Пушкин пишет:

> «5 февраля Петр издал манифест и указ о праве наследства, т. е. уничтожил всякую законность в порядке наследства и отдал престол на произволение самодержца».

Одно из основных мероприятий Петра — Табель о рангах — Пушкин, как мы знаем, резко осуждал. Так что не только временных указов касались слова: «кажется, писаны кнутом». Укрепление и усовершенствование системы рабства тоже не украшало эпоху.

Слишком много претензий накопилось у Пушкина к Петру в 1835 году, чтобы можно было надеяться выстроить на его примере позитивную часть программы.

Отношение к великому реформатору все усложнялось. Особенно в плане нравственном.

Вспомним «Медного всадника» и «Анджело».

И стихи 1830 года:

> Оставь герою сердце! Что же,
> Он будет без него! Тиран…

По мере изучения материала сомнения в благородстве сердца героя все усиливались, а черты тиранства выступали все яснее.

Пушкин, по свидетельству Никитенко, говорил позже, что «историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят напечатать».

Еще одна надежда обманула его. И это был один из самых страшных ударов. Но он не собирался бросать свой труд. Менялась задача. Он должен был разобраться в том историческом механизме, который даже таких гигантов, как Петр, превращал в деспотов.

Мысль его работала настойчиво и мощно, отыскивая нужное направление. Во второй половине 1835 года, когда уже произошел перелом в его отношении к Петру, когда стали

изменяться прежние концепции, он записал, читая книгу Гейне:

«Освобождение Европы придет из России, потому что только там совершенно не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию одни презирая ее, другие ненавидя, третьи из выгоды, тщеславия и т. д. В России ничего подобного. В нее не верят».

Любопытная это запись. Во-первых, есть в ней горькое сознание своего бессилия. Не он ли считал родовую аристократию, истинное дворянство общественной надеждой России. И вот признание — «в нее не верят». Во-вторых, этот странный демократический поворот — «освобождение Европы придет» из страны, в которой не верят в аристократию.

Мысль Пушкина не пошла по этому пути дальше. Но он думал об этом. И это — важно. Мысль его искала новых путей. Проверяла старые, отринутые уже.

10

Все эти годы его занимала проблема действия. Иногда больше, иногда меньше. Иногда проблема эта отступала на один из второстепенных планов. Но была она — постоянно.

Тут имеется в виду не действие вообще — писание литературных произведений, политических статей, обращения к правительству с различными предложениями. Имеется в виду действие физическое. Борьба не посредством слова, но с оружием в руках.

Проблема эта разрабатывалась Пушкиным по двум линиям. Первая — восстание, мятеж, массовое народное движение. Об этом речь уже шла. Второе — борьба индивидуальная — разбой. Личное действие.

1831 год — план «Романа на Кавказских водах».

1832–1833 годы — «Дубровский».

1834 год — «Кирджали».

1831–1835 годы — план романа «Русский Пелам».

Из года в год принимался он писать о разбойниках.

Из четырех замыслов до конца он довел только один — «Кирджали». «Роман на Кавказских водах» и «Русский Пелам» не пошли дальше планов. «Дубровский» остался в черновом виде.

«Кирджали» — повесть о разбойнике из простонародья. Тут все ясно.

Три остальных замысла — о разбойниках из дворян, о дворянах, решившихся действовать. Тут все было так двойственно, что довести романы до ясности, до выводов, до

принципиального завершения — он не мог.

Два замысла были связаны с революциями. «Кирджали» — с греческой революцией, восстанием 1821 года. Это не помешало завершению повести. «Роман на Кавказских водах» был связан с революцией декабристской. Прототипом одного из главных героев был Якубович. Легендарный храбрец Якубович, избранный заговорщиками в помощники диктатору Трубецкому. Роман не был написан.

Планы романа разрабатывались Пушкиным летом — осенью 1831 года. Якубович (или в другом варианте — Кубович) — русский офицер, ведущий двойную жизнь. Он явно сражается против черкесов, а тайно — разбойничает вместе с ними.

Это не просто романтический вымысел. Отчаянность и озлобленность Якубовича, которые могли стать причиной подобных слухов, имели вполне определенную подоплеку. В 1817 году он был исключен императором Александром из гвардии и выслан на Кавказ за участие в знаменитой дуэли Шереметева с Завадовским. Якубович поклялся отомстить Александру. Он обдумывал планы цареубийства. Ненависть к императорской фамилии привела его к декабристам.

Речь шла о русском дворянине, которого конкретные обстоятельства довели до бесчестья — измены, разбоя, страшной двойной жизни.

Пушкин не сочувствовал этому пути. Якубович в романе наказан — его убивают на дуэли.

Но Пушкин хотел показать, как и почему русский дворянин становится разбойником.

Через год он начал «Дубровского». Историю другого русского дворянина, которому обстоятельства не оставили иного пути, кроме разбоя на большой дороге.

В эти годы Пушкин еще колебался в окончательной оценке романтического дворянского бунта.

К 1831–1835 годам, когда он составлял план «Русского Пелама», позиция его была ясна.

Якубович и Дубровский — фигуры героические. На имени Якубовича лежал отсвет декабрьской трагедии, разрушенной судьбы, несостоявшегося цареубийства. Дубровский — потомок старинного рода — мстил за поругание родовой чести. Его бунт был связан к тому же с бунтом народным. Это было неприемлемо, но серьезно. Это была трагедия благородного человека.

В «Русском Пеламе» два резко отрицательных персонажа. Первый, Завадовский, прожигатель жизни, мот, нечистый человек. Фамилия Завадовского знаменательна в нескольких отношениях.

Из набросков плана ясно, что материал для романа Пушкин

намечал вполне реальный. Это конкретные люди декабристской эпохи. Завадовский (работая над романом, Пушкин, конечно, изменил бы фамилию) был одним из участников дуэли, за секундантство в которой был выслан Якубович, герой «Романа на Кавказских водах».

Завадовский был сыном Петра Завадовского, вышедшего в вельможи из постели императрицы Екатерины, безродного карьериста, пополнившего «новую знать».

Второй персонаж романа — особенно нам важный — Федор Орлов. Тоже лицо конкретное — младший брат Алексея и Михайлы Орловых, один из которых вывел на мятежников 14 декабря Конную гвардию, а второй был одним из зачинателей декабризма.

Именно Федор Орлов (тоже, разумеется, прототип, фамилия которого потом была бы заменена), потомок екатерининских Орловых, выскочек, кондотьеров, и становится в «Пеламе» разбойником.

Дубровский, наследник традиций, выходит на большую дорогу, мстя за обиду, нанесенную негодяем, выдвинутым екатерининским переворотом. Орлов идет на разбой, чтобы добыть денег для кутежей и разврата. Он лишен нравственного стержня — за ним нет традиции.

Очевидно, Михайлу Орлова Пушкин считал исключением.

Таким образом, *личное действие,* связанное с попранием нравственных законов и законов вообще, к 1836 году было Пушкиным осуждено окончательно. Он ясно декларировал это.

11

При этом он разрабатывал философию игры ва-банк — одного героического по резкости поступка, ломающего каноны бытовой логики и движение жизни, этими канонами детерминированное. Этот поступок — этот слом, это взрывание жизни — и должен был сконцентрировать в себе смысл судьбы, увенчать существование.

Это была философия подвига.

Осенью 1835 года, в Михайловском, Пушкин писал «Сцены из рыцарских времен». Драму о крестьянском мятеже. Действие происходило в средневековой Европе.

Но это был не просто крестьянский бунт. Во главе его стоял поэт. Успех его обеспечивал ученый-изобретатель.

В наброске плана говорилось так:

«Бертольд в тюрьме занимается алхимией — он изобретает

порох. — Бунт крестьян, возбужденный молодым поэтом. — Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь — воплощенная посредственность — убит пулей. Пьеса кончается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)».

Таким образом, для победы восстания объединились все силы просвещения: поэзия, наука, книгопечатание.

Это был не бунт «бессмысленный и беспощадный». Это было вооруженное восстание, возглавленное носителями просвещения. То есть событие в России, по его мнению, невозможное. Потому проблема и решалась на средневековом материале — сугубо теоретически.

Но то, что осенью 1835 года он думал об этом, — само по себе чрезвычайно симптоматично. И не менее симптоматично, что во главе мятежников поставил он поэта. В 1834 году он писал:

> «Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияния обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу разрушительного действия типографского снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно».

Весной 1834 года мысль о благотворности мятежа была для него совершенно запретной. Этим и объясняется последняя фраза. Осенью 1835 года он, быть может, и не написал бы ее.

Поэт во главе мятежа…

Однако не это было главным в его внутреннем, духовном движении 1835 года.

9 ноября он начал перекладывать стихами библейскую «Книгу Юдифи».

Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным;
Стеной, как поясом узорным,
Препоясалась высота.

И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.
Сатрап смутился изумленный —
И гнев в нем душу помрачил…

И свой совет разноплеменный
Он — любопытный — вопросил:

«Кто сей народ? и что их сила,
И кто им вождь, и отчего
Сердца их дерзость воспалила,
И их надежда на кого?..»

И встал тогда сынов Аммона
Военачальник Ахиор
И рек — и Олоферн со трона
Склонил к нему и слух и взор.

В предпоследней строке этого отрывка есть одна деталь, которой нет в библейском тексте, — трон. Царский атрибут. Спор идет между тем, кто «высок смиреньем терпеливым», и человеком на троне — деспотом. И сила, которая дает возможность противостоять деспоту, — высокое смиренье, чистота, высота.

Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

Пушкин пытался выстроить для себя новую защиту, которая была сродни его прежним декларациям, но без их гордыни — «Ты царь: живи один». Теперь это было уже не для него. Теперь он обращал к себе то увещание, которое когда-то послал декабристам в острог, — «храните гордое терпенье». Гордость — не гордыня. «В молчании добро должно твориться», — писал он в 1835 году. «…Муж на страже, в тишине…»

В неоконченной поэме «На Испанию родную…» (по Соути) готский король Родрик, разбитый в бою маврами, достигает победы духовной. Его оружие — высокое смирение. «Тихий свете» из «Странника».

Теперь Пушкин разрабатывал идеологию отшельничества, отказа от деятельности внешней.

> «О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть».

Но смирения его хватило не надолго.

31 декабря 1835 года. Пушкин — Бенкендорфу:

«Имею честь повергнуть на рассмотрение его величества записки Бригадира Моро де Бразе о походе 1711 года, с моими примечаниями и предисловием. Эти записки любопытны и дельны. Они важный исторический документ, и едва ли не единственный (опричь Журнала самого Петра Великого).

Осмеливаюсь беспокоить Ваше сиятельство покорнейшею просьбою. Я желал бы в следующем 1836 году издать 4 тома статей чисто литературных (как то: повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; наподобие английских трехмесячных Reviews. Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание такой Review доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды, мною начатые».

Итак, кроме «Истории Петра», он занимался и другими трудами, думал о журнальных делах.

Денежный смысл издания был важным, но отнюдь не единственным. Через несколько дней он сообщал Нащокину, что Смирдин предлагает ему 15 000 в год, чтобы он не издавал собственный журнал, а сотрудничал в «Библиотеке для чтения». Это были спокойные, верные деньги. Он отказался. Он хотел иметь свое издание.

1835 год, год тяжких трудов и не менее тяжкого отчаяния, заканчивался новой попыткой прорваться. Переломить судьбу.

1836

Меня гнетет, уничтожает мысль, что я при жизни не увижу Россию свободную на правилах мудрой конституции. При всяком добром намерении, так сказать, падают руки, когда вспомню, что я осужден прожить вторую половину своего века в том порядке вещей, который существовал доселе. Это печально, грустно, ужасно, унизительно.

Н. Тургенев

1

14 января 1836 года граф Бенкендорф известил министра народного просвещения Уварова, что государь разрешил Пушкину издавать трехмесячный журнал.

Началась эпопея «Современника».

Издание журнала стало поводом для нового периода травли. Теперь это была уже не грубая полемика, не доносительная критика, не пасквили. Теперь это было просто глумление.

В конце 1835 года Пушкин, чтобы помочь бедствующему литератору Люценко, устроил издание его вполне бездарного перевода Виландовой поэмы «Вастола». И соответственно, на обложке было указано: «Издал А. Пушкин». Этим немедленно воспользовался Сенковский. Для талантливого, умного, злобного Сенковского все средства в борьбе с конкурентами были хороши. Он сделал вид, что принял вирши Люценко за стихи Пушкина. Последовали издевательские похвалы. В январе 1835 года «Библиотека для чтения» сообщала:

> «Важное событие! А. С. Пушкин издал новую поэму под названием „Вастола, или желания сердца“ Виланда. Мы ее еще не читали и не могли достать, но говорят, что стих ее удивителен. Кто не порадуется новой поэме Пушкина? Истекший год заключился общим

восклицанием: „Пушкин воскрес!“»

Через некоторое время гаерство Сенковского по этому поводу возобновилось:

> «…Я читал „Вастолу“. Читал и вовсе не сомневаюсь, что это стихи Пушкина… Это его стихи. Удивительные стихи!»

В этой ситуации оживилась и булгаринская группа. Один из сотрудников «Северной пчелы» сетовал, что «поэт переменил золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста; он отдал даром свою свободу…»

Причем повод для этого был якобы самый неблаговидный — Пушкин, оказывается, желал «иметь удовольствие высказать несколько горьких упреков своим врагам, т. е. людям, которые были не согласны с ним в литературных мнениях, которые требовали от дремлющего его таланта новых совершеннейших созданий, угрожая в противном случае свести с престола ‹…› его значительность… Может быть, поэт опочил на лаврах слишком рано, и, вместо того чтобы отвечать нам новым поэтическим произведением, он выдаст толстые тяжелые книжки сухого и скучного журнала, наполненного чужими статьями. Вместо звонких, сильных, прекрасных стихов его лучшего времени читаем его вялую, ленивую прозу, его горькие и печальные жалобы. Пожалейте поэта!»

Но хоронили Пушкина не только враги-конкуренты. Литературная смерть его была несомненным фактом для многих современников. Белинский писал чуть ранее:

> «„Борис Годунов“ был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время… По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме „Анджело“ и по другим произведениям, обретающимся в „Новоселье“ и „Библиотеке для чтения“, мы должны оплакивать горькую, невозвратимую потерю».

Нет, совсем не только враги хоронили Пушкина. В 1836 году дочь Карамзина Софья писала своему брату Андрею о Пушкине, «которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как светило, в полдень угасшее. Тяжело сознавать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем

более уязвить его, как говоря правду!»

Атмосфера вокруг него была такова, что ни один журнал не считал возможным за него вступиться. Возмущенный статьей в «Северной пчеле» князь Одоевский решил ответить и написал резкую статью «О нападениях петербургских журналов на Пушкина». Опубликована она была… в 1864 году. Одоевский сам написал на полях одного экземпляра рукописи:

> «Писано незадолго до кончины Пушкина — ни один из журналистов не решился напечатать, боясь Булгарина и Сенковского».

Литератор Дружинин вспоминал потом:

> «Переносясь мыслью в отдаленные годы нашего детства, совпадавшие с годами лучшей деятельности Пушкина, мы находим себя в необходимости сказать, что великая часть читателей делила заблуждения критиков — врагов Пушкина. Мы помним дилетантов старого времени, входивших в гостиную с книжкой „Современника“ или „Библиотеки для чтения“ и говоривших: „исписывается бедный Александр Сергеевич: не даются больше стихи Пушкину!“»

Ужас положения был в том, что публика не желала видеть Пушкина-мыслителя. Она требовала звучных стихов. На него смотрели *только как на поэта.* Причем поэта романтического.

Пути Пушкина и русского читателя разошлись.

Уже с начала тридцатых годов публика и многие литераторы удивительно быстро теряли представление о том, кто есть Пушкин.

В апреле 1834 года Пушкин писал Погодину:

> «Общество Любителей поступило со мною так, что никаким образом я не могу быть с ним в сношении. Оно выбрало меня в свои члены вместе с Булгариным, в то самое время, как он единогласно был забаллотирован в Английском клубе (NB в Петербурге) как шпион, переметчик и клеветник, в то самое время, как я в ответ на его ругательства принужден был напечатать статью о Видоке… И что же? В то самое время читаю в газете Шаликова: *Александр Сергеевич и Фаддей Венедиктович, сии два корифея нашей словесности,* удостоены etc., etc. Воля Ваша: это пощечина».

Ни Шаликов, относившийся к Пушкину вполне лояльно, ни «Московское общество любителей российской словесности» не хотели оскорбить поэта. Но они искренне считали, что Пушкин и Булгарин едва ли не в равной степени делают честь отечественной культуре.

Ну а ближайшие друзья? Люди, которые в какой-то мере были осведомлены о его планах и занятиях?

После смерти Пушкина Баратынский писал жене:

> «Провел у него (Жуковского. — *Я. Г.*) три часа, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиною. Он только что созревал…»

Глубина последних стихов Пушкина поразила Баратынского. Она была для него неожиданной. При жизни друга он искрение не считал его поэтом глубоко думающим.

Читающая публика самых разных уровней противопоставляла Пушкину Бенедиктова. Противопоставление это отличалось масштабом широчайшим. Приказчик в книжной лавке, продавая молодому Фету книжку Бенедиктова, уверял, что «этот почище Пушкина-то будет».

Николай Бестужев, один из тех, о ком Пушкин постоянно думал и чьему возвращению из Сибири как мог старался способствовать, писал в 1836 году:

> «Каков Бенедиктов? Откуда он взялся со своим зрелым талантом? У него, к счастью нашей настоящей литературы, мыслей побольше, нежели у Пушкина, а стихи звучат так же».

Никогда, даже в тяжелом 1830 году, во времена самых наглых нападок критики, до такого дело не доходило. Тогда была надежда, тогда зарождался его план, тогда верилось в скорое возвращение декабристов, тогда царь казался благородным и поддающимся убеждениям, тогда Пушкин верил в своих друзей. Теперь ничего этого не было.

Он остался один на один с враждебной наглой стихией. А сил уже было мало. Он устал.

В 1830 году, в ответ на очередную выходку Булгарина, оповестившего свет о том, что знаменитый Ганнибал был куплен каким-то шкипером за бутылку рома и, стало быть, родство с ним составляет малую честь, — в ответ на эту выходку Пушкин написал стихотворение «Моя родословная».

Дело было не в Булгарине, которого он высмеял в постскриптуме. Дело было куда серьезнее. В стихах этих он ясно и точно объяснил, как он относится к романовским кондотьерам, новой знати. Реалии, содержавшиеся в «Моей родословной», давали возможность назвать фамилии вельмож, предков которых имел в виду поэт. Здесь он впервые выступил защитником «старых родов», того дворянства, которое строило Россию. Он оскорбил не отдельных царедворцев. Он оскорбил касту. И касту могущественную.

Пушкин знал, что делал. Одним из непременных условий осуществления его государственного плана было отстранение от власти этой «бюрократической аристократии» и замена ее истинной просвещенной аристократией, связанной кровно с русской историей и народом.

С. С. Уваров. Портрет работы С.-Ф. Дица. 1840 г.

В 1835 году он написал «Выздоровление Лукулла». Это было уже не столько выступление во имя принципа, сколько вызов конкретному лицу. Одному из этой романовской знати — Уварову. Одному из столпов деспотии. Министру народного просвещения. Главе русской цензуры.

Уваровская цензура все время преследовала его, и сатира была в значительной степени ответом на эти преследования. Но не только. Это было предупреждение. Пушкин показал, что он готов к борьбе, и борьбе жестокой.

Остроту его пера знали. Его эпиграмм боялись.

Однако, напечатав «Выздоровление Лукулла», Пушкин больше проиграл, чем выиграл.

Если он хотел заниматься политической деятельностью, ему следовало быть готовым к некоторому компромиссу с окружением Николая. Его программа с самого начала предполагала такой компромисс. Но оказалось, что он не может так действовать. Вместо соглашения с тем же Уваровым он смертельно его оскорбил. Сатира завершила изоляцию Пушкина в том кругу, от которого зависела его судьба как политического деятеля.

Он дал формулу бескомпромиссности литератора-политика в одной из статей 1836 года:

> «Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властию, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты пэров, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной[3] рукописью, но с неподкупной совестью».

Сатира на Уварова была шагом отчаянным. Судьба загоняла Пушкина в угол. Но он был готов защищаться до последнего. Самыми сильными средствами. Средствами, перед которыми сатиры казались игрушкой.

В начале 1836 года он послал — один за другим — три вызова. Каждый из них мог вполне кончиться дуэлью. Это была защита нападением. Он понял, что защитить себя может только сам. Больше рассчитывать было не на кого.

В январе до него дошли слухи, что молодой граф Соллогуб не совсем вежливо разговаривал на балу с Натальей Николаевной. Результатом был вызов.

На робкую попытку Соллогуба объясниться Пушкин ответил так:

«Вы взяли на себя напрасный труд, давая мне объяснение, которого я у Вас не требовал. Вы позволили себе обратиться к моей жене с неприличными замечаниями и хвалились, что *наговорили ей дерзостей.*

Обстоятельства не позволяют мне отправиться в Тверь раньше конца марта месяца. Прошу меня извинить».

Дуэль не состоялась случайно. Соллогуб был по службе командирован в Тверь. Встретиться они долгое время не могли. Страсти остыли. Противники помирились после того, как Соллогуб написал Наталье Николаевне письмо с объяснением.

В начале февраля светский знакомый Пушкина Хлюстин в разговоре с ним повторил издевательский пассаж Сенковского по поводу «Вастолы» и посоветовал Пушкину не принимать это близко к сердцу. Результатом был вызов. Потом они объяснились и помирились.

Обмен письмами с Хлюстиным произошел 4 февраля.

5 февраля Пушкин написал письмо князю Репнину.

В черновом виде оно выглядело так:

«Говорят, что князь Репнин позволил себе оскорбительные отзывы. Оскорбленное лицо просит князя Репнина соблаговолить не вмешиваться в дело, которое его не касается. Это обращение продиктовано не чувством страха, или даже осторожности, но единственно чувством расположения и преданности, которое оскорбленное лицо питает к князю Репнину по известным ему причинам».

Подоплекой этого эпизода была все та же сатира на Уварова. Ведь там речь шла о болезни богача Шереметева, во время которой Уваров, его наследник, не дожидаясь смерти больного, повел себя так, как будто тот уже в могиле. А больной взял и выздоровел. Репнин тоже был родственником Шереметева и его должником, так что сатира — против воли автора — задевала и его.

Помимо личных достоинств, Репнин, не любимый Николаем, был родным братом декабриста Волконского. И, переписывая письмо набело, Пушкин значительно смягчил его, оставляя Репнину возможность объяснения:

«С сожалением вижу себя вынужденным беспокоить Ваше сиятельство; но, как дворянин и отец семейства, я

должен блюсти мою честь и то имя, которое оставлю детям.

Я не имею чести быть лично известен Вашему сиятельству. Я не только никогда не оскорблял Вас, но по причинам мне известным, до сих пор питал к Вам искреннее чувство уважения и признательности.

Однако некий г-н Боголюбов повторял оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от Вас. Прошу Ваше сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить.

Лучше нежели кто-либо я знаю расстояние, отделяющее меня от Вас; Вы не только знатный вельможа, но и представитель нашего древнего и подлинного дворянства, к которому и я принадлежу; Вы поймете, надеюсь, без труда настоятельную необходимость, заставившую меня поступить таким образом».

При всей вежливости письмо оставляло князю только два выхода — дезавуировать Боголюбова или воспринять письмо как вызов. Он предпочел первое и написал Пушкину, что никакого Боголюбова не знает и ничего оскорбительного про Пушкина не говорил.

Неверно думать, что, ведя себя как бретёр, Пушкин искал смерти. Нет. Он защищался. И сатирой на Уварова, и тремя вызовами, посланными один за другим, он старался показать, что может быть опасен.

Выбрав дуэль как радикальное средство защиты, он, конечно, пошел по самому простому для себя пути. Для него, человека абсолютной личной храбрости, прекрасного стрелка и фехтовальщика, не раз дравшегося на поединках, дуэль была не страшна.

Над проблемой дуэли в России вообще стоит задуматься. Ибо в разные времена этот способ разрешения конфликтов выполнял разные функции. Так, в первой половине двадцатых годов существовала декабристская концепция дуэли. Среди будущих мятежников были откровенные бретёры, как Лунин, Якубович. Судя по некоторым данным, и Александр Бестужев. Легко выходил на поединок Рылеев.

Идеологом дуэли как политической акции был именно Рылеев. Он был организатором и секундантом классической в этом смысле дуэли декабриста поручика Чернова и отпрыска знатной фамилии Новосильцевых. Условия были жестокими. Оба участника погибли. На похоронах Чернова тайное общество

устроило первую в России политическую демонстрацию. За гробом тянулись десятки нанятых обществом карет. Шли единомышленники Чернова. Над его могилой Кюхельбекер пытался читать стихи:

Автопортрет и денежные расчеты на черновике письма В. А. Соллогубу с вызовом на дуэль. Февраль 1836 г.

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым…

Временщики, трепещущие рабы царей — это были те самые «служилые аристократы», которых Пушкин считал главным злом. К ним принадлежал Уваров.

В молодости Пушкин выходил к барьеру, как только ему казалось, что хоть в малейшей степени затронуто его достоинство. Кроме того, дуэль была развлечением. Острым ощущением. Как карты, как любовь. «Есть упоение в бою…» Теперь дуэль стала для него делом высочайшей серьезности. Едва ли не единственным средством защиты против наступающего на него враждебного мира.

Для декабристов дуэль была средством нападения. А для него — защиты. «Дьявольская разница».

3

Он потерял популярность.

Он потерял надежду на реализацию своего историко-государственного плана. Он потерял веру в друзей.

Он потерял веру в возможность создания прочного дома.

Ему оставалось — понимание и признание в будущем, а в настоящем — самоуважение, т. е. незапятнанная честь. Честь, понимаемая широко. Его честь как подлинного русского дворянина. Его честь как подлинного русского литератора. Его честь как человека долга.

Он много думал об этом в тридцатые годы — о чести и долге. «Береги честь смолоду». Он писал в одной из статей 1836 года:

> «Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и бурями судьбы».

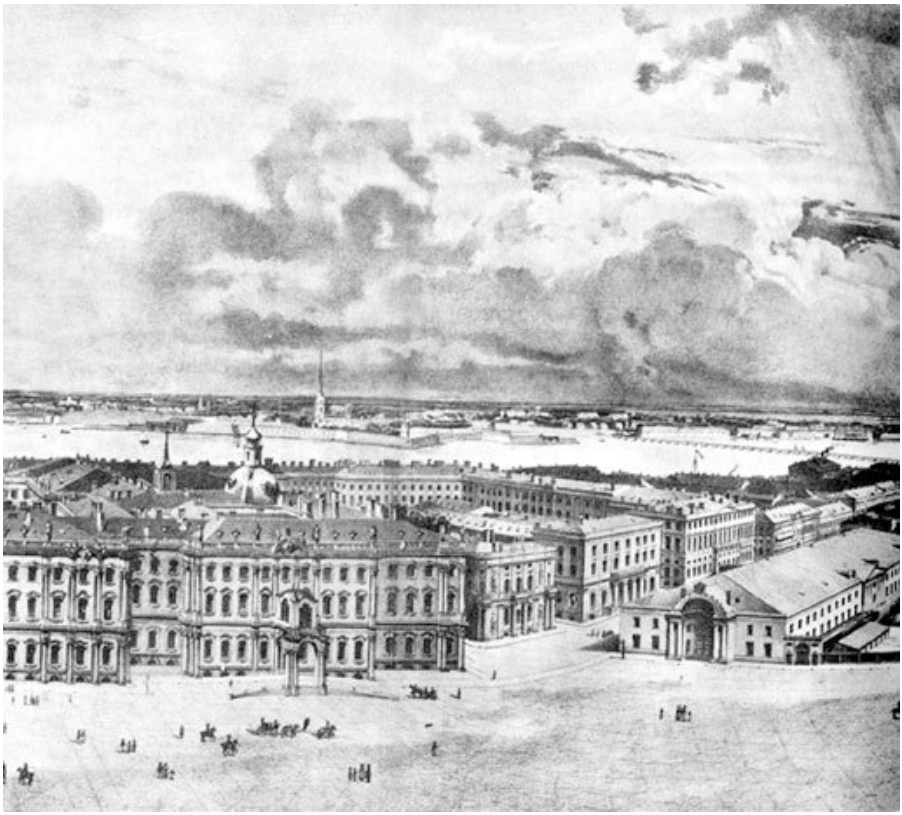
В том же году он начал перекладывать в стихи эпизод из книги Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе».

Альфонс садится на коня;
Ему хозяин держит стремя.
«Сеньор, послушайте меня:
Пускаться в путь теперь не время,
В горах опасно, ночь близка,
Другая вента далека…»
— «Мне путешествие привычно
И днем и ночью — был бы путь, —
Тот отвечает, — неприлично

Бояться мне чего-нибудь.
Я дворянин, — ни чорт, ни воры
Не могут удержать меня,
Когда спешу на службу я».
И дон Альфонс коню дал шпоры,
И едет рысью. Перед ним
Одна идет дорога в горы
Ущельем тесным и глухим.
Вот выезжает он в долину;
Какую ж видит он картину?
Кругом пустыня, дичь и голь,
А в стороне торчит глаголь,
И на глаголе том два тела
Висят. Закаркав, отлетела
Ватага черная ворон,
Лишь только к ним подъехал он.
То были трупы двух гитанов,
Двух славных братьев-атаманов,
Давно повешенных и там
Оставленных в пример ворам.
Дождями небо их мочило,
А солнце знойное сушило,
Пустынный ветер их качал,
Клевать их ворон прилетал.
И шла молва в простом народе,
Что, обрываясь по ночам,
Они до утра на свободе
Гуляли, мстя своим врагам.
Альфонсов конь всхрапел и боком
Прошел их мимо, и потом
Понесся резво, легким скоком,
С своим бесстрашным седоком.

Это отрывок. Вообще многие пушкинские шедевры последних двух лет — отрывки. Факт этот имеет свое объяснение.

В последние годы совершенство пушкинского мышления, гениальный лаконизм и насыщенность его мысли стали таковы, что появился разрыв между этим лаконизмом совершенства и даже теми блестящими средствами выражения, которыми владел Пушкин.



Панорама Дворцовой площади. Литография Г. Г. Чернецова. 1830-е гг. Фрагмент

Внутренний сюжет его стихов — мысль — часто выстраивался прежде, чем сюжет внешний. Сюжет внутренний обгонял сюжет внешний. И стихотворение, по видимости оставаясь отрывком, было тем не менее внутренне закончено. Поэтому Пушкин и не дописывал его. Так было с поэмой «На Испанию родную…», так было с переложением из Библии «Когда владыка ассирийский…», так было и со стихами об Альфонсе. Все было сказано. Было создано стихотворение о человеке чести. Дворянине в высшем — внесоциальном — смысле слова. О человеке, для которого понятия чести и долга сливаются. Для которого не убедительны резоны бытового здравомыслия. Никакие силы земные или подземные не могут заставить его поступиться честью. Не выполнить долг. Он — бесстрашен.

Это и был внутренний сюжет. Внешняя законченность уже роли не играла.

Речь шла о том, что в любых условиях надо выполнять свой долг до конца.

В дни своей молодости он с надеждой смотрел на Европу. Там рождались идеи и движения, которые, казалось, должны были вот-вот обновить мир. Там была древняя культура.

В дни его молодости Европа была для него надеждой.

В 1830 году он перечеркнул для себя результаты французской революции. «Их король с зонтиком под мышкой слишком буржуазен». За этой иронической фразой скрывались претензии куда более глубокие. Новая французская литература была чужда ему. На Францию надежд больше не было.

Некогда он с интересом и надеждой смотрел на Англию.

В 1834 году в черновом варианте «Путешествия из Москвы в Петербург» он вложил в уста одного из персонажей — англичанина — такую тираду:

> «Вы не видали оттенков подлости, отличающих у нас один класс от другого. Вы не видали раболепного maintien Нижней каморы перед Верхней; джентльменства перед аристократией; купечества перед джентльменством; бедности перед богатством; повиновения перед властию… А нравы наши, conversation criminal, а продажные голоса, а уловки министерства, а тиранство наше с Индиею, а отношения наши со всеми другими народами?..»

В окончательном тексте статьи путешественник говорит:

> «Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы станут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишающей их последнего средства к пропитанию…»

Он отвернулся от Англии политической.

Летом 1836 года Пушкин писал в статье «Джон Теннер»: «С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству ‹…›; большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами.

Автопортрет и профиль Вольтера. Рисунок 1825 г.

Отношения Штатов к индейским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие Американского Конгресса осуждены с негодованием…»

Однако руссоистской идеализации индейцев у Пушкина тоже нет.

> «Легкомысленность, невоздержанность, лукавство и жестокость — главные пороки диких американцев».

Он строго рассмотрел и взвесил то, что могло прийти в Россию с Запада, и вывел заключение, что для России это не годится. И не только потому, что Россия не была еще готова к восприятию европейского примера, а потому, что Европа и

Америка сами обладали пороками, не уступающими, по его мнению, порокам российским.

В годы молодости Пушкина Вольтер, кумир Европы, был и его кумиром. Он питал к нему уважение и далее.

Но в 1836 году он писал о Вольтере:

> «Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо была всегда правдоподобна. Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей».

Речь шла о репутации писателя-политика. Речь шла о чести.

В этом последнем году он снова следил взглядом свое движение — от первой молодости. Он взвешивал свои мнения и поступки. Он отдавал должное талантам и уму Вольтера и осуждал его как человека безнравственного.

Мера нравственности была для него теперь едва ли не главным в оценках.

Он смотрел на Вольтера не издалека. Он смотрел на него, как на недавнего учителя, примером своим толкнувшего многих па ложный путь.

> «Что влекло его в Берлин? Зачем ему было променивать свою независимость на своенравные милости государя, ему чуждого, не имеющего никакого права его к тому принудить?..
>
> К чести Фридерика II, скажем, что сам от себя король, вопреки природной своей насмешливости, не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление».

Трудно понять, сколько в этих горчайших строках, продиктованных бессильным негодованием, о Вольтере, а сколько — о себе. Трудно понять, где осуждает он Вольтера, а где — себя, последовавшего примеру учителя.

И здесь Пушкин применяет свой излюбленный прием — вводит деталь, точно указывающую на автобиографичность.

> «Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане…»; «Утешения мало им (детям Пушкина. — *Я. Г.*) будет в том, что их папеньку схоронили как шута…»

Это из писем к Наталье Николаевне. К шутовскому камер-юнкерскому мундиру восходит «шутовской кафтан» Вольтера, камергера прусского двора.

> «Что из этого заключить? что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет…»

Он перечеркивал свои государственные надежды начала тридцатых годов. Свои иллюзии, за которые ему теперь было стыдно. Вместе с Западом, вместе с Вольтером уходила из его жизни еще одна опора.

5

На последней странице «Капитанской дочки» Пушкин поставил дату — 19 октября 1836 года. Четверть века назад был открыт Лицей…

Современное пушкиноведение относит первые черновые наброски планов романа к 1832 году. Таким образом, вся мучительная трансформация исторических и политических взглядов Пушкина в тридцатые годы проходила на фоне идущей подспудно работы над романом.

> «Ничтожный герой», рядовой русский дворянин — и ход истории; эта роковая проблематика шла от «Истории села Горюхина» и предисловия к «Повестям Белкина» через «Медного всадника» к горькому финалу «Капитанской дочки».

Автор «Истории» и пересказчик «Повестей» Иван Петрович Белкин — литературный предшественник, исторический потомок и в некотором роде двойник Петра Андреевича Гринева. (Случайно ли так настойчиво варьируется столь значимое для русского XVIII века имя — Петр?) И Белкин, и Гринев из небогатых, но «хороших» дворянских семей. Оба — майорские сыновья. Начальное их воспитание и образование чрезвычайно

схожи. Оба на семнадцатом году вступают в армейскую службу. Оба имеют тягу к изящной словесности. Оба — по выходе из службы — пишут исторические сочинения. Это один социально-психологический тип. Но и разница между ними имеется.

Белкин — это русский дворянин, оказавшийся вне активного слоя истории. В службу он вступает *сразу после* наполеоновских войн. В отставку выходит *накануне* взрыва 1825 года. Восемь лет прослужил Иван Петрович в егерском полку. И нечего ему рассказать о своей жизни, ибо жил, «переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи». За бытом Белкин не видит ничего, кроме быта. Недаром все четыре «Повести» он пересказывает с чужих слов. Неумелым хозяйствованием разорил он свое малое имение и умер от простуды не дожив до тридцати лет, не оставив потомства. На нем пресекся «знаменитый род Белкиных».

Евгений из «Медного всадника» — это и есть разорившийся, но не умерший Белкин, вынужденный переехать в столицу и жить жалованьем. Это тот же типаж — порядочный, скромный, мечтающий о честной независимости, но лишенный каких бы то ни было общественных амбиций. Только страшный внешний катаклизм может толкнуть его на поступок, столь отчаянный, сколь и безнадежный.

В «Капитанской дочке» Пушкин бросает честного, скромного Гринева, которому явно предстоит унылая служба, подобная белкинской, в водоворот исторической катастрофы, проверяет его смертельными обстоятельствами, требующими высоких решений.

Немаловажно, что после целого ряда вариантов фамилии героя, Пушкин останавливается на фамилии Гринев, известной с XVI века и существовавшей в пушкинские времена. Это были те дворяне, на которых держалось государство в тяжкие периоды. Гриневы спасали отечество в Смутное время и за храбрость и верность жалованы были царем Михаилом, в избрании которого участвовали.

Гринев, исторический предок Белкина и Евгения, — не им чета. Он человек бодрого, молодого еще века. Он смел, силен, решителен. И ведет он себя соответственно. Но иссякают чрезвычайные обстоятельства, насильно втянувшие Гринева в действие, — и Гринев уходит с исторической арены. Ни единым словом не обмолвился «издатель», знающий его дальнейшую судьбу, о службе или иной какой-нибудь деятельности Петра Андреевича. Его последний общественный поступок — присутствие на казни Пугачева. Момент, когда окровавленная голова великого мятежника оказалась в руке палача, — есть и

момент ухода Гринева в исторический тупик. Каков результат жизненных усилий смелого и благородного Гринева и самоотверженной Маши Мироновой?

> «Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. — В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам».

В начале петровских реформ тридцать девять «исторических» Гриневых владели каждый собственным имением. Через сотню с лишним лет одним имением владеют десять «пушкинских» Гриневых.

«…В течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок», — сказано в «Истории села Горюхина».

В конце жизни Пушкин взглянул на свою эпоху издалека. И на подступах к ней увидел очередной этап исторической драмы, разворачивавшейся с петровских времен, — самоустранение честных, бескорыстных Гриневых, отдававших Россию на разграбление кондотьерам деспотизма.

Внуки Гриневых, Белкины и Евгении — тот социальный слой, к которому и он, Пушкин, принадлежал. «Хорошее» дворянство, вытесненное из истории. То дворянство, которое он, Пушкин, в начале тридцатых годов надеялся разбудить, просветить, объединить для противостояния деспотизму…

Горький финал «Капитанской дочки» — эпитафия этим надеждам.

Трезво и безжалостно подводил он итоги.

В январе 1837 года, за десять дней до смерти, Пушкин конспектировал книгу Крашенинникова «Описание земли Камчатки». Он собирался, очевидно, написать статью о Камчатке — для «Современника». Статью он не успел написать. Но и конспекты Пушкина всегда столь выразительны и осмысленны, что мысль ненаписанной статьи совершенно ясна.

Это должна была быть статья о безнравственности Государиви. Империя строилась средствами, которые Пушкин в 1837 году принять не мог.

6

В начале января 1837 года — последнего месяца его жизни Пушкин снова писал о Вольтере. Он сочинил историю о том, как один из потомков Жанны д’Арк вызвал на дуэль Вольтера за издевательскую поэму «Орлеанская девственница». Вольтер якобы

ответил:

> «Могу вас уверить, что никаким образом не участвовал в составлении глупой рифмованной хроники… о которой изволите мне писать. Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно приписывает мне… Жалею, что я не посвятил слабого своего таланта на прославление Божиих чудес, вместо того, чтобы трудиться для удовольствия публики — бессмысленной и неблагодарной».

Он снова писал о Вольтере и о себе. И о себе больше, чем о Вольтере.

Пародийная богохульная «Орлеанская девственница» была одним из образцов пушкинской пародийной богохульной «Гавриилиады».

Когда в 1828 году список «Гавриилиады» попал в руки властям и началось следствие, Пушкин — так же, как и Вольтер в «Последнем из свойственников», — отрекся от своего сочинения. Он писал Вяземскому:

> «До правительства дошла наконец Гавриилиада; приписывают ее мне».

Фраза из «письма Вольтера» — «Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно приписывает мне» — почти текстуально напоминает жалобы Пушкина по поводу «Гавриилиады» и вообще приписываемых ему неприличных сочинений.

В 1834 году он записал в «Дневнике»:

> «Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне».

Он писал еще в 1825 году:

> «Всякое слово вольное, всякое сочинение возмутительное приписывается мне…»

Теперь, в конце жизни, он с горечью и сарказмом писал об этом бедствии, обвиняя в нем себя самого.

Последняя фраза «письма Вольтера» — о «публике бессмысленной и неблагодарной» — тоже фактически автоцитата. Оба эти эпитета определяют ту же публику в стихотворении «Поэт

и толпа».

Он писал о себе.

«Последний из свойственников» заканчивается заметками вымышленного английского журналиста, в которых — помимо всего прочего — «Орлеанская девственница» сравнивалась с поэмой — на тот же сюжет — Соути:

> «Поэма лауреата не стоит, конечно, поэмы Вольтера в отношении силы вымысла, но творение Соути есть подвиг честного человека и плод благородного восторга. Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма».

«Подвиг честного человека» — опять-таки автоцитата. Так Пушкин говорил об «Истории» Карамзина.

А последняя фраза очень точно определяет не только обстановку вокруг Вольтера и его поэмы во Франции, но и обстановку вокруг Пушкина и «Гавриилиады» в России начала двадцатых годов. Врагов и клеветников у него тоже было немало, но «Гавриилиада» не подверглась порицаниям. Ф. Ф. Вигель писал, что в то время «не только молодежь, но и пожилые люди, не понимая ни Спинозы, ни Ламетри, ни Вольтера, щеголяли вольнодумством. Не только в столице, но даже в провинции, в Пензе или Курске раздавались хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу».

Пушкин писал о себе. Шла переоценка ценностей.

Но, как и всегда у него, смысл «Последнего из свойственников» не исчерпывается одним толкованием.

Вольтер был его коллегой-историком. Он тоже напитал историю Петра Великого. «Орлеанская девственница» была поэмой, сочиненной на историческом материале. И в январе 1837 года Пушкин объяснял миру, что история не должна быть игрушкой изобретательного ума. Что в исторических сочинениях важна правда. «Подвигом честного человека» он называл поэму Соути, а не талантливое искажение этой правды, как у Вольтера.

За две недели до смерти Пушкин думал о необходимости серьезности и правдивости в сочинениях исторических.

И есть в «Последнем из свойственников» еще один мотив, который нельзя не заметить, — клевета и дуэль для ее пресечения…

Денежные дела его зашли окончательно в тупик. Получив в 1835 году ссуду в 30 000 рублей, он отдал половину своих долгов. К концу года у него оставалось около 28 000 частного долга, не считая 20 000 первой ссуды. Но ссуда вторая была ему выдана в счет жалованья. Следовательно, в тридцать шестом году жалованья он не получал.

Оставались доходы от имения, гонорары и предполагаемые доходы от «Современника».

Доходы от имения он перевел на брата и сестру. Деньги это были ничтожные, а хлопоты хозяйственные отнимали массу времени и сил. И ему все равно приходилось платить долги Льва Сергеевича.

Поскольку у него был теперь свой журнал, то печатать собственные произведения у других издателей было неудобно. Он напечатал в «Современнике» «Капитанскую дочку», «Путешествие в Арзрум» и многое другое. Таким образом, гонорары прекратились.

А надежда на «Современник»?

За 1836 год «Современник» принес Пушкину 9000 рублей *убытка.* Повторялась ситуация «Истории Пугачева».

Первый и второй тома «Современника» вышли тиражом 2400 экземпляров. Третий — тиражом 1200 экземпляров. Четвертый — 900 экземпляров. Да и тот не разошелся. Интерес публики к журналу падал с каждым днем.

Казалось бы — странно. Ведь в «Современнике» печатались, кроме Пушкина, Гоголь, Вяземский, Жуковский, Языков, Баратынский, Тютчев.

Но не их сочинения определяли главное направление журнала. Пушкин в последний раз попытался осуществить свою мечту об издании историко-политическом. Издании, которое просвещало бы Россию в соответствии с его планом. Он старался печатать материалы по русской истории, материалы, анализирующие европейские события. В «Современнике» был напечатан «Джон Теннер». В «Современнике» печатались военно-исторические статьи Дениса Давыдова. К сотрудничеству в «Современнике» настойчиво привлекал Пушкин известного военного историка Сухорукова. В первом номере журнала появилась статья П. Б. Козловского «Разбор парижского математического ежегодника». В статье говорилось:

> «Наука должна быть достоянием не только высших, но и низших слоев населения. Только тогда возможно процветание науки».

Речь шла о просвещении, необходимой предпосылке

переустройства России.

Пушкин старался обеспечить сотрудничество именно людей ученых.

Софья Карамзина писала брату Андрею: «Вышел второй номер „Современника“. Говорят, что он бледен…»

В отличие от «Библиотеки для чтения», имевшей тираж 5000 экземпляров, «Современник» не старался развлекать публику. Он был совершенно серьезен. Публике эта высокая серьезность, эта историко-политическая проповедь оказалась не нужна.

Первой попыткой реализации великого плана была «История Пугачева». Последней такой попыткой было издание «Современника».

С «Истории Пугачева» началась финансовая катастрофа Пушкина. «Современником» она завершилась.

В 1836 году Пушкин не имел *вообще никаких доходов.* Убытки, которые он понес на издании «Современника», сделали его материальное положение безнадежным.

Он жил в долг, не имея никакой надежды с долгами когда-либо расплатиться. 20 октября он писал отцу:

> «Лев поступил на службу и просит у меня денег; но я не в состоянии содержать всех; я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обременен многочисленной семьей, содержу ее своим трудом и не смею заглядывать в будущее».

«Не смею заглядывать в будущее…» Жить было не на что в буквальном смысле. Он закладывал вещи. Ростовщику Шишкину он заложил лоханку, рукомойник, кофейник, шесть десертных ложек, двенадцать столовых ложек, одиннадцать вилок, двенадцать позолоченных десертных ложек, двенадцать ножей таких же, двенадцать вилок таких же, двенадцать чайных позолоченных ложек, три позолоченные ложки для соли, четыре десертные серебряные ложки, четыре вилки, четыре ножа, три ложки чайные серебряные, одну серебряную солонку, один серебряный соусник, часы брегетовские…

Он закладывал посуду и часы. И на это жил. Потом стал закладывать вещи, предоставленные ему для этого Соболевским. Ложка суповая, ложка рыбная, четыре соусные ложки, двадцать шесть хлебальных ложек, самовар в футляре, ситечко, сахарница… Вещи Соболевского, отданные ростовщику.

Так он жил в конце 1836 года.

Он пытался работать над «Петром». Готовил к переизданию «Историю Пугачева», хотя переиздавать ее было не на что — не было денег, а на доход от этого издания он больше не

рассчитывал.

Но вряд ли труды его были успешны. Он осознавал тупик, в который завела его *логика деятельности.* Он писал отцу в том же октябрьском письме:

«Здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью».

Около Натальи Николаевны давно уже появился Дантес.

8

Он писал в 1836 году:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам…
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Этот «алчный грех» не надо отождествлять с событиями внешними — с преследованиями цензуры, полицейской слежкой, нуждой. О таких — внешних — вещах Пушкин писал иначе. Страшное это четверостишие говорит о муках внутренних, муках душевных. Оно говорит о том тупике, который он осознал в страшные месяцы второй половины 1836 года.

Это осознание завершилось в августе.

5 июля он написал стихотворение «Из Пиндемонти». Это не перевод и не переложение. Это совершенно оригинальное стихотворение. Ссылка на итальянского поэта сделана для цензуры.

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
Вот счастье! вот права…

Это отказ от своих государственных замыслов. От своего плана. «…Для власти, для ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов…» Ливрея здесь — отнюдь не камер-юнкерский мундир, которого Пушкин не домогался и ради которого помыслов не гнул. Тем более не было связано камер-юнкерство с властью. Нет, речь тут идет о прежних мечтах, мечтах 1831 года, с которых все началось. Мечтах о положении историографа-советчика, человека, направляющего действия императора. Ливрея — мундир официального историографа, власть — влияние мудреца на властителя.

А позитивная, так сказать, декларация
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам… —

это программа ухода — вспомним «Странника», — ухода от деятельности, направленной на внешний мир. Это программа «юноши, читающего книгу». Мотив ухода нарастал.

22 июля были написаны «Отцы пустынники».

Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Любоначалие — властолюбие. От властолюбия, празднословия, обличения он старался отделиться. Так он трактовал свою деятельность.

Мотив ухода от деятельности перерастал в мотив ухода из

жизни.

14 августа он написал «Когда за городом, задумчив, я брожу…»

Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На месте праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя…

21 августа он написал «Памятник».

В «Памятнике» он говорит о себе только как о поэте. Только поэтические труды ставит он себе в вечную заслугу.

Панорама Дворцовой площади. Литография Г. Г. Чернецова. 1830-е гг. Фрагмент

От себя как мыслителя политического, как деятеля государственного он отвернулся. Ибо все изменило ему, кроме

поэзии.

С тоской смотрел он вокруг.

19 октября 1836 года он писал Чаадаеву:

> «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен ‹…› Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние».

Но все было не просто. В том же письме писал он о грандиозности русской истории и преданности своей этой истории, истории его предков. Более того, он и в настоящем России старался увидеть черты обнадеживающие.

Совершенное отчаяние было для него невозможно.

Он отрекался в стихах от своей деятельности. И продолжал ее. Не столь интенсивно, как прежде, но продолжал.

В отличие от русского общества он не забывал свой долг.

Понимая безнадежность борьбы, он боролся до конца.

А давление враждебного мира становилось нестерпимым.

Подходили ноябрьские дни 1836 года. Начиналось физическое разрешение той духовной драмы, которая разыгрывалась с 1831 года.

9

В литературе он победил. Он победил императора с его армией и флотом. Он победил Бенкендорфа с его агентами. Он победил Булгарина с его могучей пошлостью. Он победил недоверие и непонимание друзей. Он победил свой «слепой и буйный век».

Он все это понимал. Свидетельством тому — «Памятник».

Для нас он — абсолютный победитель.

А для него самого?

Перед ним лежала Россия, ввергнутая в темноту и страдание. И уязвленная этим страданием душа его не знала покоя.

Ему не довольно было грядущей славы в веках. Ему необходимо было помочь этой несчастной стране немедленно. Он стал политиком, историком, проповедником.

Что произошло в уме и душе его за те шесть лет, что жил он

новой жизнью? За те шесть лет, что вел он жизнь человека семейного и не только уже поэта, но историка и государственного мыслителя?

Заговор, на который уповали друзья его молодости, он отверг, как благородное заблуждение, не соотнесенное с реальным движением вещей и способное принести России только вред, ожесточая власть и увлекая молодые умы на путь несбыточных мечтаний.

Народное возмущение, справедливое по силе тягот и притеснений, он рассмотрел, взвесил и осудил как бессмысленное в своей неразборчивой жестокости, как бессмысленное в своем конечном бессилии и неумении победить.

Он поверил было в молодого царя — решительного, полного сил, даже с некоторой замашкой благородства, которое должно было в нем развить. Он поверил, что можно разумными советами и примерами направить царя на разумный путь и сделать его орудием просвещения и форм. Он поверил было, что из молодого дивизионного генерала может вырасти государь под стать Петру. Но царь оказался заурядным деспотом с повадками развратника.

Он поверил, что царь смягчился сердцем и вернет его друзей, без которых трудно было направлять Россию на путь просвещения и разумной свободы. Несколько раз надежда эта пропадала и снова появлялась в нем. Но царь оказался бессмысленно злопамятен, и благороднейшие умы страны были обречены на бездействие.

Он убедил себя, что если представить России идеал правителя и правления, то пораженное общество задумается над пороками своими и своих властителей. Но, рассмотрев как беспристрастный и глубокий историк характер и поступки Петра Великого, он не увидел в нем убеждающего примера, найти который надеялся. Он три года неустанно трудился — долги росли, заботы умножались — и, представив себе, наконец, создание свое в деталях, подробностях и общем смысле, он понял, что готов создать правдивую и важную по мыслям историю удивительного царствования, но предложить его России как непобедимый пример он не может. Да и то, что может он рассказать публике, не пропустит цензура.

В дни своей молодости он с надеждой смотрел на Европу. Европейские революции не только волновали кровь, они указывали путь к свободе. Но теперь, зрелым умом оценив происходящее, он сказал себе, что европейские движения чужды ему и для России непригодны.

Ему не удалось совершить задуманное. Он не смог указать России путь к просвещению и разумному счастливому устройству.

За шесть лет трудов и размышлений друзья перестали понимать его, публика перестала в него верить. Когда он был уже мертв, Вяземский написал:

«Пушкин не был понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти…»

Он погиб не в борьбе с самодержавием и «светской чернью».

Он погиб в борьбе с русской историей, ход которой он пытался изменить.

Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой… Он был первым в этом ряду подвижников.

1973

Приложение

«И Пушкин стал нам скучен…»
Из современной критики

Пушкин царствовал десять лет. «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина; он умер или, быть может, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет /…/ По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анжело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратимую потерю.

Белинский. 1834

…Охота являться перед публикою, которая вас не понимает, чтоб четыре дурака ругали вас в своих журналах, только что не по матерну.

Пушкин — Погодину, 1834

Записка Ф. В. Булгарина в III отделение [4], декабрь 1826 г.

Замечания на «Комедию о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве»

По названию *Комедия,* данному пиесе, не должно думать, что это комедия в таком роде, как называются драматические произведения, изображающие странности общества и характеров. Пушкин хотел подражать даже в заглавии старине. В начале русского театра, в 1705 году, комедией называлось какое-нибудь происшествие историческое или выдуманное, представленное *в разговоре.* В списке таковых комедий, находившихся в Посольском приказе 1709 года, мы находим заглавия: Комедия о Франталасе царе Эпирском, и о Мирандоне сыне его и о прочих; Комедия о честном изменнике, в ней же первая персона Арцух (то есть Герцог) Фридерик фон Поплей; Комедия о крепости Грубетона, в ней же первая персона Александр царь Македонский, и тому подобное. В подражание сим названиям Пушкин назвал свое сочинение «Комедия о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве».

В сей пиесе нет ничего целого: это отдельные сцены или, лучше сказать, отрывки из X и XI тома «Истории государства Российского», сочинения Карамзина, переделанные *в разговоры и сцены.* Характеры, происшествия, мнения, все основано на сочинении Карамзина, все оттуда позаим ствовано. Автору комедии принадлежит только рассказ, расположение действия на сцены.

Почти каждая сцена составлена из событий, упомянутых в истории, исключая сцены Самозванца в корчме на литовской границе, сцены Юродивого и свидания Самозванца с Мариною Мнишек в саду, где он ей признается, что он Отрепьев, а не Царевич.

Цель пиесы — показать исторические события в естественном виде, в нравах своего века.

Дух целого сочинения монархической, ибо нигде не введены мечты о свободе, как в других сочинениях сего автора, и только одно место предосудительно в политическом отношении: народ привязывается к Самозванцу именно потому, что почитает его отраслью древнего царского рода. Некоторые бояре увлекаются честолюбием — но так говорит история. Имена почти все исторические.

Литературное достоинство гораздо ниже, нежели мы

ожидали. Это не есть подражание Шекспиру, Гете или Шиллеру; ибо у сих поэтов в сочинениях, составленных из разных эпох, всегда находится связь и целое в пиесах. У Пушкина это разговоры, припоминающие разговоры Валтера Скотта. Кажется, будто это состав вырванных листов из романа Валтера Скотта! Для русских это будет чрезвычайно интересно по новости рода и по отечественным событиям — для иностранцев все это потеряно. Некоторые сцены, как, например, первая на рубеже России, сцена, когда монах Пимен пишет историю, а молодой инок Гришка Отрепьев спит в келье, сцена Гришки Отрепьева в корчме на литовской границе и еще некоторые места истинно занимательны и народны — но в целом составе нет ничего такого, которое бы показывало сильные порывы чувства или пламенное пиитическое воображение. Все подражание, от первой сцены до последней. Прекрасных стихов и тирад весьма мало.

Некоторые места должно непременно исключить. Говоря сие, должно заметить, что человек с малейшим вкусом и тактом не осмелился бы никогда представить публике выражения, которые нельзя произнесть ни в одном благопристойном трактире! Например, слова Маржерета. См. № 1.

В сцене Юродивого № 2 слова «не надобно бы молиться за Царя Ирода», хотя не подлежат никаким толкам и применениям, но так говорят *раскольники* и называют Иродом каждого, кого им заблагорассудится, кто бреет бороду и т. п.

№ 3. Сия тирада произведет неприятное впечатление. У нас еще не привыкли, чтобы каждый герой романа говорил *своим* языком без возражения вслед за его умствованием. Предоставлять каждому читателю возражать самому — еще у нас не принято, да и публика наша для сего не созрела.

№ 4. Здесь представлено, что народ с воплем и слезами просит Бориса принять царский венец (как сказано у Карамзина), а между тем изображено, что люди плачут сами не знают о чем, а другие вовсе не могут проливать слез и хотят луком натирать глаза! «О чем мы плачем?» — говорит один. «А как нам знать, то ведают бояре, не нам чета!» — отвечает другой. — Затрудняюсь в изложении моего мнения на счет сей сцены. Прилично ли так толковать народные чувства?

№ 5. Сцену в корчме можно бы смягчить: монахи слишком представлены в развратном виде. Пословица «Вольному воля, *спасенному* рай» переделана: «Вольному воля, а *пьяному* рай». — Хотя эти монахи и бежали из монастыря и хотя это обстоятельство находится у Карамзина, но кажется, самый разврат и попойка должны быть облагорожены в поэзии, особенно в отношении к званию монахов.

№ 6. Решительно должно выкинуть весь монолог. Во-первых, царская власть представлена в ужасном виде; во-вторых, явно говорится, что кто только будет обещать свободу крестьянам, тот взбунтует их. В Юрьев день можно было до царствования Бориса Годунова переходить с места на место.

За сими исключениями и поправками, кажется, нет никакого препятствия к напечатанию пиесы. Разумеется, что играть ее невозможно и не должно; ибо у нас не видывали патриарха и монахов на сцене. До 1818 года в повестях, песнях и романах выводили в действие монахов и даже не всегда в блестящих цветах. Во время мистицизма и влияния духовенства на литературу даже имена монахов и священников запрещалось строго упоминать; нельзя было сказать: «Отец мой!» — По падении мистицизма и уничтожении монашеского влияния показались две пиесы, где монахи выведены в действие: «Чернец», поэма, сочин. Козлова и «Русалка» Пушкина. Обе пиесы подвергались гонению духовенства, и на них были приносимы жалобы министру просвещения. — Но в публике это не производит ни малейшего впечатления, и у нас есть народные, напечатанные песни, в коих даже монахи представлены в самом развратном виде. Характеристическая черта русского народа есть та, что он привержен к вере и обрядам церковным, но вовсе не уважает духовного звания, как тогда только, когда оно в полном облачении. Все сказки, все анекдоты не обойдутся без попа — представленного всегда в дурном виде. И так кажется, что введение патриарха и монахов в сочинение Пушкина не произведет никакого дурного впечатления в публике, исключая партии, приверженной к системе мистицизма. Впрочем, это зависит совершенно от того, как угодно будет смотреть на сей предмет: у Карамзина все это описано вдесятеро сильнее — и он говорит даже, что в то время Россия была наполнена беглыми монахами, которые, скитаясь по обителям, делали большие соблазны и даже злодеяния. Здесь только в одной сцене представлены они в попойке.

Выписка из комедии о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве

Ход пиесы.

Она начинается со дня вступления Годунова на царство; изображает притворство и лукавство Бориса, отклонявшего сначала от себя высокий сан царя, по избранию духовенства и бояр; возобновление усильных их убеждений и, наконец, его согласие и принятие правления.

Нахождение Отрепьева в Чудове монастыре монахом, в келье Пимена летописца, который, рассказывая ему о убиении Димитрия Царевича, упомянул, что если б Димитрий был жив, то он бы был ровесник ему по летам. — Дерзкое предприятие Отрепьева назваться Царевичем; бегство его из монастыря и из России в Литву. — Пребывание в Кракове; удача Самозванца; помощь, оказываемая ему королем и вельможами. — Пребывание его в имении Мнишка; любовь его к Марине.

Распространение в Москве слухов о Самозванце; беспокойство и различные толки в народе; меры осторожности Царя Бориса.

Вступление Самозванца в Россию, с шайкою его приверженцев; сражения; различные успехи с обеих сторон.

Страдание Бориса, мучимого совестию; предложение патриарха перенести мощи Димитрия Царевича из Углича в Москву для уверения народа о его смерти. — Отклонение сего предложения к[нязем] Шуйским, с коим Царь соглашается. — Молебствия в присутствии Бориса; беспокойство его от угрызения совести; он изнемогает. — Назначение сына Феодора наследником. Патриарх, духовенство и бояре признают его Царем. — Пострижение Бориса; его смерть. Царство Феодора. — Речь Пушкина (Гаврила), прибывшего от Самозванца в Москву, к народу, о признании Царем законного наследника Димитрия Царевича и о истреблении рода Бориса Годунова.

Заключение под стражу Царя Феодора и его сестры Ксении. — Прибытие в палаты, где заключены высокие пленники, бояр Голицына и Милославского. — Стоны и вопли, исходящие из палат. — Объявление о смерти Царя и его матери. Провозглашение Царем Димитрия Ивановича.

Вышеозначенные происшествия происходят: в Москве на площадях около соборов и монастырей, в Чудовом монастыре; в палатах царских, в домах бояр. На границе Литвы: в корчме, Кракове в жилище Самозванца, в доме Мнишка. На границе России: в лагерях около Новгорода-Северского и проч.

Действующие лица: Царь Борис со всем своим семейством; патриарх, монахи, бояре, народ; юродивый Николка; Отрепьев, его приверженцы; князь Курбский, Хрущев, Пушкин (Гаврило), Мнишек, Марина и проч.

Выписки. № 1.

Маржерет.

Tudieu, il y fait chaud! — Cc diable de Samozvanets, comme ils l’appellent, est un bougre, qui a du poil au cul — qu’en pensez-vous, mem herr.

№ 2.

Юродивый.

Борис, Борис! Николку дети обижают.

Царь.

Подать ему милостыню. О чем он плачет?

Юродивый.

Николку маленькие дети обижают… вели их зарезать, как зарезал ты маленького Царевича.

Бояре.

Поди прочь, дурак! схватите дурака!

Царь.

Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка!

Юродивый.

Нет, нет! нельзя молиться за Царя Ирода — Богородица не велит.

№ 3. *Царь.*

Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный Самодержец,
Так думал и его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ,
Твори добро — не скажет он спасибо.
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

№ 4.

Народ.

Ах, смилуйся, Отец наш! властвуй нами!
Будь наш Отец, наш Царь!

Один (тихо).

О чем мы плачем?

Другой.

А как нам знать? то ведают бояре,
Не нам чета.

Баба с ребенком.

Ну, что ж? как надо плакать,
Так и затих! вот я тебя! вот бука!
Плачь, баловень! *(бросает его об земь; ребенок пищит).*
Ну, то-то же.

Один.

Все плачут,
Заплачем, брат, и мы.

Другой.

Я силюсь, брат,
Да не могу.

Первый.

Я также. Нет ли луку?

Потрем глаза.

№ 5.

Монахи пьют; Варлаам затягивает песню: Ты проходишь, дорогая, и проч.

(Григорью): Что же ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь?

Григорий.

Не хочу.

Мисоил.

Вольному воля…

Варлаам.

А пьяному рай, от[ец] Мисоил! выпьем же чарочку за шинкарочку…

(«…неволей добрый молодец» и проч.).

Однако, отец Мисоил, когда я пью, так трезвых не люблю; ино дело пьянство, а иное чванство; хочешь жить как мы, милости просим — нет, так убирайся, проваливай: скоморох попу не товарищ.

Григорий.

Пей, да про себя разумей, отец Варлаам; видишь, и я порой складно говорить умею.

Варлаам.

А что мне про себя разуметь!

Мисоил.

Оставь его, от[ец] Варлаам.

Варлаам.

Да что он за постник? сам же к нам навязался в товарищи, неведомо кто, неведомо откуда — да еще и спесивится; может быть, кобылу нюхал… *(пьет и поет).*

Григорий хозяйке.

Куда ведет эта дорога?

Хозяйка.

В Литву, мой кормилец, к Луевым горам.

Григорий.

А далече ли до Луевых гор?

Хозяйка.

Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы.

Григорий.

Как заставы! что это значит?

Хозяйка.

Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать.

Григорий (про себя).

Вот тебе, бабушка, Юрьев день.

Варлаам.

Эй, товарищ! да ты к хозяйке присуседился. Знать, не нужна тебе водка, а нужна молодка, дело, брат, дело! у всякого свой обычай; а у нас с от[цом] Мисоилом одна заботушка: пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим.

Мисоил.

Складно сказано, от[ец] Варлаам.

№ 6.

Боярин Пушкин.

Такой грозе, что вряд царю Борису
Сдержать венец на умной голове.
И поделом ему! он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет,
Что на колу кровавом всенародно
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а Царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там в глуши голодна смерть иль петля.
Знатнейшие меж нами роды — где?
Где Сицкие князья, где Шестуновы,
Романовы, Отечества надежда?
Заточены, замучены в изгнаньи.
Дай срок: тебе такая ж будет участь.
Легко ль, скажи? мы дома, как Литвой,
Осаждены неверными рабами,
Всё языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воры;
Зависим мы от первого холопа,
Которого захочем наказать.
Вот — Юрьев день задумал уничтожить.
Не властны мы в поместиях своих,
Не смей согнать ленивца! рад не рад,
Корми его, не смей переманить
Работника, не то в приказ холопий.
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване

Такое зло? а легче ли народу?
Спроси его. Попробуй Самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

Цит. по «Видок Фиглярин» письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение. «Новое литературное обозрение» М., 1998

Н. И. Надеждин
«Полтава», поэма Александра Пушкина
Фрагменты

Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam Viribus!

Horat «De art poet»

Берите труд всегда не выше сил своих!

Перев<од>
А. Ф. Мерзл<якова>

«Говорить правду — потерять дружбу!» — так гласит старинная русская пословица; и ничто не доказывает столько ее справедливости, как повседневные явления литературного нашего мира. Чудное дело! Истинная *красота,* кажется, одна; и посему все, посвящающие себя ее служению, не должны б ли были составлять единого священного братства, проникаемого и оживотворяемого единым духом любви? Но между тем — какое странное зрелище представляет ныне Парнас наш!.. Сыны благодатного Феба, жрецы кротких Муз — только что не вцепляются друг другу в волосы. Куда ни обернись — везде шум и крик, везде смуты и сплетни, везде свары и брани ‹…›

Незнак<омец>.

Ах! любезные! друзья мои! Для *гения* не довольно смастерить «Евгения»!

Флюгер<овский>. Понимаю!.. Это старинные возгласы школяров, уличающих *Пушкина* ничтожностью обработываемых им предметов! — Но и от этого упрека — если только может иметь он какую-нибудь значительность — *Пушкин* ныне освобождается. Вы, конечно, читали «Полтаву»!..

Незнак<омец> (хладнокровно). Читал.

Флюгер<овский>. И что же?

Незнак<омец>. И — ничего!..

Флюгер<овский>. Как — ничего?.. Не является ли здесь наш поэт достойным соревнователем, или лучше, опасным соперником *Байрона?..*

Незнак<омец>. Сомневаюсь!.. Да мне кажется, что и сам он едва ли имел намерение входить в состязание с *Байроном!..* По

крайней мере, он добровольно отказался от удовольствия столкнуться с ним даже в имени поэмы; и, разманив нас «Мазепою», грянул внезапно «Полтавой»!..

Флюгер<овский>. Но это последнее название предпочтено поэтом, вероятно, потому, что оно звучит знакомее и роднее сердцу каждого русского. *Полтава* есть драгоценнейшее перло в венце славы нашего отечества!.. Одно имя ее пробуждает в нас драгоценнейшие воспоминания…

Незнак<омец>. Которые сама поэма опять усыпляет!.. Странное дело!.. В этом поэтическом зданьице, носящем величественное имя *Полтавы,* сама *Полтава* составляет такой неприметный уголок, что его едва и отыскать можно. Описание Полтавского сражения, вставленное в третью песнь поэмы, столь маловажно для целого ее состава, что при совершенном уничтожении оного потеряла бы только толщина книжки[5]. — Воля ваша, господа!.. а мне кажется, что наш Байрон поступил бы гораздо лучше, если б удержал для своей поэмы имя «Мазепа», прославленное его принципалом, тогда б, по крайней мере, никто не осмелился утверждать, что между им и *Байроном* нет ни малейшего сходства!

Флюгер<овский>. А теперь — разве вы осмелитесь это сделать?..

Незнак<омец>. Не обинуясь нимало! — Я не знаю еще, как вы разумеете Байрона!.. У нас об нем говорят очень много: и все почти без толку!.. Если принять вместе с автором журнальной статейки, на которую ссылался недавно по чтенный ваш товарищ, что отличительный характер байронизма состоит в уменьи *рассказывать с средины происшествия или с конца, не заботясь вовсе о спаянии частей*[6], то мы можем вести счет нашим Байронам дюжинами. Неблагодарная забота о *спаянии частей* в наши времена у наших поэтов — отнюдь не диковинка!.. но — *Байрон,* кажется, имел кое-что побольше и поважнее; и ежели *люди бросились на* его *поэмы, как алкающие в Аравийской пустыне к источнику ключевой воды,* то, верно, не по причине царствующего в них *беспорядка,* которого *ужасаются* не одни только *педанты*[7]. У Байрона был точно гений — и какой гений!.. Ничто не может быть вернее и ужаснее очерка, набросанного Ламартином:

И этим сатанинским величием *отливают* все *творения Байрона!..* Он всегда верен самому себе: и тогда, когда пытается святотатски обнажить девственные таинства *неба и земли;* и тогда, когда унижается до постыдного лаяния площадного памфлетиста. Везде то же мрачное всененавидение; везде те же безотрадные картины сиротствующего бытия, коего летаргическое

усыпление взрывается только буйными порывами бунтующей жизни. *Байроновы* поэмы суть запустевшие кладбища, на которых плотоядные коршуны отбивают с остервенением у шипящих змей полуистлевшие черепы. Его мир есть — ад; и — какое исполинское величие потребно для Полифема, избравшего себе жилищем сию беспредельную бездну?..

Jacuitque per antrum
Immensus!..[8]

К чести нашего поэта, должно сказать, что подобное величие ему чуждо. Он еще не перерос скудной меры человечества; и душа его — даже слишком — дружна с земною жизнию. Ни от одной из его поэм не пашетэтою могильною сыростью, от которой кровь стынет в жилах при чтении *Байрона.* Его герои — в самых мрачнейших произведениях его фантазии — каковы: «Братья разбойники» и «Цыгане» — суть не дьяволы, а бесенята. И ежели иногда случается ему понегодовать на мир, то это бывает просто — с сердцов, а не из ненависти. Как же можно сравнивать его с *Байроном?..* Они не имеют ничего общего, кроме разве внешней формы изложения, которая никогда и нигде не может составлять главного. Доказательство у нас пред глазами. И тот и другой написали две поэмы, имеющие предметом одного и того же главного героя и долженствовавшие даже носить одно и то же имя. Сравним их между собою! — Что такое Мазепа *Байрона?..* Олицетворенный идеал буйной независимости, посмеивающийся всем ударам и козням враждебной жизни!.. Старый украинский гетман, вышедши из-под *Байроновой* кисти, представляет то же в галерее нравственного мира, что бурный конь, мчавший его по степям подольским, в панораме мира физического.

Les cris du desespoir sont tes plus doux concerts;
Le mal est ton spectacle, et l'homme est ta victime!
Ton oeil, comme Satan, a mesure l'abôime,
Et ton âame, y plongeant loin du jour et de Dieu,
A dit a l'esperance, uneternel adieu!
Comme lui, maintenant, regnant dans les tenebres,
Ton genie invincibleeclate en chants funebres;
Il triomphe, et ta voix, sur un mode infernal,
Chante l'hymne de gloire au sombre dieu du mal![9]

He was wild,
Wild as the wild deer!..

Torrents less rapid and less rash![10]

И мы смело можем повторить здесь о нем то, что сам *Байрон* влагает в уста *Карлу XII:*

On the earth,
So ft a pair had never birth,
As the Bucephalus and thou![11] —

Я не буду распространяться о том, каким образом *Байрон* воплотил идеал сей. Это сделано вполне — *байронски!..* Для читателей, как и для самого *Байронова Мазепы, небо кажется* также *вертящимся колесом* и *деревья шатаются, как пьяные.* И я не знаю, започивал ли бы так сладко, при всем своем изможднии, северный Александр, когда б дослушался до хладнокровного заключения, коим заговорившийся старец завершил сию огневую выдержку из юных лет своих:

Comrades, good night!..[12]

Это одно расстилает гигантскую тень от *Мазепы,* сотворенного *Байроном!* — Таков ли *Мазепа* Пушкина?.. Поэт не поленился нам дать обстоятельное сведение о герое своей повести; и что же узнаём мы?.. Как жаль, что нет теперь под рукою книжки!

Я (вынув из кармана). Если угодно, так вот она, к вашим услугам!

Незнак<омец>. Как это кстати! Извольте же прислушать:

Чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей и ложней,
Тем с виду он неосторожней
И в обхождении простей.
Как он умеет самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать!
С какой доверчивостью лживой,
Как добродушно на пирах
Со старцами старик болтливый
Жалеет он о прошлых днях.
Свободу славит с своевольным.

Поносит власти с недовольным,
С ожесточенным слезы льет,
С глупцом разумну речь ведет!
Немногим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды,
С тех пор как жив, не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал,
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни (?)[13]
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

Этот *Мазепа* есть не что иное, как лицемерный, бездушный старичишка! — Тот ли это *Мазепа,* который в ночь, сменившую роковой Полтавский день, возле травяного ложа изможденного Карла,

Made
His pillow in an old oaks shade,
Himself as rough and scarce less old,
calm and bold?[14] —

У *Байрона* старый гетман засыпает сладко подле венценосного беглеца; и его *лиственная постель* не кажется ему *ни жесткою, ни новою;* у *Пушкина* напротив –

…Сон Мазепы смутен был:
В нем мрачный дух не знал покоя.

У *Байрона…*

Я. Но позвольте сказать вам, м<илостивый> г<осударь>, что это самое несходство с *Байроном* в изображении характера *Мазепы* может, кажется, служить к чести нашего поэта, а не к укоризне. *Байрон* точно создал своего *Мазепу,* или лучше — созданный им идеал назвал *Мазепою; Пушкин* же, по

собственному своему признанию, хотел только — *развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не искажая своевольно исторического лица* («Полт<ава>». <Стр.> VII); и, следовательно, должен был заключиться в тесных рамках неблагодарной достоверности.

Незнак<омец>. Хорошо бы, когда б так!.. Но если бы *Мазепа* был действительно таков, каковым он представлен в поэме *Пушкина,* то я не знаю, стоил ли бы он поэтической обработки?.. Лепить горшки можно из всего; но — из простой печной глины вырабатывать прекрасную статую, назначаемую для украшения святилища муз, было бы — безрассудно и смешно! — Итак, *Пушкин* — или неудачно выбрал, или… неудачно выполнил!..

Флюгер<овский>. Последнее невозможно!.. Может ли *Пушкин* выполнить неудачно то, за что примется?..

Незнак<омец>. И не *Пушкины* надрывались тогда, когда брали дело не по силам!

Флюгер<овский>. Не по силам?.. Где я?.. Не в земле ли коряков и чукчей?..

Незнак<омец> (улыбаясь). Молодой человек! Будьте скупее на риторические фигуры!.. Что удивительного находите вы в словах моих?.. В мире все устроено по числу, мере и весу: каждая сила имеет свой круг, свой масштаб, свои пропорции. Что ж мудреного, если и для духа человеческого, на какой бы степени ни стоял он, — одно по силам, а другое не по силам?.. Самому великому Ломоносову не по силам было эпическое величие века Петрова, а *Мазепа* есть не последнее созвездие в планетной системе сего незападающего солнца!.. Самое проклятие, тяготеющее над его памятью, обличает в нем силу характера, коей для истинного величия недоставало только достойного направления: старых волокит награждают не проклятиями, а жалким пожатием плеч и презрительным смехом! — Грешно было бы думать, *что не было ни отчизны, ни свободы* для человека, утешавшего себя сею мыслию:

Нехай вечна будет слава,
Же през шаблю маем права!

Я. Но — историческая достоверность?..

Незнак<омец>. Я цитовал вам теперь собственные слова *Мазепы*[15]… Это стоит, кажется, слухов! — Но у нас есть другие очевиднейшие свидетельства, доказывающие, что певец *Полтавы* не слишком много стеснялся историческою достоверностию!.. Не говорю о героине поэмы, которая не сохранила даже подлинного своего имени, быв перекрещена из Матрены в Марию, в силу

поэтического самоуправства. Что такое *Кочубей?..* Не самообрекшаяся жертва верности к престолу и любви к отечеству, а злобный, мстительный старик, затеявший доконать вероломного кума, во что бы то ни стало, и не умевший скрасить последних минут своих ни благородною твердостью невинности, ни всепрощающим смирением любви христианской! — Что такое *Карл XII?..* Извольте слушать:

Он — мальчик бойкий и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,
К врагу на ужин прискакать,
Ответствовать на бомбу смехом;
Не хуже русского стрелка
Прокрасться в ночь ко вражью стану,
Свалить… казака
И обменять на рану рану.
Но не ему вести борьбу
С самодержавным великаном:
Как полк, вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен и кичлив.
Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага
Успехом прошлым только мерит —
Сломить ему свои рога!

Что такое сам Петр — Великий Петр?..

Он дал бы грады родовые
И жизни лучшие часы,
Чтоб снова, как во дни былые,
Держать Мазепу за усы!

А!.. каковы портреты!.. Подумаешь, что дело идет о *Фарлафе* и *Рогдае*! — И всему виной — историческая достоверность?.. Не гораздо ли естественнее догадаться, что певец «Руслана и Людмилы» просто *зарубил дерево не по себе?..* Подобные гротески в своем месте посмешили бы, конечно, в сладость; но здесь они, право, возбуждают сожаление!..

Флюгер<овский>. Какое же понятие вы имеете о чародейской музе Пушкина?..

Незнак<омец>. Самое настоящее! Ни более, ни менее, как

что она в самом деле! — Это есть, по моему мнению, резвая шалунья![16] для которой весь мир ни в копейку. Ее стихия — пересмехать все — худое и хорошее… не из злости или презрения, а просто — из охоты позубоскалить. Это-то сообщает особую физиономию поэтическому направлению *Пушкина,* отличающую оное решительно от *Байроновой* мисантропии и от *Жан-Палева* юморизма. Поэзия *Пушкина* есть *просто — пародия.* Нечего Бога гневить!.. Что правда — то правда!.. Мастер посмеяться и посмешить… когда только, разумеется, знает честь и меру! — И ежели можно быть великим в малых делах, то *Пушкина* можно назвать по всем правам гением — *на карикатуры!..* Пускай спорят прочие: «Бахчисарайскому» ли «фонтану» или «Цыганам» при надлежит первенство между произведениями *Пушкина?* По моему мнению, самое лучшее его творение есть — «Граф Нулин»!..

Я (с изумлением). «Граф Нулин»!.. Что вы говорите!..

Незнак<омец>. Да! да! «Граф Нулин»! — Здесь поэт находится в своей стихии, и его парадоксальный гений является во всем своем арлекинском величии. За сим следует непосредственно «Руслан и Людмила». Какое обилие самых уродливых гротесков, самых смешных карикатур! Истинно — животики надорвешь!..

Флюгер<овский>. У меня не стает сил более!.. А «Бахчисарайский фонтан»? А «Кавказский пленник»? А «Братья разбойники»? А «Цыгане»? А «Полтава»?.. Это все также — *пародии?..*

Незнак<омец>. Без сомнения, не *пародии!* И тем для них — хуже!.. Но между тем во всех их проскакивает более или менее характеристическое направление поэта — даже, может быть, против собственной его воли. Это, конечно, и не удивительно! Привыкши зубоскалить, мудрено сохранить долго важный вид, не изменяя самому себе: вероломные гримасы прорываются украдкой сквозь личину поддельной сановитости. За примерами незачем ходить далеко: развернем «Полтаву»!..

Вестник Европы. 1829 г. 164. № 8

Ф. В. Булгарин
Второе письмо из Карлова на Каменный остров
Фрагмент

‹…› Иногда залетают к нам вести из Германии и даже из Парижа! Так, например, в нашем городе получено письмо из Парижа, в котором уведомляют, что и чужих краях странствуют несколько юных россиян, которые выдают себя за первоклассных русских поэтов, философов и критиков и всем журналистам обещают сообщать известия о России, а более о русской литературе. Тот самый почтенный критик, который выступил на поприще словесности в нынешнем году «Обозрением словесности», напечатанным в альманахе «Денница», и назвал моего бедного «Выжигина» книгою одного достоинства с сонниками и гадательными книгами, а читателей «Выжигина» сравнял с публикой толкучего рынка, — этот самый критик, одевший музу нашего доброго издателя «Литер<атурной> газеты» (мимоходом сказать, столь же виноватого во вздорных критиках сей газеты, как я пред Великим Моголом) в душегрейку новейшего уныния, этот самый почтенный критик — наименован в числе первых сотрудников иностранных журналов! Другой, автор писем из Италии, помещаемых в «Московском вестнике», и соучастник по изданию сего журнала. Можешь себе представить, каково будет доставаться *нам* в этих известиях о русской литературе и на какую степень станут поэты и прозаики, которых издатель «Моск<овского> телеграфа» в шутку назвал знаменитыми и литературными аристократами! Не могу удержаться от смеха, когда подумаю, что они приняли это за правду и в ответ на это заговорили в своем листке о дворянстве!! Жаль, что Мольер не живет в наше время. Какая неоцененная черта для его комедии «Мещанин во дворянстве»! Добрые люди! мне, право, жаль их. Какой вздор они вскидывают сами на себя. Говорят, что лордство Байрона и аристократические его выходки, при образе мыслей — бог весть каком, свели с ума множество поэтов и стихотворцев в разных странах и что все они заговорили о шестисотлетнем дворянстве! В добрый час! Дай бог, чтоб это вперило желание быть достойными знаменитых предков (если у кого есть они); однако ж это не сделает глаже и умнее ни прозы, ни стихов. Рассказывают анекдот, что какой-то поэт в Испанской Америке, также подражатель Байрона, происходя от мулата, или,

не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из предков его был негритянский принц. В ратуше города доискались, что в старину был процесс между шкипером и его помощником за этого негра, которого каждый из них хотел присвоить, и что шкипер доказывал, что он купил негра за бутылку рому! Думали ли тогда, что к этому негру признается стихотворец! — Vanitas vanitatum! [17]

Вот что значит писать из места, где нет новостей! Перо, как волшебный жезл, переносит мысль за тридевять земель, и я из Дерпта шагнул в Париж, оттуда упал на «Литературную газету» и очнулся в Африке! Помнишь ли, что в начале года утверждали в «Литер<атурной> газете», будто музыка и архитектура не изящные искусства и что слушать музыку есть то же, что греться у печи или ездить верхом? Но это суждение — жемчуг в сравнении с тем, что печатается в каждом листке; итак, поневоле, вспомнив об этой газете, вспомнишь об Африке! Вот как мысль соединяет два предмета, которые с первого взгляда, кажется, не имеют между собою ничего общего.

Прощай и пиши, что у вас нового. Новости у нас, как вода на мельнице, приводят в движение жернова и доставляют пищу. Жду и ждем!

Северная пчела. 1830. № 94

М. А. Бестужев-Рюмин
Сплетница
Фрагмент

‹…› А. А. Габенихтсина открыла свой магазин очень недавно, не более четырех месяцев тому назад. Разумеется, она на первый раз, подобно другим магазинщицам, пустилась на хитрости: сделала приманчивую вывеску к своему магазину и объявила, что она открыла его не для всей публики, но только для нескольких своих приятельниц, будто бы не хотевших выставлять напоказ в других магазинах свое рукоделье. Если сказать правду, то она при открытии своего магазина имела цель довольно основательную: некоторые из реченных ее приятельниц работали прежде прилежно, стараясь по возможности представлять изделия свои в лучшем виде, и потому продавали их весьма успешно, хотя и крайне дорогою ценою. В последствии времени они, избалованные тем, что имели много покупателей, стали лениться и начали работать кое-как, лишь бы с рук сбыть да взять денежки. Публика, увидев, что за решительный вздор по пяти и по десяти рублей платить не для чего, естественно, охладела к покупке рукоделья приятельниц Аделаиды Антоновны. Эта последняя, видя, что дело приходит плохо, рассудила открыть свой магазин, чтобы иметь случай подавать голос в пользу своих приятельниц и защищать их от огласки других магазинщиц, которые начали указывать на них пальцами. Если теперь поступает в продажу что-нибудь из рукоделья ее приятельниц, то Аделаида Антоновна так и рассыпается мелким бесом и не знает, как бы лучше расхвалить мастерство дорогой кумушки. Так, например, однажды она восклицала: «Купите, мои милостивцы, купите, мои родимые, купите, мои голубчики! Эта штучка произведет над вами такое же действие, как зрелище некогда милых нам мест, но уже оставленных теми особами, которые их одушевляли. Прелесть их не изменилась, но *мы*[18], рассматривая их, напрасно хотим воскресить в душе те чувствования, которыми наполнялась она в прежнее время. Мастерица до такой степени совершенства довела искусство свое, что вы, пока еще не успеете заметить *оного,* станете мысленно укорять мастерицу в недоконченности целой ее работы. Но это самое впечатление, это желание перемены в чувствованиях и неудовлетворительность надежд есть *верх искусства художницы.* Власть ее над нами столь сильна, что она не только вводит нас в круг изображаемых ею предметов, но изгоняет из души наглей холодное любопытство, с которым

являемся мы на зрелища посторонние, и велит участвовать в действии самом, как будто бы оно касалось до нас собственно. Всем известен анекдот об одном короле, который бывал недоволен собою, слушая своего проповедника». Окончив длинную сию панегирику, Адел<аида> Ант<оновна> прокричала *da capo*[19]: «Купите, мои милостивцы, купите, мои родимые, купите, мои голубчики!» — В другой раз кто-то заметил Адел<аиде> Ант<оновне>, что в расхваливаемом ею рукодельице ее приятельницы есть много чужого, принадлежащего искусству другой художницы. Ах, как тогда разворчалась Адел<аида> Ант<оновна>!.. Вот что она говорила: «Что вы, что вы, злые люди! мастерство дорогой моей Александры Сергеевны лучше всех защитников отвечает за себя своими красотами!.. Если чем она и занялась от других, то сими хищениями удачно, с искусством, ей свойственным, украсила превосходное свое рукоделье!» В третий раз при выставке одной старой работы, которая была уже известна, Адел<аида> Ант<оновна> восклицала: «Добрые люди! глядите и пересматривайте с восхищением это поновленное ру коделье дорогой моей кумушки Александры Сергеевны. Человек, не лишенный чувства изящного, не устанет смотреть на подобные вещи, как охотник до жемчугу пересматривать богатое ожерелье. В каждый новый раз удовольствие усугубляется, потому что все более и более убеждаешься в неподдельной красоте этой драгоценности. Дорогая моя кумушка Александра Сергеевна достигла в этой вещи до неподражаемой зрелости искусства и во многих местах обнаружила истинное дарование, с большим блеском впоследствии развившееся в двух других ее рукодельях (NB. из коих одно, по словам Адел<аиды> Ант<оновны>, хотя и за пять лет пред сим сделано, но кроме ее, Адел<аиды> Ант<оновны>, и дорогой ее кумушки, знаменитой художницы Алекс<андры> Серг<еевны>, едва ли и двум еще христианским душам известно; следственно, неведомое для всех можно превозносить до nec plus ultra[20]. Кто будет спорить о том, чего не знает? — Уловка мастерская! — Хитра же Адел<аида> Антоновна! Честь ей и слава! — Vive 1'amitie![21])».

Из всего вышеписанного читатели ясно видят (впрочем, они давно уже знали это и без сего указания), что Адел<аида> Ант<оновна> большая художница в искусстве расхваливать рукоделье своих приятельниц. Мы люди беспристрастные и скажем, что одна из них, о которой говорено выше, Алекс<андра> Сергеев<на>, действительно *была прежде* из лучших мастериц в своем роде, но, начав лениться, стала рукодельничать плохо, думая, что покупатели не разглядят

истинного достоинства новой ее работы, которая по-прежнему будет сходить с рук удачно. Но вышло совсем иначе. Между тем в последствии времени появились новые молодые художницы, которые и первыми опытами своего искусства поселили во всех приятную и несомненную надежду, что они в скором времени если не перещеголяют Алек<сандру> Сергеев<ну>, то по крайней мере войдут в счастливое с нею соперничество. Разумеется, что это произвело роковой удар для сей последней, которая, быв *сама* чрезвычайно убеждена в превосходстве своего дарования, самолюбивее в этом отношении всякой кокетки. Из числа сих грядущих соперниц Александ<ры> Сергеев<ны> можно отличить противу прочих Людмилу Ивановну, родом киевлянку; жаль, что прозвание ее забыто мною, но оно, если не ошибаюсь, припоминает что-то о прекрасной Подолии. Людмила Иван<овна> недавно представила публике одно весьма милое произведение своего искусства, которое только что попалось в руки Адел<аиды> Ант<оновны>, то сделалось жертвою своевольных ее причуд: она по силе такого-то § устава, утвержденного при заключении ею с своими приятельницами заветного союза, изгрызла зубами и исцарапала ногтями миленькое рукоделье Людм<илы> Иван<овны>. Это бы ничего, ибо Адел<аида> Ант<оновна> сердита, а не сильна, следственно, не может сделать никому вреда; но жаль только то, что некоторые другие магазинщицы, торгующие в Москве, не зная истинной причины такого поступка Адел<аиды> Ант<оновны>, почли оный основательным и, может быть, поленясь сами хорошенько разглядеть новую работу Людм<илы> Иван<овны>, распустили о ней неблагоприятные слухи в своих магазинах, основываясь, по-видимому, на мнении Адел<аиды> Ант<оновны>.

Северный Меркурий. 1830. Т. 1. № 49

Под именем Аделаиды Антоновны Габенихтсиной, недавно открывшей свой магазин, автор имеет ввиду Антона Антоновича Дельвига, приступившего к изданию «Литературной газеты»; Людмила Ивановна из Киева — поэт Андрей Иванович Подолинский, родившийся в Киеве, а имя Александры Сергеевны не требует расшифровки (*Ред.*).

«Евгений Онегин», роман в стихах, сочинение Александра Пушкина

Есть пословица: *куй железо, пока горячо;* если бы талантливый А. С. Пушкин постоянно держался этой пословицы, он не так бы скоро проиграл в мнении читающей публики и, может быть, еще до сих пор *не спал бы с голосу.* Написавши «Руслана и Людмилу», прекрасную маленькую поэму, он вдруг вошел, как говорится, в славу, которая росла с каждым новым произведением сладкогласного певца до самой «Полтавы»; с «Полтавою» она, не скажем, пала, но *оселась* и с тех пор уже не подымается вверх. Что далее будет, неизвестно; но последнее произведение Музы А<лександра> С<ергеевича> — *седьмая глава «Евгения Онегина»,* предвещает мало добра. — Если бы знал А<лександр> С<ергеевич>, с какою горестию произнесли мы этот приговор!!! Творец «Руслана и Людмилы» обещал так много, а исполнил?.. Он еще в полном цвете лет; он мог подарить нас произведением зрелым, блистательным, и — подарил *седьмою главою* «Онегина», которая ни содержанием, ни языком не блистательна.

В 7-ю главу «Онегина» втиснут почти целый год романических происшествий, но в этих происшествиях вы почти никакого действия не найдете. С самого начала описывается весна, и описывается не отлично:

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще *прозрачные* леса
Как будто *пухом зеленеют.*
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины *сохнут* и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

Во II и III-м стансе поэт говорит о себе самом; таких отступлений у него много и в первых шести главах. III-й станс

ярко бросается в глаза своею *логическою* и *словесною* пестротою, а потому мы и не можем не выписать его.

III

Или не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы *увяданье* наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли нам приходит,
Средь поэтического сна,
Иная старая весна,
И в трепет сердце *нам* приводит
Мечтой о дальней стороне,
О чудной ночи, о луне…

Далее сочинитель романа приглашает в деревню на весну добрых ленивцев, эпикурейцев-мудрецов, равнодушных счастливцев, агрономов, деревенских Приамов (?), чувствительных дам и читателя:

И вы, читатель благосклонный,
В своей коляске *выписной (?),*
Оставьте *град неугомонный.*
Где веселились вы зимой;
С моею музой своенравной
Пойдемте слушать шум дубравной

туда, где еще недавно жил Евгений;

Но где его теперь уж нет…
Где грустный он оставил след.

Вы думаете, что сочинитель в самом деле поведет вас прямо в деревню Онегина? извините! *своенравная* муза его даст прежде изрядный крюк и поведет вас по проселкам прежде к памятнику Ленского, где

…Седой и хилый
Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет.

За этим вслед, по-байроновски, поставит:

VIII. IX. X;

потом выдаст Ольгу замуж за улана:

Улан *увлек* ее вниманье,
Улан умел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить,
Улан любим ее душою…

XII

И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
Улан, своей невольник доли,
Был должен ехать с нею в полк.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, с дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была,
Но Таня плакать не могла…

После этого сочинитель, как сами изволите видеть, намерен занять вас положением Татьяны:

Нигде, ни в чем ей нет отрад,
И облегченья не находит
Она подавленным слезам —
И сердце рвется пополам.

XIV

И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,

И об Онегине далеком

(наконец дошло дело и до Онегина)

Ей сердце громче говорит.
Она его *не будет* видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб… но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.

Теперь просим покорно вперед — за Татьяною, или, что все равно, за *своенравною* музою нашего поэта, в деревню Онегина. Однажды, вечером,

в поле чистом
Луны при свете серебристом
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна,

и куда бы, вы думали, пришла? в дом Онегина. Это немного неприлично, но так угодно было поэту — живописцу русских нравов.

И входит (Татьяна) *на пустынный двор.*
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки *разогнали псов,*
Взяв барышню под свой покров.

Как бы то ни было, но *барышня* была в комнатах Онегина, все там видела, выпросила позволение ходить на *пустынный двор,* на котором встретили ее собаки и семья ребят, и читать в бариновом кабинете книги. — Эта прогулка продолжалась до самой зимы. Пришла зима, Татьяну привезли в Москву; а что было с нею в Москве — читатели наши сами знают из «Московского вестника» и «Северной пчелы».

Нужно ли сказывать, как бедно содержание 7-й главы

«Онегина»? Но содержание в сторону; оно почти во всех произведениях г-на Пушкина не богато; самый язык, на котором основана слава певца «Бахчисарайского фонтана», в «Онегине», особенно в разбираемой нами главе, не выдержит не только строгой, но даже и снисходительной критики; во многих стихах мы не узнаем Пушкина; есть целые тирады, которые не понравятся любителям изящного; за образчиками далеко ходить не для чего. Чтобы не упрекнули нас в излишней привязчивости и пристрастии, выписываем сряду несколько стихов:

Вот Север, тучи нагоняя.
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.

XXX

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз; и рады мы
Проказам матушки зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани,
Нейдет она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Омыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.

XXXI

Отъезда день давно просрочен,
Приходит и последний срок.
Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,

Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.
И вот в избе между слугами
Поднялся шум, прощальный плач:
Ведут на двор осьмнадцать кляч,

XXXII

В возок боярский их впрягают,
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают,
Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатой.
Сбежалась челядь у ворот
Прощаться с барами. И вот
Уселись, и возок почтенный,
Скользя ползет за ворота,
«Простите, милые места!
Прости, приют уединенный!
Увижу ль вас?..» И слез ручей
У Тани льется из очей!

Стихи, которые сами себя рекомендуют с невыгодной стороны, напечатаны курсивом для того, чтобы не утомить читателей наших подробным объяснением, почему именно каждый стих не хорош. Насчет недостатков, замеченных нами в стихотворном языке г-на Пушкина, мы могли бы сказать многое, так, напр<имер>, он неудачно соединяет слова простонародные с славянскими; часто употребляет неточные выражения, неправильные метафоры; многие стихи у него не стихи, но проза, заостренная рифмою, которая часто заставляет его повторять одну и ту же мысль; — но боимся оскорбить многочисленных почитателей поэта, любимца публики.

Но неужели во всей VII-й главе «Онегина» нет ничего хорошего? скажет кто-нибудь. Мы этого не говорим: есть места, в которых виден еще Пушкин, но этих мест очень мало. Более всего понравился нам станс:

LII

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою своею,
Как величавая луна
Средь жен и дев блестит одна;
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!..
Но полно, полно; перестань:
Ты заплатил безумству дань.

Галатея. 1830. ч. 13. № 14

Ф. В. Булгарин
Анекдот

Путешественники гневаются на нашу старую Англию (Old England), что чернь в ней невежливо обходится с иноземцами и вместо бранных слов употребляет название иноземного народа. Но подобные невежды есть везде, и даже в классе людей, имеющих притязания на образованность. Tous les Gascons ne sont pas en Gascogne![22] — Известно, что в просвещенной Франции иноземцы, занимающиеся словесностью, пользуются особенным уважением туземцев. Мальте-Брун, Деппинг, Гофман и другие служат тому примером. Надлежало иметь исключение из правила, и появился какой-то французский стихотворец, который, долго морочив публику передразниванием Байрона и Шиллера (хотя не понимал их в подлиннике), наконец упал в общем мнении, от стихов хватился за критику и разбранил новое сочинение Гофмана самым бесстыдным образом. Чтоб уронить Гофмана в мнении французов, злой человек упрекнул автора, что он не природный француз и представляет в комедиях своих странности французов с умыслом, для возвышения своих земляков, немцев. Гофман вместо ответа на ложное обвинение и невежественный упрек напечатал к одному почтенному французскому литератору письмо следующего содержания: «Дорожа вашим мнением, спрашиваю у вас, кто достоин более уважения из двух писателей: перед вами предстают на суд, во-первых, природный француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова — род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно исступленным в басне Пильпая, бросающим камнями в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; который марает белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на крапленых листах, и у которого одно господствующее чувство — суетность. Во-вторых, иноземец, который во всю жизнь не изменял ни правилам своим, ни характеру, был и есть верен долгу и чести, любил свое отечество до присоединения оного к Франции и после присоединения любит вместе с Францией; который за гостеприимство заплатил Франции собственною кровью на поле

битв, а ныне платит ей дань жертвою своего ума, чувствований и пламенным желанием видеть ее славною, великою, очищенною от всех моральных недугов; который пишет только то, что готов сказать каждому в глаза, и говорит, что рад напечатать. Решите, м<илостивый> г<осударь>, кто достоин более уважения». На сие французский литератор отвечал следующее: «В семье не без урода. Трудитесь на поле нашей словесности и не обращайте внимания на пасущихся животных, потребных для удобрения почвы. Пристрастная критика есть материял удобрения; но этот материял, согнивая, не заражает ни зерна, ни плода, а, напротив, утучняет ниву». — Утешься, Джон-Буль! Не ты один бросаешь камнями и грязью в добрых иноземцев. *(Из англ<ийского> журнала).*

Северная пчела. 1830. № 30

Ф. В. Булгарин
«Евгений Онегин», роман в стихах, глава VII. Сочинение Александра Пушкина

Как стих без мысли в песне модной Дорога зимняя гладка.

«Евг<ений> Онегин», глава VII, стр. 35

В № 3 «Москов<ского> телеграфа» на сей 1830 год (на стр. 356 и 357) объяснено нынешнее состояние общего мнения в литературе и, между прочим, сказано: «Ныне требуют от писателей не одной подписи *знаменитого* имени, но достоинства внутреннего и изящества внешнего». — Справедливо! Медленное траурное шествие «Литературной газеты» и холодный прием, оказанный публикою поэме *«Полтава»* (о которой так остроумно сказано было в № 2 «Вестника Европы» на стр. 164, служат ясным доказательством, что очарование имен исчезло. И в самом деле, можно ли требовать внимания публики к таким произведениям, какова, например, глава VII «Евгения Онегина»? Мы сперва подумали, что это мистификация, просто шутка или пародия, и не прежде уверились, что эта глава VII есть произведение сочинителя «Руслана и Людмилы», пока книгопродавцы нас не убедили в этом. Эта глава VII — два маленькие печатные листика — испещрена такими стихами и балагурством, что в сравнении с ними даже «Евгений Вельский» кажется чем-то похожим на дело. Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения! Совершенное падение, chute complete![23]

Итак, надежды наши исчезли! Мы думали, что автор «Руслана и Людмилы» устремился за Кавказ, чтоб напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, — и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять «Онегин», бледный, слабый… Сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину! — Читатели наши

спросят: какое же содержание этой VII главы в 57 страничек? Стихи «Онегина» увлекают нас и заставляют отвечать стихами на этот вопрос:

Ну как рассеять горе Тани?
Вот как: посадят деву в сани
И повезут из милых мест
В Москву на ярмонку невест!
Мать плачется, скучает дочка:
Конец *седьмой главе* — и точка!

Точно так, любезные читатели, все содержание этой главы в том, что Таню везут в Москву из деревни! Все вводные и вставные части, все посторонние описания так ничтожны, что нам верить не хочется, чтоб можно было *печатать* такие мелочи! Разумеется, что как в предыдущих главах, так и в этой автор часто говорит о себе, о своей скуке, *томленье,* о своей мертвой душе (см. стр. 9, стих 3), которой все кажется темно, и проч. Великий Байрон уж так утомил нас всеми этими выходками, что мы сами чувствуем невольное *томление,* слыша беспрерывное повторение одного и того же. Глава начинается описанием весны (старая песня), которою наслаждаться поэт выкликает из города поименно разные лица. Между прочим является новое сословие. Поэт кличет:

Вы, школы Левшина птенцы,
Вы, деревенские Приамы!

Что такое птенцы школы Левшина? Для этого в конце книги находится объяснение следующего содержания: «Левшин, автор многих сочинений по части хозяйственной». Что мы узнали из этого объяснения? Левшин писал и о лошадях, и об овцах, и о курах. Не это ли птенцы? Не их ли вызывают на пир весны? Не догадываемся! А кто таковы деревенские Приамы? Где деревенская Троя? Где ее Гомер? Объяснения нет — и мы отвечать не можем. Думаем, однако ж, что *Приамы* находятся в стихе для рифмы: *дамы.* Далее поэт выкликает своего *благосклонного* читателя оставить город *неугомонный* в своей коляске *выписной,* город, где этот читатель, по словам поэта, веселился всю зиму с музой *своенравной* певца «Онегина»! Уж подлинно своенравная муза!

На стр. 13 мы с величайшим наслаждением находим две пропущенные самим автором строфы, а вместо их две прекрасные

римские цифры VIII и IX. Как это мило, как это пестрит поэму и заставляет читателя мечтать, догадываться о *небывалом*! Это производит полный драматический эффект, и мы благодарим за сие поэта!

После двух пропущенных строф, в строфе X, вас уведомляют, что Олинька, за которую убит Ленский, вышла замуж за улана. Об нем никто не грустит, и очень хорошо. Сам поэт говорит:

На что грустить?

Ныне грустят *так,* из ничего, а о смерти друзей не беспокоятся. И дельно. Вслед за этим описание вечера:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.

Вот является новое действующее лицо на сцену: жук! Мы расскажем читателю о его подвигах, когда дочитаемся до этого. Может быть, хоть он обнаружит какой-нибудь характер.

При тихом журчании вод и жужжании жука Таня идет в поле, видит перед собой господский дом и входит в него: это дом Онегина. Ей показывают опустелые комнаты любовника, где она находит кий, *отдыхающий* на биллиарде, манежный *хлыстик,* а в кабинете портрет лорда Байрона (вероятно, для того, чтоб читатель помнил, с чем должно сравнивать «Онегина»), чугунную куклу и сочинения Байрона:

Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно,
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Стихи эти весьма замечательны. Правду сказать, что это весьма жалкое понятие о современном человеке, — но что делать? Покоримся судьбе!

Таня начинает раздумывать о своем любовнике, об Онегине, и хочет догадаться, кто он таков:

Что ж он? Ужели *подражанье,*
Ничтожный *призрак,* иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?
Уж не пародия ли он?

О том, что Онегин есть неудачное подражание Чайльд-Гарольду и Дон-Жуану, давно уже объявлено было в русских журналах.

Наконец везут Таню в Москву. Вот пиитическое описание, a la Byron[24], выезда.

Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.

Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенья в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.

Мы никогда не думали, чтоб сии предметы могли составлять прелесть поэзии и чтоб картина горшков и кастрюль et cetera была так приманчива. Наконец поехали! Поэт уведомляет читателя, что:

На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают.

Подъезжают к Москве.

Тут автор забывает о Тане и вспоминает о незабвенном 1812 годе. Внимание читателя напрягается; он готов простить поэту все прежнее пустословие за несколько высоких порывов; слушает первый приступ, когда поэт вспоминает, что Москва не пошла на поклон к Наполеону, радуется, намеревается благодарить поэта, но вдруг исчезает очарованье. Одна строфа мелькнула — и опять то же! Читатель ожидает восторга при воззрении на Кремль, на древние главы храмов Божиих; думает, что ему укажут славные памятники сего *славянского Рима,* — не тут-то было. Вот в каком

виде представляется Москва воображению нашего поэта:

Прощай, свидетель *падшей* (?) славы (?????),
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо бутки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

Начинается описание московской жизни и общества. Здесь поэт взял обильную дань из «Горя от ума» и, просим не прогневаться, из другой известной книги. Из «Горя от ума» являются архивные юноши и дранье за уши Хлестовой, тот же французик из Бордо, тот же шпиц, тот же клуба член исправный, тот же глухой князь Тугоуховский, тот же муж, Платон Михайлович, и, словом, много всего, весьма много кое-чего в перифразах.

Мы, по крайней мере, надеялись найти в «Онегине» тон большого света, о котором нам толкуют беспрерывно в альманачных обозрениях словесности; но что же мы видим? Московские барышни

Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы.

Потом:

Взбивают кудри ей по моде.

А на бале:

Друг другу тетушки мигнули,
И локтем Таню враз толкнули.

В целой главе VII нет блестящих стихов, *прежних* стихов автора, исключая двух строф XXXVI и XXXVII, которые очень хороши. Две строфы в целой книге! Зато стихов прозаических и *непонятно-модных* бездна, и все описания состоят только из наименования вещей, из которых состоит предмет, без всякого распорядка слов. Например, что значит:

Развозят Таню каждый день,
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.

Развозят *рассеянную лень*! Что это за стихи:

И близ *него ее* заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.

Мы полагали, что в описании бала поэт возлетит воображением. Но это то же поименование предметов без всякого порядка, как в описании Москвы и в выезде Тани из деревни.

Ее привозят и в собранье.
Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч *блистанье (?!),*
Мельканье (?!), вихорь быстрых пар (?!),
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг,
*Все чувства поражает вдруг.***(!!!)**
Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И *невнимательный* лорнет (?!);
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, *прогреметь (?),*
Блеснуть, пленить и улететь.

Больно и жалко, но должно сказать правду. Мы видели с радостью подоблачный полет певца «Руслана и Людмилы» и теперь с сожалением видим печальный поход его «Онегина», тихим шагом по большой дороге нашей словесности.

Северная пчела. 1830. № 35

Н. А. Полевой (?). Эпиграмма

(на голос: *Мое собранье насекомых)*

На ниве бедной и бесплодной
Российской прозы и стихов
Я, сын поэзии холодной.
Вам набрал травок и цветов;
В тиски хохочущей сатиры
Я их когтями положил,
И резким звуком смелой лиры
Их описал и иссушил.
Вот *Чайлъд-Гарольдия* смешная;
Вот *Дон-Жуания* моя;
Вот *Дидеротия* блажная;
Вот *русской белены* семья;
Пырей Ливонии удалый,
И *афинский* наш *чертополох,*
И *мак Германии* завялый,
И *древних эллинов горох.*
Всё, всё рядком в моих листочках
Разложено, положено,
И эпиграммы в легких строчках
На смех другим обречено!

Обезьянин. Московский Телеграф. 1830. ч. 32. № 8

Ф. В. Булгарин. Предок и потомки [25] (Сатирическая повесть)

Глава VII. Русский книжный магазин

Молитва облегчила грусть Сергея Свистушкина, и он вздохнул свободнее. Вышед на улицу, антикварий сказал ему:

— Не угодно ли завернуть в лавку, где продаются книги? Там узнаем мы, где жилище вашего внука.

— Пожалуй! любопытно посмотреть на книги. Я, бывало, любил проводить время в монастырских книгохранилищах. Посмотрим, что-то написано о наших временах!

Они вошли в лавку или в магазин. Уже было около 6 часов вечера, и запах рому слышен был в лавке, вероятно, для предупреждения гнилости и для истребления неприятного запаха от сырой бумаги. В лавке было два торговца, из которых один казался хозяином, а другой слугою, хотя между ими было что-то общее. Тот, который казался слугою, беспрестанно смотрел на своего товарища (вроде господина) и передразнивал все его ухватки. Если первый улыбался, то и другой делал то же; первый кланялся, и другой гнулся; первый бежал за книгами, и другой спешил туда же. Это припоминало несколько Дон-Кишота с его Санхо-Пансой.

— Сядьте и отдохните, Сергей Сергеевич, — сказал антикварий, — вы устали, и я также.

Хозяин лавки, почитая Свистушкина богатым иногородним купцом, пришедшим покупать книги для пожертвования какому-нибудь училищу, чтоб приобресть медаль, поспешил подать ему стул. Товарищ его хотел предупредить его, и они так жестоко стукнулись лбами, что раздался стук, как от удара двух спелых арбузов. Сергей Свистушкин охнул и примолвил:

— Видно, крепколобого десятка.

— Есть ли у вас сочинения Никандра Семеновича Свистушкина? — спросил антикварий.

— Как не быть! есть-с, — отвечал хозяин.

— Есть-с! — примолвил его товарищ, бросился к полкам и принес целую кипу тоненьких книжонок.

Сергей Свистушкин взял в руки одну книжонку, развернул ее и остановился:

— Что это? Разве это по-русски напечатано? — спросил он у антиквария.

— Это гражданские буквы, изобретенные при царе Петре Алексеевиче, — отвечал антикварий. — Старинные буквы употребляются только для печатания церковных книг.

При сих словах книгопродавцы, думая, что Сергей Свистушкин безграмотный, но богатый купец, удвоили к нему внимание, ибо книгопродавцы весьма уважают безграмотных покупщиков, которым могут сбывать с рук залежалые книги своего издания, писанные на заказ по рублю за лист, а продаваемые по десяти и более рублей. Хозяин сделал гримасу, означающую улыбку, и с поклоном сказал:

— Прекраснейшая книга-с! славного, знаменитого и модного сочинителя-с!

— Прекраснейшая книга-с! — повторил его товарищ, также кланяясь и улыбаясь.

— Прочти-ка заглавие, разумная голова! — сказал С. Свистушкин, подавая книгу антикварию.

— «Воры», поэма; сочинение Никандра Свистушкина, в стихах.

— Что ты говоришь? Мой потомок пишет о ворах! Разве он служит в Сыскном приказе?

Книжники посмотрели друг на друга в недоумении и не знали, что отвечать.

— Это выдумка, сказка, — сказал антикварий.

— В наше время так няньки, дядьки и холопы слагали сказки, а ныне, видно, дворянским сынам нечего делать, когда они взялись за это ремесло. Я никогда не воображал, чтоб мой потомок попал в сказочники!

— Сказки не равны, Сергей Сергеевич! — возразил антикварий. — От старинных сказок ничего не требовалось, кроме того, чтоб связать кое-как выдуманное происшествие. А ныне от сказки, называемой по-гречески поэмой, требуется гладких стихов, силы воображения, картин, списанных с природы, познания человеческого сердца, глубокой нравственности, философии…

— Перестань, умная голова! — сказал Сергей Свистушкин, — зачем столько мудрости, чтоб описывать житье-бытье *воров*? Стоит ли умному человеку ломать себе голову, чтоб узнать то, что известно каждому тюремщику! Ты морочишь меня.

— Нет, я говорю правду, Сергей Сергеевич. Здесь дело не о ворах, а об искусстве в рассказе. Один знаменитый немецкий стихотворец, по имени Шиллер, прославился, написав трагедию, или, как в ваше время называли, *комедь, о разбойниках, так* и наши пустились тем же путем. Это мода, обычай века, чтоб описывать и выводить на показ все, что есть худого в мире: воров,

убийц, бездушных изменников, бешеных, словом, всякого рода злодеев.

— Хорош обычай! Уж лучше бы описывать каких-нибудь витязей, хоть вымышленных, каковы, например, Полкан-богатырь, Бова Королевич и тому подобные.

— Вот другое сочинение вашего потомка, под заглавием *«Жиды»*… — сказал антикварий, развертывая книгу.

— Ну их к черту! — возразил Сергей Свистушкин. — Этакой проказник, мой потомок! Я думаю, что он скоро доберется до чертей.

— Вот-с, прекраснейшие-с стихи-с, столь же знаменитого поэта-с, как и Никандр Семенович Свистушкин-с, — сказал книгопродавец с улыбкою, подавая несколько томов. — Здесь более чертей-с, нежели в самом аду-с, и столько мертвецов-с, что не поместятся на всех наших кладбищах-с! Прекраснейшие книги-с!

— Прекрасная книга-с! — примолвил товарищ хозяина, также улыбаясь.

— Отвяжитесь вы от меня, греховодники! — сказал с гневом Сергей Свистушкин и встал со стула.

— Вы не любите-с чертовщины-с, — сказал книгопродавец. — Жаль, а это и в моде, и доставляет великую славу и уважение-с. Не угодно ли-с?

— Чертовщина доставляет славу и уважение! Да вы с ума сошли! — сказал С. Свистушкин.

— Вот идиллии, эклоги, стансы-с… — сказал книжник.

— Вот идиллии, эклоги, стансы-с, — промолвил товарищ хозяина. — Сочинитель пишет в древнем вкусе-с.

Сергей Свистушкин не удостоил ответом книжников и, посматривая на полки, спросил:

— Неужели все это русские книги?

— Никак нет-с. Русских книг есть гораздо более, нежели сколько их здесь видите-с, — отвечал хозяин. — Но если что прикажете, я тотчас пошлю в другие лавки.

Товарищ хозяина тотчас бросился к дверям и, держась за ручку замка, сказал:

— Что прикажете? сей час принесу!

— А ты сам пишешь ли книги? — спросил Сергей Свистушкин.

— Это не наше дело, — сказал книжник.

— Итак, ты торгуешь чужим умом, чужим трудом и чужим добром! — промолвил Сергей Свистушкин. — Видно, за то не много и барыша!

— Очень-с немного! за чужой товар я получаю *только* по

двадцати копеек с рубля.

— Только! за это *только* надобно было бы подержать тебя на правеже! Ты, брат, как я вижу, не жнешь, не сеешь, а хлебец собираешь! Это что за книжонки?

— Детские, в пользу воспитания юношества, но прикажете ли-с?

— А кто их пишет? Верно, отцы семейств, люди занимавшиеся воспитанием юношества!

— Никак нет-с. Отцы семейств и наставники покупают-с, а сочиняет кто попало, большею частью молодые люди, на заказ.

— Посечь бы этих ребят за то, что пишут для детей, едва вышед из детства, и тех, которые заказывают! — сказал Сергей Свистушкин. — Это что за кипы тоненьких книжонок и листов?

— Журналы и газеты-с. Не угодно ли подписаться-с?

— А что такое… как бишь их? журчалы, что ли, и глазеты?

Книгопродавцы и антикварий улыбнулись, и сей последний сказал:

— Журналы, суть книжки, выходящие в известные сроки. Издатели их обязуются помещать новые небольшие сочинения и разбирать, то есть оценять по достоинству, отдельно выходящие книги.

— Так, стало быть, эти издатели умнее и опытнее других в книжном деле? — спросил Сергей Свистушкин.

— Так быть должно, но, по несчастью, по большей части дело идет напротив. Судят и рядят те, которые не могут и не умеют написать трех строк порядочно, а осуждают тех, которые их умнее.

— У вас, как я вижу, все идет наоборот! А *глазеты* что такое?

— В них извещают о всех происшествиях, случившихся в целом мире, — отвечал антикварий.

— Вот это славно! И что ж, обо всем пишут правду?

— Не всегда. Иногда умалчивают о том, что знать всем должно, а извещают о том, чего знать вовсе не нужно, и представляют вещи не так, как они есть, а как надобно, чтоб было. Иногда и выдумывают небылицы…

— Что за чудеса, все идет наперекор здравому смыслу! Это что за книги?

— История российская-с! Превосходнейшая-с! не угодно ли-с?

— То есть летописи и хронографы, пересказанные другими словами, украшенные вымыслами, рассуждениями, или распространенные по воле сочинителя, по надобности и по духу времени, — сказал антикварий.

— Так, стало быть, те же сказки! — примолвил Сергей Свистушкин. — Ну, а это что за книги?

— Землеописание Российского государства-с! Не угодно ли-с? прекраснейшая-с книга-с!

— А справедливо ли все описано?

— В этом нельзя поручиться, — отвечал антикварий. — Сочинители, описывая страну, сами не ездят по ней, не мерят, не считают, не поверяют, не наблюдают, а извлекают известия из разных старых и новых книг, составленных также по слухам, и прибавляют все, что им кажется справедливым. От того выходит, что часто жители какого-нибудь города читают, что про них пишут, да посмеиваются, находя совсем противное на бумаге тому, что есть на деле!

— Так какая же из этого польза? те же сказки! — примолвил Сергей Свистушкин. — Ну, брат, охотники вы до сказок, и не мудрено, что вы мои похождения назвали сказкою! Странное дело ваше просвещение! Намереваетесь делать одно, а делаете другое; знаете сами, что пишете ложь, а принимаете за правду, и вместо того, чтоб прославлять великих мужей, описываете воров и негодяев! — Пойдем, брат, отсюда; здесь потеряешь ум, а не научишься ничему доброму. Однако ж я зайду к тебе на досуге и выберу кое-что для себя, чтоб посмеяться…

— Милости просим-с! — сказал книгопродавец с поклоном и улыбкою.

— Милости просим-с! — повторил его товарищ, также кланяясь и улыбаясь.

— А где живет Никандр Семенович Свистушкин? — спросил антикварий.

— Недалеко отсюда. Но вы его не найдете теперь дома; теперь такое время, что он сидит где-нибудь, в кругу своих знаменитых друзей, и принимает дань удивления и похвал. Поезжайте к его закадычному другу, барону Шнапсу фон Габенихтсу. Он получил сегодня за треть жалованье: так, верно, у него происходит жертвоприношение трем божествам вечно-юных поэтов: Вакху, Лени и Свободе. Барон Шнапс фон Габенихтс живет за Конной, в доме Запивошкина.

— Неужели ваши писцы идолопоклонники? — спросил Сергей Свистушкин. — Я боюсь за моего потомка.

— Не бойтесь: жертва не есть еще вера, — возразил антикварий.

Антикварий с бывшим стольником вышли из лавки, наняли крытые дрожки и поехали к барону Шнапсу фон Габенихтсу.

Глава VIII. Заседание любимых сынов Аполлона, поклонников Вакха, Лени и Свободы

Антикварий с бывшим стольником вошли в ворота дома Запивошкина, чтоб спросить дворника о жилище барона Шнапса фон Габенихтса. Дворник указал им на окна третьего этажа, под которыми лежала куча обломков бутылок, и повел их по узкой грязной лестнице. В передней они увидели остатки, или *барельефы,* пиршества: обороченные жестяные судки, соленые огурцы на промокной бумаге, которою наделяют покупателей в мелочных лавочках, соль, рассыпанную на столе, квас в умывальнике и т. п. — Вошед в первую и последнюю комнату барона Шнапса фон Габенихтса, они увидели собрание… (листы рукописи затеряны, а когда найдутся, то будут напечатаны в новом издании, в 1930 году).

Бывший стольник царя Алексея Михайловича так испугался своего потомка, что, воспользовавшись замешательством вакхической беседы, бросился за двери и, сбежав с лестницы, пустился во всю прыть по улице.

Антикварий догнал его и удержал за руку:

— Что с вами сделалось, Сергей Сергеевич? Неужели вы испугались деревянного кинжала в руках вашего потомка? — Бывший стольник молчал и только пыхтел. Антикварий продолжал: — Напрасно вы испугались, Сергей Сергеевич! Ваш потомок и его товарищи, право, в существе, добрые ребята и вовсе не опасны. Винные пары и угар от самолюбия перевернули мозг в их голове, и тщеславие заглушило все другие чувствования. Они сами не знают, чего хотят и что делают! Вопят противу всего в чаду винного упоения; помахивают деревянными кинжалами и грозят бумажными перунами негодования, а на деле лижут прах ног каждого сильного, из одной надежды получить что-либо, и ради обеда прославляют в посланиях блистательных шутов. Ей-богу, они только смешны, достойны сожаления, но вовсе не опасны с своими кинжалами и перунами! Я бы советовал вам взять вашего потомка к себе на дом и запереть на некоторое время, чтоб разлучить с его демоном соблазнителем, с его друзьями, а может быть, вам удалось бы исправить…

— Да перестань! — воскликнул с досадой Сергей Свистушкин. — Что ты меня морочишь! Какой это потомок мой? Это маленькое зубастое и когтистое животное, не человек, а обезьяна! В этом ты не переуверишь меня, хоть божись, хоть клянись! Пускай себе она хоть утонет в вине… я знать не хочу!

Сочинения Фаддея Булгарина. СПб. 1830. ч. 12

Из газеты «Северный Меркурий». Несчастный поэт

Один известный поэт был не весьма пригож собою, отчего все женщины не совсем его жаловали: он имел большие серые глаза, рот, занимавший все пространство от одного уха до другого, отвислые губы, длинный нос, загнутый книзу, и рыжеватые бакенбарты. Все это придавало ему вид непривлекательный, притом же, несмотря на его пиитический ум и *душу,* голос его вовсе не был звучен и трогателен, а ближе походил на скрып немазанных колес. Однако ж вопреки своей наружности он влюблялся во всех женщин, которые, как мы уже сказали, платили ему хладнокровием. Однажды, после тщетных его преследований некоторой особы и потеряв всю надежду победить ее непреклонность, в отчаянии вскричал он: «Да полюбите меня, сударыня, по крайней мере за мой ум!» — «Я вас и люблю за ум, но только *умом*!» — отвечала она хладнокровно. — В эту минуту вошел стройный высокий молодой человек, и поэт отгадал в нем, кого любила *сердцем* N — Несчастный, удаляясь в бешенстве, проклинал любовь и красоту; но, вероятно, более сетовал на свое безобразие. Вскоре после того он получил от той же особы письмо, наполненное нежнейшими выражениями, где между прочим упоминалось, что она готова его любить как Элоиза Абеларда! — Оскорбленный поэт в отмщение ей написал сатирическую повесть в стихах, в которой неосторожно изобразил собственное свое приключение.

Северный Меркурий. 1830. Т. 2. № 138

М. А. Бестужев-Рюмин

Уже несколько лет неутомимая молва о *трагедии* г. Пушкина «Борис Годунов» переносила из уст в уста блистательные ей хвалы. Некоторые писатели, для коих издается некоторая газета, решительно утверждали, что подобного творения не было еще от сотворения мира или, по крайней мере, от всемирного потопа; и что прапрапрапрапраправнуки наши, прочитав оное, всплеснут руками от удивления

И молвят: то-то был поэт!

Но вот что чудно: несколько лет все твердили о неисчислимых достоинствах такого сочинения, которого решительно никто не видал (в этом случае под словом *никто* мы разумеем и самого автора), не только читал. Злые же люди утверждают наверное, что до весны 1830 года не было налицо более трех небольших отрывков сего произведения; в полноте же будто бы оно существовало только в воображении автора; и что сей последний, приняв во внимание, что предполагаемое им произведение уже расхваливается несколько лет, наконец решился положить оное на бумагу: присел и написал!

Хотя не всякому слуху надобно верить, но по каким-то особенно основательным причинам мы заключаем, что все вышеизложенное якобы справедливо. Что ж касается до скорости времени, в которое, как говорят, будто бы написан «Борис Годунов», то мы в сем обстоятельстве не имеем ни малейшего сомнения: хотя и утверждают, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, но мы уверены, что Александр Сергеевич Пушкин так же скоро пишет стихи, как мы читаем оные. Это мнение мы основываем на собственных его словах:

Стишки для *нас* одна забава;
Немножко стоит *мне* присесть,
И разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть:
Поэма, говорят, готова!

Наконец «Борис Годунов» явился!..
Имея честь поздравить почтеннейшую публику с выходом

сего давно ожидаемого творения, считаем обязанностию донести, что мы решаемся читать оное не иначе, как по десяти страниц на день, руководствуясь в сем случае известною пословицею: *хорошего понемногу!* Чтение это начнем с 1 сего января; по прочтении немедленно изложим мысли наши о достоинстве «Бориса Годунова» и постараемся изобразить в полноте то впечатление, которое будет в нас произведено.

Между тем мы не можем не донести нашим читателям о следующем странном происшествии. Некто в большом обществе, прочитав новое произведение, покачал головою, всплеснул руками и пропел следующий куплетец:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел,
И стих его незвучен,
И гений охладел.
Бориса Годунова
Он выпустил в народ:
Убогая обнова,
Увы! на Новый год!..

После чего все грянули хором:

Убогая обнова,
Увы! на Новый год!.. (bis.)
Honni soit qui mal y pense![26]

Северный Меркурий. 1831. Т. 3. № 2

В. Н. Олин. «Борис Годунов» Сочин<ение> А. Пушкина

Sage nicht was du weist, sondern wisse was du sagst[27].

Мы нисколько не остановимся на том, как назвать сие сочинение: наименовать ли его диалогическою или драматическою поэмою, историческою ли драмою, романтическою ли трагедиею и проч.; ибо название не может вредить сущности дела, точно так же как и улучшить оной, поелику не гениальность извлекается из правил, но правила из гениальности. Обязавшись быть беспристрастными и решительно не придерживаться смешных партий, ибо литература наша, к несчастию, имеет некоторым образом свой Йоркский и Ланкастерский домы, свою белую и красную розу, мы скажем откровенно и добросовестно наше мнение, не услащая краев лекарственного сосуда и не усыпая цветами, из малодушия, колючих игл истины.

Нам кажется, что это новое произведение г. Пушкина есть совершенное *ребячество,* или, говоря другими словами, *школьная шалость,* достойная исправления. Мы бы охотно помирились даже на том, если бы ее по крайней мере можно было назвать хотя *своенравною;* но сей эпитет менее всего ей приличен. Здесь г. Пушкин, так как и во всех своих поэмах лирических, кои суть сколки с Байрона (за исключением «Руслана и Людмилы»), опять по-прежнему поэт подражательный[28]. Планируя сию разбираемую нами драму, он некоторым образом имел в виду, если смеем так выразиться, *фантастическую оригинальность* Гете, но успех или силы не оправдали сего предположения. Он хотел отчасти, по примеру сего последнего, отпраздновать свою вакханалию романтическую — и это-то самое послужило для него камнем преткновения опасного. В «Борисе Годунове» нет решительно консепции поэтической, не упоминая уже о гениальности; нет той жизненной силы, той энергии электрической, которая насильно господствует над умами читателей. По прочтении сей драмы не остается ничего ни в памяти мыслей, ни в памяти сердца. Это мозаик, неудачно слепленный; это собрание нескольких холодных исторических сцен, веденных опрометчиво, без дара творить, без искусства пользоваться положениями, и заключающих в рамках своих, подобно новейшей мелодраме, шестнадцать лет событий и продолжения времени. Одним словом, «Борис Годунов» никогда не будет, несмотря на фимиам и кадило «Литературной газеты»,

блестящим цветком романтической драматургии: как далеко до этого! — Характеры все вообще слабы и едва обрисованы. Самозванец в диалоге с Мариною Мнишек фальшив, смешон и даже, говоря попросту, глуп; ибо какая ему предстояла надобность открываться этой панне, что он не царевич, а черноризец-расстрига, самозванец, бродяга и проч.? Борис вял, бесцветен; одним словом, это не Годунов. Сцена, в которой выведен Маржерет, доказывает более сродное человеку желание *перенимать,* чем своенравие оригинальное, и скорее *смешна,* чем нова и эффектна. Но это частности; мы хотели только указать на целое.

Рассматривать версификацию и судить об осуществлении самой консепции суть две вещи совершенно между собой различные. Насчет сей последней мы уже изложили свое мнение; что же касается до поэтики г. Пушкина в «Борисе Годунове», она, так как и во всех его произведениях, свободна, верна, благозвучна, грациозна и благородна, и одна только, может быть, искупает слабость идеи, за исключением некоторых стихов (и фраз прозаических), а именно:

Пострел, окаянный!

Это говорит патриарх!!
Прииде грех велий на языцы земнии.

Языцы или языки (язычники) должны быть необходимо *земные,* ибо небесных нет. Слово *языцы,* в смысле библейском, означает именно все народы, за исключением одного только израильского. Следовательно, честный инок *Варлаам* немного сбился в своей диалектике.

Ух, тяжело!.. *дай дух переведу.*

Речь, приличная какому-нибудь простолюдину, но не в устах царя.

Или это *дрожь желаний напряженных?*

Неприятно и даже *безвкусно.* Зачем делать такую излишнюю доверенность своим читателям?

Он из любви со мною *проболтался.*

Низко и слишком разговорно. Невзирая на блистательные похвалы *преуспеяния,* изъявляемые поэту в «Литературной газете», обращающей внимание читателей при литургическом разборе «Годунова» на какую-то *важную простоту,* скажем откровенно, что подобные простоты уж чересчур просты и неуместны. Простота грациозная заключается не в словах, не в обнаженных фразах, но в свободном и непринужденном излиянии чувств и мыслей.

> Я видел, как сегодня в *гущу* боя
> Он врезался.

Есть гуща пивная, квасная и проч.; но густоту или сгущение заменять *гущею* никак невозможно. Употребление — тиран языка; и если слово, в уме читателей, хоть сколько-нибудь может иметь свою смешную сторону, прочь, прочь его скорее, замените сейчас же другим. Никогда не должно казаться смешным.

Ограничимся сими выписками и скажем в заключение, что счастие уже в 1829-м году изменило г. Пушкину под *Полтавою,* а поэтическая звезда его закатилась совершенно с появлением на литературном горизонте «Бориса Годунова». Мы бы желали, из уважения к таланту г. Пушкина, чтобы эта *паралитическая фантазия* никогда не была им написана: от него ожидали больше, и мы не узнали в ней блистательного поэта некоторых глав «Онегина». Ужели сей ключ поэзии, кипевший столь прекрасно при своем истоке, иссяк так быстро? Нет, в истинном поэте воображение никогда не гаснет, сердце не стынет; они только могут быть усыплены на время, чтобы вспыхнуть с новыми силами: сии два источника вдохновенной поэзии вечны и неиссякаемы.

Чувствуем, что статья сия легко может навлечь на нас раздражительный гнев некоторых безотчетливых приверженцев; но до людей безотчетливых, не имеющих мнения собственного, нам нет никакой надобности. Держа нейтралитет, мы готовы всегда хвалить хорошее и порицать худое. Наконец, да никто не оскорбится за правду!

Колокольчик. 1831. № 6

Ф. В. Булгарин
Петербургские записки. Письма из Петербурга в Москву к В. А. У. II
Фрагмент

‹…› Горе публике, если она обнаружит к чему-либо свою любовь! Сперва нас душили журналами, потом закидали альманахами, потом пятирублевыми поэмами, а теперь душат не на живот, а на смерть романами и повестями! Одному автору посчастливилось в каком-нибудь роде, и вот пошли бесконечные подражания и подражания подражаниям! Бедные подражатели не умеют рассудить, что не род сочинения, но талант автора имел успех и что принадлежность таланта есть избрание рода по своим силам и по вкусу публики. — Умалчивая о журналах, возьмем, в пример, поэмы А. С. Пушкина. «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Кавказский пленник» имели блистательный и заслуженный успех, а все подражания сим поэмам не стоят и одного самого дурного стиха Пушкина!

Несколько оригинальных романов и повестей имели успех, и вот перья заскрипели, и все грамотные, полуграмотные и безграмотные пустились писать и кропать романы и повести. Увидите, что это тем же кончится, как с подражаниями поэмам Пушкина, с журналами и альманахами!

Сперва подражатели бейроничали, теперь вальтер-скотничествуют с важностью, которая так смешна, что я не умею даже выразить этого! Вальтер Скотт прославился под вымышленными именами, которые наконец слились в прозвании *великого незнакомца,* le grand inconnu. И у нас начали с этого!!! — Автор скрывает свое имя под вымышленным прозванием и просит приятелей своих объявлять великую тайну на каждой почтовой станции, а журналистам позволяет *догадываться* и в догадках произносить свое настоящее имя. ‹…›

«Читали ли вы „Повести Ивана Петровича Белкина“? — Прочтите: это chef-d’oeuvre[29], совершенство, прелесть, чудо!» Вот что говорили мне *некоторые* литераторы по возвращении моем в столицу. Прочел в один вечер и не нашел ни чуда, ни совершенства, ни chef-d’oeuvre, но несколько анекдотцев (из коих некоторые давно известны), рассказанных весьма приятно, языком правильным и слогом во многих местах чрезвычайно живым. Лучшая пьеса — «Выстрел». Тут есть характер в лице незнакомца. Улыбнулся я однажды только, за обедом у сапожника

(в повести «Гробовщик»), где автор говорит, что из чиновников был один только *будочник*! Забавно! Для сердца очень мало в этих повестях, и я думаю, что ни одна чувствительная дама не выронила и полслезинки. Но всё вместе очень мило, хотя, по моему мнению, эти рассказы не определяют еще степени дарования, ибо в них нет главного — *вымысла.* Приятно рассказывать и писать гладко обязан, по должности, ex professo[30], каждый, кто имеет притязание на звание литератора, ибо это азбука в литературе. Но вымысел, цель, философия — другое дело! Основной идеи нет в «Повестях Ивана Петровича Белкина». Прочтешь точно так, как съешь конфект — и забыл! А повести Бальзака, например, хватают за сердце и приводят в движение всю мыслящую силу. Есть и у нас превосходные повести! Просим заглянуть в «Сына отечества» на сей 1831 год. В них всё: и мысль, и вымысел, и рассказ. ‹…›

Северная пчела. 1831. № 280, 9 декабря

Из журнала «Телескоп» «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» СПб., 1831

Любители легкого, занимательного чтения не могут в нынешнем году пожаловаться на недостаток в приятной для себя пище. Не говоря о прекрасно переведенных повестях Цшокке и произведениях лучших новых романистов, также очень хорошо нам переданных, сколько оригинальных русских повестей было напечатано во всех русских журналах, — повестей, ни в чем не уступающих иностранным! Мы говорили уже о сказках Рудого Пасичника близь Диканьки. Теперь с таким же удовольствием скажем несколько слов о «Повестях Ивана Петровича Белкина».

Они отличаются, кроме легкого живого слога, истиною и каким-то особенным бесстрастием, которое граничит иногда даже с холодностью *г. Булгарина. Г. Белкин* как будто не принимал ни малейшего участия в своих героях и к каждой повести приговаривает: «Кажется, так было, а впрочем, мне дела нет». — Но, подметив многое в сердце человеческом, он умеет при случае взволновать читателей, возбуждать и щекотать любопытство, не прибегая ни к каким вычурам. Читая его повести, иногда задумаешься, иногда рассмеешься, и сии движения бывают тем приятнее, что причины их всегда неожиданны, хотя и естественны; и вот в чем заключается талант автора.

Письмо об нем, помещенное в начале книжки, очень хорошо, выдержано в тоне и дышит добродушием и искренностию некоторых наших провинциальных помещиков, но чуть ли оно не лишнее. Мы не узнаем из него ничего об *г. Белкине* такого, что могло бы объяснить нам его взгляд на вещи и нужно было бы для читателя, начинающего читать его повести, а наружность его и образ жизни совсем не интересны.

Первое место между новыми повестями занимает «Выстрел». Мы не станем излагать ее содержание, предполагая, что все наши читатели прочли уже повести. Но вот вопрос: каким образом Сильвио, который сначала не хотел убить своего врага потому только, что сей последний равнодушно ожидал смерти, который несколько лет питался одною мыслию о мщении и при самолюбивейшем характере сносил жесточайшие оскорбления от других, который, услышав, что его враг женится и, следовательно, дорожит жизнию, «стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке», и поехал с твердым намерением расплатиться с ним выстрелом в самую счастливую минуту его жизни, — каким

образом Сильвио мог отважиться на новый жеребей, предоставить случаю свое сладостнейшее чувство? — Ну если б граф попал в него, что было очень легко? — Неужели в будущих угрызениях графской совести мертвый Сильвио нашел бы себе услаждение? — И за что совесть стала бы упрекать графа? — Граф дал Сильвио пощечину в ответ на его непростительную грубость; за это он стал под его ударом; наконец, в другой раз, женатый, также не уклонился от него: какое же удовлетворение можно сделать больше; и почему не воспользоваться было счастием, по собственному предложению противника? — Сильвио был очень рад, что убедил графа на этот выстрел: «Я заставил тебя выстрелить по мне, — говорил он (с. 34), — с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». — Сам граф, рассказывая происшествие, как будто раскаивался в этом выстреле: «Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить… но я выстрелил». — Не постигаем, в чем состояла важность этого выстрела. Странным также кажется, что Сильвио после таких приготовлений удовольствовался отвлеченным минутным мщением: «я видел твое смятение, твою робость». — Но между тем, кончив повесть, все думаешь о странном Сильвио и о благородном графе и беспокоишься о графине; смотришь на простреленную картину и удивляешься меткости: следовательно, цель искусства достигнута. Заметим еще, что речь отставного офицера, рассказывающего повесть, во втором отделении, с беспрестанным повторением: «ваше сиятельство», — утомительна; притом этот офицер выставлен в первом отделении как человек образованный. Также, в первом отделении, офицеры, равно как и рассказчик, столько были уверены в искусстве Сильвио, что его поступок с оскорбителем не могли приписать трусости, а разве великодушию или просто почитать его непонятным. — К чему еще эта подробность, что Сильвио не отдавал книг, взятых на прочтение? К чему описание жизни отставного офицера в деревне? — Правда, зато сильно описано равнодушие графа, жажда мщения Сильвио. — Какие верные черты (эпиграммы острее и неожиданнее; ему — любимцу счастия; и проч.)!

В «Метели» очень искусно прервано повествование о побеге дочери и другое, об известии, которое узнал несчастный жених. С каким приятным удивлением после страшного его плутанья, ожидая, что с невестою, убежавшею с вечера из дома родительского, случилось еще большее несчастие, а в отеческом доме поднялась ужасная тревога, вдруг читаем (с. 54): «Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что у них делается. А ничего! — Старики проснулись и вышли в

гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны (дочери), каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сей час придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой». Что все это значит? — думает читатель, а автор очень ловко отложил объяснение до последнего почти слова в повести.

«Гробовщик» в роде Гофмановом очень забавен. Увидев во сне всех перехороненных им мертвецов, которых он накануне хотел пьяный позвать к себе на пирушку, в досаде на обиду, нанесенную у соседа немца, он ужасно встревожился. Так живо представлялись они его воображению, что он, проснувшись, был уверен в действительном свидании с ними. «Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночного приключения». — Та, разумеется, тотчас вывела его из сомнения.

> «— Что ты, батюшка, не с ума ли ты спятил, али хмель вчерашний у тебя не прошел! Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю да спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили!
>
> — Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.
>
> — Вестимо так, — отвечала работница.
>
> — Ну коли так, давай скорее чаю да позови дочерей».

Здесь особенно хорош бутошник Юрко и речь пьяного гробовщика с самим собою: «Ей-богу позову и на завтрешний же день» (с. 87). Заметим неправильности против русского быту: на таком обеде, где бутошник бывает в гостях, засмоленных бутылок не откупоривают и полушампанское не льется рекою. Немец не позовет к себе обедать только что переехавшего соседа. Работница не подаст гробовщику халата, а он возьмет его сам, если только халат будет у него. Точно так же и чай был, верно, на руках дочерей. «Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». Глагол «жить» очень смешон, но эта речь не может быть сказана немцем.

«Станционному смотрителю» многие отдают преимущество пред всеми прочими повестями. Точно — здесь многие черты схвачены с природы. Как хорош при втором свидании пасмурный смотритель, в молчании записывающий подорожную и

начинающий рассказывать свои несчастия после пунша. Вот речь его офицеру, соблазнившему его дочь: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость… Ваше высокоблагородие! Что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню» (с. 121). Смотритель, вышед от своего злодея, «сжал бумажки в комок» (которые тот насильно засунул ему за рукав), «бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел… Отошед несколько шагов, он установился, подумал… и воротился… но ассигнаций уже не было» с. 122). «Отчего он умер?» — «Спился, батюшка». Заметим неестественность. Как могла допустить Дуня, чтоб ее любовник вытолкал ее любимого отца из комнаты (с. 126), или, по крайней мере, как не постаралась она после уладить дело и утешить огорченного старика? Такое жестокосердие невозможно! — Старик хотел только жить с нею вместе и не искал того, что упало с возу. — Ну что ж! разве он не мог остаться в Петербурге? Общее рассуждение о станционных смотрителях хорошо, но нейдет к делу.

«Барышня крестьянка» рассказана забавно, но как молодой Берестов мог влюбиться со второго раза в крестьянку или, еще мудренее, в барышню, которая притворялась крестьянкою? — Как в первое свидание он не узнал этой крестьянки в барышне, хотя переряженной?

Теперь заметим некоторые неправильности или, лучше, небрежности грамматические.

«Сильвио был *слишком* умен и опытен, чтобы этого не заметить» (с. 9). Это галлицизм, нетерпимый русским языком (trop — pour). По-русски надо сказать: Сильвио был столько умен, что не мог не заметить, и проч.

«Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках». Деепричастие должно всегда относиться к тому ж предмету, как и глагол, и здесь выходит, что жизнь имела право выбрать оружие. Должно бы сказать: имея право выбрать оружие, я имел жизнь в своих руках, или употребить другой оборот.

Нельзя также сказать: «пробегая письмо, глаза его сверкали» (с. 10). Но: глаза его сверкали, как он пробегал письмо. Разве глагол «пробегая» автор относил к глазам.

«Быв приятель покойному родителю» нельзя сказать, а должно: быв приятелем, как и сам автор говорит в других местах, напр<имер>: «не будучи военным» (с. 2).

«Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили» (с. 10). — Едва ли можно?

«Минской хлопнул ему двери под нос» (с. 123). Галлицизм.

«По соседству деревни» (вместо: по соседству с деревнею);

«память одного» (с. 103) (вместо: память об одном); «управление села» (вместо: управление селом); «недостаток смелости» (вместо: недостатка в смелости); «и прибавил долготы дней» (с. 22) (вместо: долготы ко дням); нельзя также сказать: «как воспоминание вас» (с. 67) (а «об вас»).

«Он советовал нам отнестись к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу» с. VI). Здесь нехорошо, хотя и правильно, собрание дательных: «мужу», «Ивану»; а лучше б: бывшему другом Ивана Петровича.

Иногда встречается по нескольку творительных, из которых одно управляет другим.

Наконец, остается нам сказать об эпиграфах. Они большею частию неудачны, напр<имер>, к «Выстрелу»: *«Стрелялись мы. Баратынский».*

Телескоп. 1831. ч. 6. № 21 (Автор не установлен).

Н. Полевой
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина», изданные А. П
СПб. 1831 г., в т<ипографии> Плюшара, in 12, XVII и 187 стр

Вот также пять маленьких *сказочек,* которые напечатал г-н А. П., почитая их *занимательными,* вероятно, не для детей, а для взрослых.

Помнится, в «Северной пчеле» было сказано несколько слов о забавном подражании наших литераторов нынешней моде французской и английской. Во Франции и Англии выдают ныне книги наполовину без подписи имен или с подложными именами сочинителей. И у нас стали делать то же: являются беспрестанно *анонимы* и *псевдонимы.* Но что у англичан и французов происходит от избытка силы, то у нас пустое обезьянство. Многие сочинители наши могут подписывать и не подписывать имена свои и все-таки останутся anonymes dans les deux cas[31] (по выражению А. де Виньи). Этот *И. П. Белкин,* этот издатель сочинений его, который подписывается буквами А. П. и о котором в объявлении книгопродавцев говорят как о *славном нашем поэте,* походят ли они на дитя, закрывшее лицо руками и думающее, что его не увидят?

Впрочем, буквы А. П. были необходимы в другом отношении: без этого никто и не заметил бы «Повестей Белкина». Теперь, по крайней мере, их прочитали.

Кажется, сочинителю хотелось испытать: можно ли увлечь внимание читателя рассказами, в которых не было бы никаких фигурных украшении ни в подробностях рассказа, ни в слоге и никакого романизма в содержании (принимаем здесь слово *романизм* как *умоизвитие,* в чем, по уверению наших риторов, заключается сущность романа).

Дарования В. Ирвинга в наше время, кажется, решили уже этот вопрос. Но знал ли г-н Белкин, что это верх силы дарования огромного? Эта мнимая простота показывает Геркулеса, без всякого усилия, шутя ломающего огромные деревья.

Возьмите какую-нибудь В. Ирвингову повесть. Педант, школьный учитель, влюбился в девушку; любовник красавицы пугает педанта мертвецами и заставляет бежать. Англичанин, съехавшись в дороге с молодою венециянкою, спасает ее от разбойников. Вот содержание двух повестей. Что может быть

этого проще? В рассказе той и другой повести нет ни риторических фигур, ни нечаянностей, ни блесток. Но в этом-то отсутствии шумихи содержания и слога заключается высокое искусство. Всего более показал сию степень, если можно так сказать, *безыскусственного искусства* В. Ирвинг в тех рассказах, где вовсе нет у него никакой завязки. Читайте его «Растерзанное сердце», свидание с В. Скоттом, воронов и ворон — неподражаемо! И. П. Белкину явно хотелось попасть в колею В. Ирвинга. Но как «Евгений Онегин» далек от «Дон Жуана», так «Повести Белкина» далеки от созданий В. Ирвинга.

Лучшею из всех «Повестей Белкина» нам показалась «Станционный смотритель». В ней есть несколько мест, показывающих знание человеческого сердца. Забавна и шутка, названная «Гробовщик». Зато в повестях «Выстрел», «Метель» и «Барышня-крестьянка» нет даже никакой вероятности, ни поэтической, ни романтической. Это фарсы, затянутые в корсете простоты без всякого милосердия.

Московский Телеграф. 1831. ч. 42. № 22

«Стихотворения Александра Пушкина». Третья часть

Сказав, что мелкие стихотворения Пушкина в настоящее время не возбуждают восторга, как бывало то прежде, мы, кажется, повторим известное всякому наблюдателю словесности русской. Еще более: стихотворения сии ныне встречает холодность, и слава богу, когда дело оканчивается одним равнодушием! Так нет! в публике нашей заметна еще какая-то неприязнь к ним, какое-то желание унижать произведения поэта, прежде столь любимого, недавнего идола всей русской молодежи и лучшего гостя русских журналов. Событие неоспоримо; надобно исследовать причины оного, и это-то хотим мы исполнить по случаю издания третьей части «Стихотворений» Пушкина.

Что бы могло породить такую холодность и неприязнь к прежнему любимцу и полубогу? Какое сближение звезд, какие колдования, какие сглазы отвели от Пушкина сердце этой ветреницы публики? Благодаря всегдашним неудачам астрологии и магии мы не ищем ныне в их областях разгадки явлений непостижимых, так же как не станем наводить зеркала критики на тусклый месяц общественного мнения, когда видим, что его задернуло какое-то мимолетное облачко. Не в переменившемся общественном мнении надобно искать причин холодности к Пушкину, а в самом поэте. Излишество холодности, доходящее до неприязни, понятно для всякого, кому известно, что самым неумолимым врагом бывает прежний друг, самым ужасным существом — прежняя властительница души и сердца и самым злым насмешником — человек, прежде не знавший границ своему удивлению. Зачем вы обманули их доверчивость? Зачем разрушили связь, казалось, завязанную самим Провидением? Зачем, наконец, обличили их мнимую близорукость, несметливость, непредусмотрительность? Тут негодуют и за издержанные чувствования, и за разрушенное очарование, и за оскорбленное самолюбие.

Но если переменилось мнение публики, то сама она осталась прежнею, или, скажем вместе с верующими вечному закону улучшения, она стала совершеннее опытностью, сведениями и новыми сподвижниками на чистом поле просвещения, более способными судить о том, что принадлежит им собственно, ибо принадлежит их времени. Если надобно дорожить мнением публики о делах общественных, то еще более мнением молодого поколения публики. А дорожить мнением общественным должно

потому, что оно всегда бывает сообразно требованиям времени, ибо и время, и требования проявляются только обществом. Иначе проповедуйте дубам и березам и окружным жителям их, добрым медведям и скромным воронам, которые все еще живут в Адамовом времени.

Публика выражает своею холодностью к Пушкину только то, что он уже не сообразен с ее требованиями. Она никогда не говорит *как* и *почему;* она представляет вам событие; рассматривайте и догадывайтесь сами. Посмотрим и постараемся угадать, что на уме у нее.

И гармонические напевы, и легкость, прелесть стихосложения, и обычная сила в борьбе с упрямым нашим языком не изменились в бывшем любимце нашей публики. Это доказал он недавними большими стихотворениями своими: 8-ю главою «Онегина», «Моцартом и Сальери», «Пиром во время чумы». Но мы говорим о его произведениях лирических. Находя и в них все исчисленные нами качества наружные, мы видим, однако ж, большую перемену внутреннюю в самом поэте. В ней заключается и причина размолвки его с публикою. Объяснить это не трудно, если обратимся к сущности лирической поэзии.

Не входя в метафизические исследования, можно сказать утвердительно, что лирическая поэзия есть удел немногих сильных и мгновенно воспламеняемых душ. Поэт эпический и драматический может и должен носить долго в себе идею, прежде нежели он выразит ее; он должен быть постоянен в самом труде и притом одушевляться, сосредоточиваться всею силою воображения своего в своей идее. Напротив, поэт лирический живет вдохновением мимолетным, мгновенным. Голова его горит и сердце бьется часы, а не годы. Но при этом внезапном одушевлении он должен иметь богатый запас постоянной силы, должен неизменно иметь всегда одинакое одушевление. Мир внешний и внутренний в его власти, но власть сия повинуется законам непременным. Дико и непонятно было бы видеть Пиндара, воспевающего ручейки и цветочки, Тибулла, разящего эпиграммою порок. Горация, проповедующего умеренность, Ювенала, льстящего знатности и богатству. У каждого из сих поэтов было свое вдохновение, свой образ воззрения, свой восторг. Это-то постоянство в их одушевлении и любим мы, ибо только при нем и остаются они истинными поэтами. Принужденная, напудренная, нарумяненная муза лучших французских поэтов XVII и XVIII столетий наказана невниманием и почти презрением потомства именно за то, что она никогда не была верною представительницею отзывов души.

Теперь спросим у самих себя: того ли Пушкина видим мы в

третьей части его «Стихотворений», того ли поэта, которого полюбила публика наша и которым восхищалась она, читая первые две части стихов его? Повторяем, что в наружной отделке он тот же: сладкозвучен, пленителен, игрив; но это не творец «Послания к Ч-ву», «Андрея Шенье», «Наполеона», «К морю», и проч. и проч. Направление его, взгляд его, самое одушевление совершенно изменились. Это не прежний задумчивый и грозный, сильный и пламенный выразитель дум и мечтаний своих ровесников — это нарядный, блестящий и умный светский человек, обладающий необыкновенным даром стихотворения. Взгляд на некоторые новые пьесы его убедит нас в том.

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома?
Ну, пошел же, погоняй!..

Какая холодная, бессердечная ирония! Читая это, думаешь, что перед глазами стихи А. Е. Измайлова. Таково же стихотворение «Калмычка».

Пример в другом роде:

Новоселье

Благословляю новоселье,
Куда домашний свой кумир
Ты перенес, а с ним веселье,
Свободный труд и сладкий мир.
Ты счастлив: ты свой домик малый,
Обычай мудрости храня,
От злых забот и лени вялой
Застраховал, как от огня.

Право, я не вижу тут ничего, кроме слов. Не сказав, *чем* застраховал неведомый мудрец домик свой, поэт лишил значения всю пьесу. Послание в 3-й части одно — «К вельможе». Это сочинение, вероятно, из тех, которые всего более повредили прежней славе поэта. Помещено и несколько подражаний древним, этих несчастных аномалий, столь ярко противоречивших самородному дарованию покойного Дельвига. Кто не улыбнется, например, прочитав следующее произведение Пушкина:

На перевод Илиады

Слышу *умолкнувший звук* божественной эллинской речи;
Старца великого *тень чую* смущенной душой.

И забавно, и досадно читать подобные ничтожности! Найдем ли мы хоть одно стихотворение Пушкина в первых двух частях, подобное этим, выписанным нами? Решительно нет. А ныне их встречается так много…

Впрочем, к утешению своему замечаем, что не все новейшие стихотворения его таковы. Священный огонь поэзии еще горит в душе поэта. Мелкие стихотворения, писанные им за Кавказом, и еще некоторые другие напоминают прежнего Пушкина. Особенно прекрасны «Делибаш», «Зима», «Поэту», «Ответ анониму», «Бесы», «Мадонна». Советуем обратить внимание на «Сказку о царе Салтане», где поэт подражал русской сказке. Об этом стихотворении мы скажем только то, что оно ниже своего образца и столько же походит на русскую сказку, сколько прежний Пушкин на нынешнего. Нам кажется, что самый род стихов, употребленный поэтом, избран неудачно. Такими стихами уже была написана сказка Н. А. Львова «Добрыня». Но размер сей нейдет к русской сказке: он, подобно размерам, избранным Радищевым в его «Бове» и Карамзиным в «Илье Муромце», не ладит с духом русских сказок. Для них надобно было бы обратиться к стихотворениям Кирши Данилова и у него поискать приличного размера.

Вот мысли, внушенные нам третьего частью «Стихотворений» Пушкина. Мы показали, отчего происходит холодность публики к новым его мелким сочинениям; прибавим, что даже отличные из сих последних не находят отзыва в душах и часто вовсе не нравятся. Этому причиной произвольный разрыв поэта с публикой; а после разрыва прежние друзья редко замечают хорошее один в другом и еще реже отдают оному справедливость.

Московский Телеграф. 1832. ч. 43. № 4 (Без подписи).

Н. И. Надеждин
Летописи отечественной литературы
Последняя глава «Евгения Онегина». Сочинение александра пушкина
Стихотворения Александра Пушкина. Третья часть
Стихотворения Виктора Теплякова

Уже текущий год, говоря народною русскою речью, *переломился* — и вот весь поэтический его приход, который можно отложить в сохранную казну воспоминания! Чудное дело! Неужели скудость поэтической производительности, оплаканная нами при обозрении истекшего года, должна оставаться неотъемлемым уделом нашей бедной словесности? Неужели сладкие надежды, коими украшали мы будущность, суть обманчивые призраки? И немногие страницы нашей слишком тощей библиографии должны ли наполняться одними жалкими, печальными иеремиадами?

К сожалению, по крайней мере на сей раз, жестокий опыт подтверждает, кажется, сии зловещие предчувствия. Из трех книжек, составляющих единственный поэтический плод целых шести месяцев литературной нашей жизни, только одна последняя может собственно назваться новостью. Две первые принадлежат поэту давно известному и заключают в себе стихотворения, также большею частию известные или вполне, или в отрывках. Но не одна количественная, численная так сказать, скудость новых поэтических произведений ужасает нас в итоге истекшего полугода. В самом внутреннем их достоинстве обнаруживается крайняя бедность поэтической жизни, нерадостная для патриотов русской словесности.

Было время, когда каждый стих *Пушкина* считался драгоценным приобретением, новым перлом нашей литературы. Какой общий, почти единодушный восторг приветствовал первые свежие плоды его счастливого таланта! Какие громозвучные рукоплескания встретили «Евгения Онегина» в колыбели! Можно было по всей справедливости применить к юному поэту горделивое изречение Цезаря: *пришел, увидел, победил!* Все преклонились пред ним до земли; все единогласно поднесли ему венец поэтического бессмертия. Усумниться в преждевременном апофеозе героя считалось литературным святотатством; и

несколько последних лет в историй нашей словесности по всем правам можно назвать эпохою *Пушкина.* Не будем оскорблять минувшее бесполезными истязаниями: что было, то было! Скажем более: имя *Пушкина* и без прихотливого каприза моды, коей был он любимым временщиком, имело бы все права на почетное место в нашей литературе: энтузиазм, им возбуждаемый, не был совершенно незаслуженный! Но теперь — какая удивительная перемена! Произведения *Пушкина* являются и проходят почти неприметно. Блистательная жизнь «Евгения Онегина», коего каждая глава, бывало, считалась эпохой, оканчивается почти насильственно, перескоком чрез целую главу, и это не производит никакого движения, не возбуждает никакого участия. *Третья часть* стихотворений *Пушкина,* обогащенная обширною сказкою в новом роде, которого гений его еще не испытывал, скромно, почти инкогнито, прокрадывается в газетных объявлениях, наряду с мелкою рухлядью цехового рифмоплетного рукоделья; и (о верх унижения!) между журнальными насекомыми «Северная пчела», ползавшаяся некогда пред любимым поэтом, чтобы поживиться от него хотя росинкой сладкого меду, теперь осмеливается жужжать ему в приветствие, что в последних стихотворениях своих — *Пушкин отжил!!!.. Sic* transit gloria mundi!..[32]

Что ж значит сия перемена?.. Приписать ли это внезапное охлаждение той же ветротленной прихотливости моды, которая прежде баловала так поэта, или видеть в нем добросовестное раскаяние вразумившегося беспристрастия?.. Вопрос сей должно решить внимательным рассмотрением последних произведений *Пушкина.*

Начнем с *последней главы «Онегина».* Признаемся откровенно, сия последняя глава показалась нам ничем не хуже первых. Та же прихотливая резвость вольного воображения, порхающего легкокрылым мотыльком по узорчатому, но бесплодному полю светской бездушной жизни; та же яркая пестрота красок и цветов, мелькающих подвижною калейдоскопическою мозаикой; то же беглое, но цепкое остроумие, везде оставляющее следы легкого юмористического угрызения; та же чистота и гладкость стиха, всюду льющегося тонкой хрустальной струею. Одним словом, мы нашли здесь продолжение той же пародии на жизнь, ветреной и легкомысленной, но вместе затейливой и остроумной, коей мы любовались от души в первых главах «Евгения». Посему, читая ее, мы не испытали никакого разочарования, не подверглись никакому неприятному впечатлению; и если иногда приходило нам в голову, что поэту, создавшему «Бориса Годунова», время б быть постепеннее, то мы оправдывали его необходимостью: надобно ж было кончить, что начато!.. Но, отдавая искренний

отчет в собственных наших чувствованиях, мы не думаем, чтоб их разделяло с нами общее мнение. Большинство публики в минуты первого упоения, обмороченное вероломными кликами шарлатанов, спекулировавших на общий энтузиазм к *Пушкину,* видело в «Онегине» какое-то необыкновенное чудо, долженствовавшее разродиться неслыханными последствиями. Оно думало читать в нем полную историю современного человечества, оправленную в роскошные поэтические рамы, ожидало найти в нем русского «Чайлд-Гарольда». И могло ли устоять долго это добродушное ослепление, когда откровенная искренность поэта сама его разрушала беспрестанно? Каждая новая глава «Онегина» яснее и яснее обнаруживала непритязательность *Пушкина* на исполинский замысел, ему приписываемый. С каждою новою строкою становилось очевиднее, что произведение сие было не что иное, как вольный плод досугов фантазии, поэтический альбом живых впечатлений таланта, играющего своим богатством. Напрасно самое пристрастное доброжелательство усиливалось отыскать в нем черты высшего эстетического значения. Его воздушная легкость ускользала от всех покушений приязненной критики, домогавшейся узаконить его в ранге художественного произведения, имеющего известные права и подчиненного известным условиям. «Евгений Онегин» не был и не назначался быть в самом деле *романом,* хотя имя сие, под которым он явился первоначально, осталось навсегда в его заглавии.

С самых первых глав можно было видеть, что он не имеет притязаний ни на единство содержания, ни на стройность изложения; что он освобождает себя от всех искусственных условий, коих критика вправе требовать от настоящего романа. В так называемом *романе Пушкина,* от начала до конца, мелькают, говоря его же словами:

Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.
И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.

(<гл.> VIII, с. 57)

Самое явление его, неопределенно-периодическими

выходками, с беспрестанными пропусками и скачками, показывает, что поэт не имел при *нем* ни цели, ни плана, а действовал по свободному внушению играющей фантазии. Смело можно было угадывать, что при первой главе «Онегина» Пушкин и не думал, как он кончится; и вот собственное его признание в *последней главе:*

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин *в смутном сне*
Явилися впервые мне —
И даль *свободного романа*
Я сквозь магический кристалл
Еще *не ясно* различал.

(<гл.> VIII, с. 50)

Но сие признание сделано уже слишком поздно. Оно не спасло откровенного поэта от мести тех, кои, думая видеть в мыльных пузырьках, пускаемых его затейливым воображением, роскошные огни высокой поэтической фантасмагории, наконец должны были признать себя жалко обманувшимися. Раздраженная толпа вымещает теперь свое прежнее чрезмерное ослепление несправедливой холодностью. *Последняя глава «Онегина»* наказывается незаслуженным пренебрежением, оттого что первым удалось возбудить восторг не совсем заслуженный. Сам поэт, без сомнения, это предчувствовал, ибо последнее прощание его с читателями, коим он заключает сию *последнюю главу,* растворено юмористическою едкостью, изобличающею тайное недовольство самим собой и представляющею разительную противуположность с тем разгульным одушевлением веселого самодовольствия, коим проникнуты первые главы «Онегина»:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты со мной
Здесь ни искал в строфах небрежных:
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай Бог, чтоб в этой книжке ты

Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости.

(<гл.> VIII, с. 48, 49)

Не знаем, как принято сие обращение другими: что ж касается до нас, то мы извлекли из него поучительное заключение, к чести поэта, но — не в добрую примету для нашей словесности. Явно, что *Пушкин* с благородным самоотвержением сознал наконец тщету и ничтожность поэтического суесловия, коим, увлекая других, не мог, конечно, и сам не увлекаться. Его созревший ум проник глубже и постиг вернее тайну поэзии: он увидел, что для гения — повторим давно сказанную остроту — не довольно создать *Евгения*… Но лучше ли от того нашей словесности?.. При ее крайнем убожестве, блестящая игрушка, подобная «Онегину», все, по крайней мере, наполняла собой ужасную ее пустоту. Видеть эту игрушку разбитою руками, ее устроившими, и не иметь, чем заменить ее, — еще грустнее, еще безотраднее.

Третья часть стихотворений *Пушкина* оставалась единственною опорою, к коей мы хотели приковать наши зыблющиеся надежды. Признаемся искренно, что в «Борисе Годунове» мы думали видеть рассвет нового периода художнической жизни поэта, от которого ожидали многого для нашей поэзии; и потому с жаром ухватились за собрание новых, последних его произведений, дабы найти в них приятное оправдание нашим мечтаниям. И, к сожалению, с тою же искренностию должны мы теперь сознаться, что мечтания сии оказались несбывшимися. Скажем наперед наш образ мыслей, который для иных может показаться странным: стихотворения мелкие мы считаем самыми важными документами для изучения постепенного образования художнической жизни поэта. В произведениях первой величины, бывающих обыкновенно плодом долговременного напряжения всех сил поэта, гений является, так сказать, в параде, затянутый во все формы искусственного приличия, какие только для него возможны; но мелкие стихотворения, вырывающиеся небрежно из души, в минуты поэтического наития, трепещут свободною, безыскусственною, неподдельною жизнию минуты, их породившей. Следовательно, в них собственно должно изучать внутреннюю историю поэта. Это особенно имеет силу в отношении к *Пушкину,* коего все произведения сколько-нибудь пообширнее (силы ль у него

недоставало иль терпения, не беремся здесь решать) никогда вполне не удавались. Кто хочет вызвать истинную глубину его таланта, тот должен вслушаться в его могучую беседу с морем или в вещую думу о Наполеоне. Посему-то, повторяем, мы особенно надеялись на *Третью часть* его стихотворений. Сия *Третья часть* содержит в себе произведения трех последних лет, с 1829 по 1831 год; и, признаемся, сии три года показались нам печальной лествицей ощутительного упадания поэта. Не то чтобы дарование *Пушкина* дряхлело и истощалось в силах: напротив, оно напрягается иногда до исполинского, заоблачного величия, как, н<а>п<ример,> в поэтической думе *о Казбеке,* принадлежащей 1829 году:

Высоко, над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться в вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..

Но, не оскудевая в силах, талант *Пушкина* ощутительно слабеет в силе, теряет живость и энергию, выдыхается. Его блестящее воображение еще не увяло, но осыпается цветами, лишающимися постепенно более и более своей прежней благовонной свежести. Напрасно привычным ухом вслушиваешься в знакомую мелодию его звуков: они не отзываются уже тою неподдельно-естественною, неистощимо-живою, безбоязненно-самоуверенною свободою, которая в прежних стихотворениях его увлекала за собой непреодолимым очарованием. Как будто резвые крылья, носившие прежде вольную фантазию поэта, опали; как будто тайный враждебный демон затянул и осадил рьяного коня его. И на что лучше свидетельства самого поэта? Послушаем собственного его признания, которое находится в той же *Третьей части.* Поэт обращается к цыганам, коих поэтическая жизнь вдохнула ему одно из прекраснейших его стихотворений.

Над лесистыми брегами,

В час вечерней тишины,
Шум и песни под шатрами,
И огни разложены.

Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы сам *в иное время*
Провожал сии шатры.

Завтра с первыми лучами
Ваш исчезнет вольный след,
Вы уйдете — но за вами
Не пойдет уж ваш поэт!

И действительно, в последних стихотворениях *Пушкина* то *иное* блаженное *время,* в которое вольная его фантазия кочевала самобытно в широком поле свободного вдохновения, едва мелькает в догорающих воспоминаниях. Сия потеря силы тем прискорбнее, что не сопровождается совершенною потерею сил в поэте. Талант его сохраняет еще свою деятельность и пытается всячески воспроизвесть себя. Он ощупывает все лады поэтического одушевления, дабы найти тон для нового периода своей художнической жизни: то подпираясь силой мысли, как в «Пире во время чумы» (с. 62–77), в «Моцарте и Сальери» (с. 89–99); то согреваясь огнем патриотического энтузиазма, как в лирическом воззвании к «Клеветникам России» (с. 119–122) или в праздновании «Бородинской годовщины» (с. 125–129). Но над ним сбываются вполне поэтические *приметы,* заключающие как бы нарочно сию *Третью часть* стихотворений, третий том жизни *Пушкина.* История его прошедших мечтаний и настоящего разочарования слишком выразительно обрисовывается сими двумя куплетами:

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с *правой* стороны
Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал *прочь: иные* сны…
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с *левой* стороны
Сопровождал меня уныло.

Наконец, по естественному ли закону кругообращения человеческой деятельности или по обдуманному расчету, основанному на воспоминании о прежних успехах, *Пушкин* возвратился опять на точку, с коей начал свое поприще, ухватился за струну, прозвучавшую впервые его славу. Он обратился к русской народной старине, в коей волшебной, прозрачной мгле разыгрались первые мечты его поэтической юности. Это новое покушение обратило на себя все наше внимание. Мы надеялись увидеть здесь первый шаг к тому обратному разрешению зрелого мужества в первобытную детскую простоту, к тому второму, искушенному, мудрому младенчеству, которое, по законам бытия, составляет последнюю ступень созрения жизни. Но, к прискорбию, мы нашли одно принужденное усилие, tour de force[33] могущественного, но безжизненного искусства. С одной стороны, нельзя согласиться, что сия новая попытка *Пушкина* об наруживает теснейшее знакомство с наружными формами старинной русской народности, но смысл и дух ее остается все еще тайною, не разгаданною поэтом. Отсюда все произведение носит на себе печать механической подделки под старину, а не — живой поэтической ее картины. Несмотря на искусный подбор слов и выражений в тоне русских народных сказок, в нем изобличаются беспрестанно следы новой работы. Гомерические повторения одних и тех же речей — кои в оригинальных преданиях старины пленяют своею естественною, младенческою наивностью — производят скуку, когда виден в них смысл подделывающегося искусства. Какое различие между «Русланом и Людмилой» и «Сказкою о царе Салтане»! Там, конечно, меньше истины, меньше верности и сходства с русской стариной в наружных формах, зато какой огонь, какое одушевление! Невольно забываешь все археологические притязания, чтобы любоваться прелестями свежей, роскошной поэзии. Здесь, напротив, одна сухая, мертвая работа — старинная пыль, из которой, с особенным попечением, выведены искусные узоры!.. Таким образом, в *Третьей части* стихотворений *Пушкина* мы увидели ряд неудачных попыток таланта, разочарованного в юношеских своих мечтах и не умеющего найти опоры для своих зрелых помыслов и вдохновений.

Какое ж общее заключение должно вывесть отсюда?.. Мы уже имели случай высказать, что доверенность наша к неистощенной полноте юной русской жизни, только что слегка завивающейся надеждами, предохраняет нас от совершенного отчаяния в деле поэзии, обнаруживаемого так громогласно современною французскою критикою. И там подобное отчаяние есть грех

против человеческой природы, коей творческая сила составляет наследственное, неотъемлемое достоинство: у нас оно было бы двойным преступлением. Франция уже пресытилась жизнию и напряженными чрез меру усилиями истощила пред собой всю перспективу будущности, заключившейся в горизонте обыкновенной предусмотрительности. Но мы еще только что начинаем жить: будущее наше еще не почато. Должно, однако, предполагать, что подобные черные мысли находят доступ и к нам: по крайней мере видно, что их боятся и берут против них меры. Так *«Стихотворения» Теплякова,* поэта нового, не покровительствуемого ни шумом наемной молвы, ни титлами благоприобретенного авторитета, являются в свет под оборонительной эгидой *предисловия,* которое заключает в себе нормальную апологию поэзии. Признаемся, нам приятно было встретить в этом *предисловии* ту же светлую, живую, несокрушимую веру в бессмертие поэзии, которое сами исповедуем. Сочинитель его с благородным негодованием восстает против тех, кои, твердя об *исполинских шагах* современного просвещения, ограничивают все его достоинство и весь отличительный характер стремлением к *физическому благосостоянию:* для него, как и для нас, поэзия есть лучший цвет человеческой жизни, венчающий ее полное развитие. Точно так же согласно с нами в настоящем бесплодии нашей поэтической производительности видит он не безнадежное истощение пресытившейся, одряхлевшей жизни, но младенчество, богатое девственною будущностию. ‹…› Новый поэт может продолжить для нас эпоху *Пушкина,* может наполнить более или менее яркими, искусственными блестками ужасную пустоту нашей словесности; но — не осеменит ее для новой, самобытной, самопроизводительной жизни!

Итак, вот что остается в итоге наших исследований. Поэзия наша решительно не двигается вперед, но, обращаясь в одном и том же круге, только что повторяет сама себя в более и более тускнеющих отражениях. Это, однако, не значит, чтобы внутренняя полнота жизни истощилась в недрах нашего отечества: она еще и не раскрывалась сама из себя. Доселе на всех поэтических наших усилиях господствовало вдохновение несамобытное, чужое, экзотическое: лучшие, блистательнейшие цветы нашей поэзии вырощены в оранжерейной атмосфере подражания. Мы еще не имели своей, русской, народной поэзии. У *Пушкина* были притязания на имя русского народного поэта, и он долго считался таковым; но его народность ограничивалась тесным кругом наших гостиных, где русская богатая природа вылощена подражательностью до совершенного безличия и

бездушия. Отсюда непрочность его успехов и славы. Но ничто не изобличает так ярко чужеземного, не русского вдохновения, господствующего в современной нашей поэзии, как стихотворения *г. Теплякова.* Поэт сам не хотел скрывать того. Каждое из его стихотворений носит, можно сказать, на лбу печать своего чужеземного происхождения: каждое начинается иностранным эпиграфом, заключающим в себе его главную тему. Обстоятельство, по-видимому, случайное, но имеющее глубокий смысл, подающее повод к важным преображениям! Значит, у поэта не доставало собственных оригинальных мотивов поэтического вдохновения, когда каждый его аккорд имел нужду в заимственном, чужеземном тексте. Что же должно заключить отсюда? То, что поэзии нашей не дождаться обновления, пока русский дух не обратится внутрь себя, не отыщет в самом себе источника новой, самобытной жизни!.. Но как приняться, как начать это великое дело?.. Европейские литературы возвращают теперь свою народность, обращаясь к своей старине. У нас это возможно ли? Таково ли наше прошедшее, чтобы восстановлением его можно было осеменить нашу будущность?.. Сей важный вопрос мы предоставляем себе разрешить впоследствии, когда дойдет очередь до тех произведений нашей словесности, кои под именем *романов* стремятся собственно и исключительно к поэтическому воссозданию старины русской.

Телескоп. 1832. ч. 9. № 9

«Борис Годунов». Сочинение Александра Пушкина. СПБ. 1831 г. in 8. 142 стр Фрагмент

‹…› Как мог Пушкин не понять поэзии той идеи, что история *не смеет утвердительно назвать Бориса цареубийцею?* Что недостоверно для истории, то достоверно для поэзии. И что мог извлечь Пушкин, изобразя в драме своей тяжкую судьбу человека, который не имеет ни сил, ни средств свергнуть с себя обвинение перед людьми и перед потомством! Клевета безвестная, глухо повторяемая народом, тлеет в душах аристократов, когда имя *Самозванца* отдается изредка в слухе Бориса (он знал об этом за пять лет явного похода Лжедимитрия). Над головою его умножаются бедствия; аристократия действует — легкий слух превращается в явный говор — Борис губит Романовых, преследует Шуйских — политика Польши обращается на Россию — и что казалось мечтою, делается всесокрушающею действительностью. Какое великое развитие тайн судьбы, какое обширное раздолье для раскрытия характеров, для изображения России, Польши, Бориса, Самозванца, аристократии, народа!

Все это утратил Пушкин, взяв идею Карамзина. Остроумно заметил критик «Европейца», что содержание драмы Пушкина составляет очищение преступления, наложенного на совесть Бориса убийством царственного игрока. Следовательно, вся драма Пушкина есть только исполнение приговора, уже подписанного Судьбою? Критик «Европейца» обращает это в особенную похвалу Пушкину. Мы поговорим далее, можно ли было на сей идее основать трагедию. Теперь посмотрим, как развил карамзинскую идею Пушкин.

Заметьте сначала, в какую нерешительность поставила она нашего поэта. Он создает *драму* — все видят это, и сам он знает, но он не смеет назвать ее драмою и говорит просто: «Борис Годунов». Это похоже на детскую игру — ребенок закрывает лицо руками и думает, что он спрятался. Пушкин и не делит драмы своей на действия: двадцать два сплошные явления заключают в себе события с февраля 1598-го до июня 1605-го года, в течение семи с лишком лет, начинаясь избранием Бориса на царство, заканчиваясь смертию сына Борисова и провозглашением царя Димитрия: новая странность; но в сторону мелочи — будем смотреть на что-нибудь поважнее.

Драма начинается разговором бояр Шуйского и Воротынского. Шуйский открывает своему собеседнику, что Борис

был убийцею Димитрия-царевича, и подсмеивается над упорством Бориса принять венец царский. — Объявление на Красной площади: еще раз собраться народу и снова идти отговаривать Бориса. — В третьей сцене является Борис, уже принявший престол, и клянется право править Россиею.

Промежуток — *пяти лет.* — Вводная сцена: Инок-летописец и Отрепьев, служка его, будущий Самозванец, еще робкий, еще не дерзающий на умысел, беседуют в келье Чудова монастыря. Сны, вещающие грядущее, тревожат юного служку. Инок подробно рассказывает ему повесть о убиении царевича, которой Отрепьев *не знал до тех пор*! Инок смело называет Годунова убийцею. ‹…›

Эпилог. Гонцы Самозванца являются в Москве, на лобном месте, уговаривают и возмущают народ. Толпы буйствуют, стремятся низвергнуть оратора. — Последняя сцена: Феодор, сестра и мать его в заключении; бояре идут к ним; слышны шум и вопль; бояре выходят и объявляют народу, что Феодор и мать его отравили себя ядом.

Если рассматривать сцены каждую отдельно, то большая часть из них прекрасны — некоторые особливо отделаны полно, мастерски. Таковы: инок Пимен и Самозванец; монахи на литовской границе; речь Патриарха в совете: Марина и Самозванец ночью в саду; битва под Новгородом Северским; Юродивый и обе сцены эпилога. Зато другие слабы, ничтожны; самая первая; также сцена, где Борис избирается на царство; та, где он потом грустит; сюда же отнесем пир у Шуйского и приход Шуйского к Борису после того; всего неестественнее сцена кончины Борисовой. Но такой отдельный разбор сцен будет всегда неопределителен и ни к чему не поведет. Притом, что одному нравится, то не нравится другому. Для примера, скажем, что мы видали многих, которые в восторге от сцены Курбского при переходе через границу, нам кажется, напротив, что это слишком натянуто, изысканно и не в духе времени. Другие осуждают сцену отречения, где Маржерет и Розен говорят по-французски и по-немецки; нам кажется, что ничего не может быть выразительнее и естественнее этой сцены. Не будем входить и в мелкую критику выражений. Все это, разбор явлений и слов, должно следовать за разбором основной идеи и развития, и когда сии две части неудовлетворительны, то красота подробностей плохая помога поэту; при удовлетворительности их мы готовы простить их частные ошибки и погрешности.

Не общее ли мнение всех есть то, что, когда вы прочитаете драму Пушкина, у вас остается в памяти множество чего-то хорошего, прекрасного, *им* несвязанного, в отрывках, так, что ни в

чем не можете вы дать себе полного отчета? Вот голос простого чувства всякого читателя. Входя критически в подробности, соображая целое и части, идею и исполнение, историю и драму, вы уверитесь, что все это совершенно справедливо и происходит:

1-е. От бедности идеи, которая не позволила поэту развить ни характеров, ни подробностей, когда драма живет только ими.

2-е. От несправедливого понятия об исторической или вообще романтической драме. Судя по драме Пушкина, все отличие ее от классической драмы состоит в бессвязной пестроте явлений и прыжках от одного предмета к другому. Но это неверно: романтическая драма имеет свои строгие правила и свой порядок действий, который, как замечает Девиньи, может быть, еще тяжелее классического. Мнимая легкость романтизма есть свобода, данная с условием — выкупить ее большею отчетливостью.

Мы уже говорили о том, как много потерял Пушкин, оставив самую поэтическую сторону жизни Годунова — неопределенность обвинения в смерти царевича. Забыв при этом истинную причину его падения и успехов Самозванца — буйную русскую аристократию, забыв и политические отношения Польши к России, — он, естественно, должен был потеряться в плане и развитии его. Если с первого явления нам сказали тайну Бориса, что сделалась вся драма Пушкина? Это «Le dernier jour d'un condamne» («Последний день приговоренного к смерти»)! Вместо того, чтобы из жребия Годунова извлечь ужасную борьбу человека с судьбою, — мы видим только приготовления его к казни и слышим только стон умирающего преступника.

Московский Телеграф. 1833, ч. 49. № 1

Н. И. Надеждин (?)
«Новоселье», Часть вторая
Фрагмент

‹…› «Анджело», повесть в стихах Ал. Пушкина в трех частях. Пиэса сия заслуживает полное внимание критики, хотя едва ли воспользуется таковым же от публики. Заметим предварительно, что эта горсть людей, у нас читающих и, следовательно, читающих Пушкина, так еще малочисленна, так маловнимательна к авторам, ею читаемым, что у ней не может образоваться различных мнений и, следовательно, суждений о писателе. Нет, она с плеча, одним махом, по двум, трем пиэсам составляет свое мнение об сочинителе; и после что хотите делайте, вы не собьете ее с этого понятия, или, что еще хуже, если будете усиливаться, сами проиграете непременно… Бесспорно, что несравненный, единственный современный талант Пушкина сделался известен у нас первыми произведениями его юности, хотя, быть может, и не всегда отчетистыми, но всегда горячими, пылкими, истинно поэтическими. Первое впечатление решило славу его, положило основный камень мнению публики о Пушкине. Каждый стих его, каждое слово ловили, записывали, выучивали и всюду думали видеть тень или блеск того же характера пылкой, стремительной юности, по произведениям которой составили о нем понятие. Но поэт как Пушкин не мог оставаться в зависимости даже и от общественного мнения: он шел своим путем, и чем сильнее, самобытнее, выше развивался талант его, тем далее последующие его произведения расходились с тем первым впечатлением, которое так шумно, так торжественно сделал он, еще незнаемый, из садов Лицея! Он был недоволен публикою, недоволен ее образом воззрения на себя, и негодование поэта изливалось не раз в стихах могущественных:

> Так толковала чернь пустая,
> Поэту славному внимая!

Но публика стояла крепко на своем, и поэт, не внимая ей, идучи своим путем, более и более отделялся от ее участия. Вот, по нашему мнению, единственная разгадка, почему последние, лучшие поэмы его, как, н<а>п<ример>, «Борис», были принимаемы с меньшим жаром и участием. Пушкин не внимал — и продолжал путь свой. Не место здесь пускаться в рассуждение,

кто прав: публика ли с своим упрямством и желанием слышать от поэта тот же строй песней, которым он пробудил ее внимание, или непокорность поэта сему требованию. Ограничимся сознанием, что общее участие к произведениям Пушкина уже значительно изменилось, а вместе с тем и характер его сочинений. Это предварительное изложение, по нашему разумению, было необходимо для того, чтобы дать в настоящем случае верный отчет о повести его «Анджело» и показать, что мы, уважая поэта, изучали не только его произведения, но и ход его влияния на публику и ее к нему отношения. Дополним это замечанием, что есть еще люди, не зависимые от первых впечатлений, которые и теперь понимают и ценят Пушкина, но много ли их? Обратимся к «Анджело». Бокачио, отец «Декамерона», был первым, начавшим писать в роде, к коему принадлежит «Анджело». Простой, самый естественный, бесстрастный, не размышляющий рассказ происшествия, как они были, есть отличительная черта сего рода произведений, являвшихся в свое время не случайно, не по прихоти литературной, а вследствие особых обстоятельств, развивавших в разные периоды времени различные роды стихотворений: сагу, романс, балладу и т. д. Возможно ли подобное воссоздание какого-либо рода стихотворений во всякое время по воле самого сильного дарования? Имеет ли право талант, не обращая внимания на современное, его окружающее, постоянно усиливаться воскресить прошедшее, идти назад, не стремиться вперед? Может ли иметь успех подобное направление? Вправе ли писатель винить публику, если она не разделяет его стремления к минувшему, а в силу вечно неизменяемого влечения к будущему остается равнодушною, непризнательною к его тягостному борению с веком, усилию, часто обнаруживающему тем разительнее великость его дарования? Вот вопросы, которые в настоящее время было бы кстати предложить на разрешение и отвечать на которые мы не можем в статье библиографической, хотя в них-то существенно должна заключаться истинная оценка пиэсы Пушкина, полной искусства, доведенного до естественности, ума, скрытого в простоте разительной, и, сверх того, неотъемлемо отличающейся истинным признаком зрелости поэта — тем спокойствием, которое мы постигаем в творениях первоклассных писателей. Судить о стихосложении Пушкина было бы излишне; мы ограничиваемся, наведя читателей на мысль, стоящую, по мнению нашему, подробного исследования. ‹…›

Молва. 1834, ч. 7. № 22

Письмо к издателю
<Отрывки>

М<илостивый> г<осударь>,

Объявив себя строгим поборником литературной правды, вы, конечно, не откажетесь выслушать и передать вашим читателям жалобу к вам на вас самих или, по крайней мере, на ваших сотрудников, за которых ответственность вполне лежит на вас, когда вы печатаете их мнения без всякого от лица вашего примечания.

‹…› Вообще князь Вяземский до сих пор не был еще оценен у нас надлежащим образом. Его долговременное горячее подвижничество на поприще нашей словесности дает ему полное право на почетное место между нашими современными писателями и, кажется, заслуживает добросовестную снисходительность к недостаткам его поэтических произведений, состоящим в излишестве остроумия и не всегда удачной борьбе с языком, непокорным мере и рифме. В стихотворениях, помещенных им в нынешнем «Новоселье», и эти недостатки весьма мало ощутительны, зато все они кипят мыслью, гостьей так редкою в нашей современной поэзии. ‹…›

Выпишу еще несколько стихов из «Тройки», о которой сказано у вас слишком легко, что она «Скачет быстро, живо и не опрокидывается в ухабы». Этого мало сказать, прочитав следующее:

Тройка мчится, тройка скачет.

Воля ваша, а, по моему мнению, эта «Тройка» обгонит в поэтическом достоинстве все прежние, не говоря уже о знаменитой «Телеге жизни», у которой в печати высыпалось из одного колеса несколько спиц, замененных точками… Я бы желал, м<илостивый> г<осударь>, чтобы вы загладили несправедливость вашего рецензента, удосужившись разобрать вполне литературное достоинство князя Вяземского. В английских и французских журналах помещаются беспрестанно литературные биографии знаменитых современных писателей, где оценивается их талант и определяется должное им место в литературе чрез совокупное рассмотрение всех их произведений. Такие биографии гораздо важнее и полезнее эфемерных рецензий! Я обращаюсь с сим желанием к вам, ибо от вас, повторяю, должно требовать подобного приложения философической критики к современной словесности…

Наконец, в-третьих, рецензент ваш в суждении об «Анджело»

Пушкина, помещенном в сей части «Новоселья», оказал слишком явное пристрастие. Я совершенно согласен с ним в том, что говорит он вообще о ходе влияния Пушкина на публику, о постоянно усиливающемся разноречии его с нею и о значительном изменении общего участия к его произведениям. Но, признаюсь, вопреки ему, не нашел в «Анджело» ни «искусства, доведенного до естественности», ни «ума, скрытого в простоте разительной», тем более не заметил «истинного признака зрелости поэта — того спокойствия, которое мы постигаем в творениях первоклассных писателей». По моему искреннему убеждению, «Анджело» есть самое плохое произведение Пушкина; если б не было под ним его имени, я бы не поверил, чтоб это стихотворение принадлежало к последнему двадцатипятилетию нашей словесности, и счел бы его старинкою, вытащенною из отысканного вновь портфейля какого-нибудь из второстепенных образцовых писателей прошлого века. Так мало походит оно на пушкинское, даже самою версификациею, изобилующею до невероятности усеченными прилагательными и распространенными предлогами! Не угодно ли вам перечесть вновь следующие стихи:

> Ты думаешь? так вот тебе предположены:
> Что если б отдали тебе на разрешенье
> Оставить брата влечь ко плахе на убой,
> Иль искупить его, пожертвовав собой
> И плоть предав греху?

или, пожалуй, хоть эти:

> Средство есть одно к спасенью.
> (Все это клонится к тому предположенью,
> И только есть вопрос и больше ничего.)
> Положим: тот, кто б мог один спасти его
> (Наперсник судии, иль сам по сану властный
> Законы толковать, мягчить их смысл ужасный),
> К тебе желаньем был преступным воспален
> И требовал, чтоб ты казнь брата искупила
> Своим падением: не то — решит закон!

или следующий афоризм:

> Закон не должен быть пужало из тряпицы,
> На коем наконец уже садятся птицы.

Спрашиваю, чем эти и многие подобные стихи лучше стихов не только Хераскова и Кострова, даже некоторых Сумарокова? Я уже не упоминаю о том, что и отношении к содержанию «Анджело» есть не что иное, как переделка Шекспировой «Measure for Measure» из прекрасной драмы в вялую, пустую сказку. Не думайте, чтобы я был предубежден против творца этой переделки. Напротив, уверяю вас, что никто больше меня не чувствует живейшей признательности к Пушкину за неоцененные минуты, кои он доставлял мне своими первыми произведениями, благоухавшими свежей сладостью мощного, роскошного таланта. И потому, читая «Анджело», я повторял с чувством глубочайшей горести его же прекрасный стих, в то время глубоко запавший мне в душу: увы!

Таков ли был он расцветая?

В полной надежде, что вы не откажетесь вверить крыльям вашей «Молвы» сию апелляцию «Молве» на «Молву», с отличным уважением, имею честь быть ваш покорнейший слуга Житель Сивцева Вражка.

Июня 12. 1834.

Молва. 1834, ч. 7. № 24

В. М. Строев
«Повести, изданные Александром Пушкиным» С.-Петербург. 1834. В т<ипографии> Гинце, в 8 л. л. XIII и 247 стр

Это не новость, а второе издание «Повестей покойного Белкина» с прибавлением двух отрывков из исторического романа и «Пиковой дамы», которую мы недавно читали в одной из книжек «Библиотеки для чтения». И «Повести Белкина», и отрывки из романа (не помню, где-то напечатанные)[34], и «Пиковая дама» знакомы, известны читателям, но все-таки о них поговорить следует: ведь они изданы А. С. Пушкиным.

Прежде всего о предисловии. С некоторого времени во Франции вошло в моду издавать сочинения *покойников.* Раскрываете собрание повестей — и вот перед вашими глазами длинное *от издателя,* в котором рассказано о жизни и трагической смерти настоящего (будто бы!) автора. Этим литературным *маневром* думают возбудить участие и внимание читателя, но едва ли достигают своей цели. Настоящий автор всегда почти бывает известен: французы такие болтуны! К чему же мистификация, тайна, предисловие?

А. С. Пушкин издал чужие повести, повести *покойного Белкина.* Был ли на свете Белкин, нет ли, нам все равно; а важны для нас его повести, к которым А. С. Пушкин руку приложил.

В «Повестях Белкина» было при первом издании пять повестей; теперь столько же. Первая повесть («Выстрел») слаба изобретением, характеров нет, ибо они не выдержаны; все, все рассказано, ничто не представлено в действии; одна часть повести (стр. 31–37) совсем бесполезна, излишня и ровно ни к чему не ведет.

Вторая повесть («Метель») уж чересчур неправдоподобна. Прапорщик (кажется, прапорщик) подговаривает провинциялку бежать и обвенчаться. Она бежит из дома родителей в назначенный час, одна; между тем прапорщик сбивается с дороги и не попадает в церковь, где должен быть обряд венчания. Другой офицер едет мимо церкви; его останавливают, венчают; только по окончании обряда невеста узнает, что этот офицер не ее прапорщик, — и падает в обморок. В этой повести каждый шаг — неправдоподобие. Кто согласиться жениться мимоездом, не зная на ком? Как невеста могла не разглядеть своего жениха под

венцом? Как свидетели его не узнали? Как священник ошибся? Но таких «как» можно поставить тысячи при чтении «Метели».

Третья повесть («Гробовщик») — не повесть, а только анекдот, растянутый довольно длинно. Гробовщик, возвращаясь полупьяный с вечеринки, на которой посмеялись над его ремеслом, вздумал приглашать к себе в гости мертвецов, заснул и видел во сне, что все, похороненные в его гробах, пришли к нему на пирушку. Развязывать повесть пробуждением от сна героя — верное средство усыпить читателя. Сон — что это за завязка? Пробуждение — что это за развязка? Притом такого рода сны так часто встречались в повестях, что этот способ чрезвычайно как устарел.

Четвертая повесть («Станционный смотритель») удачно изобретена и живо рассказана. Она не растянута, как другие «Повести Белкина», хотя описание станции и смотрителей тоже (на стр. 93–97) очень незанимательно. Оно, может быть, понравилось бы в стихах, если б было *оперено летучей рифмою,* но в прозе оно вяло, невыразительно и — если говорить правду — скучно.

Пятая повесть («Барышня-крестьянка») так же мало правдоподобна, как и «Метель». Все действие основано на переодевании — старое средство французских комедий. Вероятно ли, чтобы молодой человек не узнал своей любовницы потому только, что она нарумянила щеки, насурмила брови, надела пукли?

Ни в одной из «Повестей Белкина» нет идеи. Читаешь — мило, гладко, плавно; прочтешь — все забыто, в памяти нет ничего, кроме приключений.

«Повести Белкина» читаются легко, ибо они не заставляют думать. В них нельзя не заметить слова «я», которое повторяется беспрестанно, почти на каждой странице. Везде Белкин да Белкин, к чему это? Читатель хочет повестей, а не Белкина.

За повестями следуют два отрывка из исторического романа, которому еще не дано никакого имени. Отрывки очень хороши как отрывки, но они не стоят того, чтобы их печатать отдельно. Представляют ли они общий характер русского общества во времена Петра Великого? — Нет. Представляют ли они хоть какое-нибудь полное приключение? — Нет. К чему же их печатать отдельно?..

В заключение всего напечатана «Пиковая дама», точно в таком виде, в каком мы читали ее в «Библиотеке для чтения», без всяких поправок или перемен. Подробности сей повести превосходны: Герман замечателен по оригинальности характера; Лизавета Ивановна — живой портрет компаньонок наших старых

знатных дам, рисованный с натуры мастером. Но в целом — важный недостаток, общий всем «Повестям Белкина», — недостаток идеи. Впрочем, строгое суждение об этих повестях невозможно: они прикрыты эгидою имени Пушкина[35].

Извещая о сочинении Пушкина, нельзя не сказать, где оно продается. Повести, изданные Пушкиным, продаются по 6 р<ублей> в книжной лавке Андрея Глазунова, под № 25. Иногородные должны адресовать требования на имя управляющего лавкою Лисенкова. Обглядывая обертку книжки, мы нашли объявление о новом историческом труде А. С. Пушкина. Он будет называться «Историею Пугачевского бунта», состоять из двух томов и продаваться у Лисенкова по 20 рублей за экземпляр. Не дорого!

Северная пчела. 1834. № 192

В. Г. Белинский
Литературные мечтания (Элегия в прозе) Фрагмент

<I>

Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи. Вот, брат, рекомендую:
Как этаких людей учтивее зовут?..

Грибоедов. «Горе от ума»

Есть ли у вас хорошие книги?

— Нет, но у нас есть великие писатели.

— Так, по крайней мере, у вас есть словесность?

— Напротив, у нас есть только книжная торговля.

Барон Брамбеус

Помните ли вы то блаженное время, когда в нашей литературе пробудилось было какое-то дыхание жизни, когда появлялся талант за талантом, поэма за поэмою, роман за романом, журнал за журналом, альманах за альманахом; то прекрасное время, когда мы так гордились настоящим, так лелеяли себя будущим, и, гордые нашею действительностию, а еще более сладостными надеждами, твердо были уверены, что имеем своих Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер Скоттов? Увы! где ты, o bon vieux temps[36], где вы, мечты отрадные, где ты, надежда-обольститель! Как все переменилось в столь короткое время! Какое ужасное, раздирающее душу разочарование после столь сильного, столь сладкого обольщения! Подломились ходульки наших лите ратурных атлетов, рухнули соломенные подмостки, на кои, бывало, карабкалась золотая посредственность, а вместе с тем умолкли, заснули, исчезли и те

немногие и небольшие дарования, которыми мы так обольщались во время оно. Мы спали и видели себя Крезами, а проснулись Ирами! Увы! как хорошо идут к каждому из наших гениев и полугениев сии трогательные слова поэта:

Не расцвел и отцвел
В утре пасмурных дней!

Да — *прежде* — и *ныне, тогда* — и *теперь*! Великий Боже!.. Пушкин, поэт русский по преимуществу, Пушкин, в сильных и мощных песнях которого впервые пахнуло веяние жизни русской, игривый и разнообразный талант которого так любила и лелеяла Русь, к гармоническим звукам которого она так жадно прислушивалась и на кои отзывалась с такою любовию, Пушкин — автор «Полтавы» и «Годунова» и Пушкин — автор «Анджело» и других мертвых, безжизненных сказок!..

‹…› Итак, третье десятилетие XIX века было ознаменовано влиянием Пушкина. Что могу сказать я нового об этом человеке? Признаюсь: еще в первый раз поставил я себя в затруднительное положение, взявшись судить о русской литературе; еще в первый раз я жалею о том, что природа не дала мне поэтического таланта, ибо в природе есть такие предметы, о коих грешно говорить смиренною прозою!

Как медленно и нерешительно шел или, лучше сказать, хромал *Карамзинский* период, так быстро и скоро шел период *Пушкинский.* Можно сказать утвердительно, что только в прошлое десятилетие проявилась в нашей литературе жизнь, и какая жизнь! тревожная, кипучая, деятельная! Жизнь есть действование, действование есть борьба, а тогда боролись и дрались не на живот, а на смерть. У нас нападают иногда на полемику, в особенности *журнальную.* Это очень естественно. Люди, хладнокровные к умственной жизни, могут ли понять, как можно предпочитать истину приличиям и из любви к ней навлекать на себя ненависть и гонение? О! им никогда не постичь, что за блаженство, что за сладострастие души сказать какому-нибудь *гению в отставке без мундира, что* он смешон и жалок с своими детскими претензиями на великость, растолковать ему, что он не себе, а крикуну журналисту обязан своею литературною значительностию; сказать какому-нибудь ветерану, что он пользуется своим авторитетом на кредит, по старым воспоминаниям или по старой привычке; доказать какому-нибудь литературному учителю, что он близорук, что он отстал от века и что ему надо переучиваться с азбуки; сказать какому-нибудь выходцу бог весть откуда, какому-нибудь пройдохе и Видоку,

какому-нибудь литературному торгашу, что он оскорбляет собою и эту словесность, которой занимается, и этих добрых людей, кредитом коих пользуется, что он надругался и над святостию истины, и над святостию знания, заклеймить его имя позором отвержения, сорвать с него маску, хотя бы она была и баронская, и показать его свету во всей его наготе!.. Говорю вам, во всем этом есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное! Конечно, в литературных сшибках иногда нарушаются законы приличия и общежительности; но умный и образованный читатель пропустит без внимания пошлые намеки о *желтяках,* об *утиных носах, семинаристах, гаре, полугаре, купцах* и *аршинниках;* он всегда сумеет отличить истину ото лжи, человека от слабости, талант от заблуждения; читатели же невежды не сделаются от того ни глупее, ни умнее. Будь все тихо и чинно, будь везде комплименты и вежливости, тогда какой простор для бессовестности, шарлатанства, невежества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!..

Итак, период *Пушкинский* был ознаменован движением жизни в высочайшей степени. В это десятилетие мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось к нам через Балтийское море. Мы обо всем пересудили, обо всем переспорили, все усвоили себе, ничего не взрастивши, не взлелеявши, не создавши сами. За нас трудились другие, а мы только брали готовое и пользовались им: в этом-то и заключается тайна неимоверной быстроты наших успехов и причина их неимоверной непрочности. Этим же, кажется мне, можно объяснить и то, что от этого десятилетия, столь живого и деятельного, столь обильного талантами и гениями, уцелел едва один Пушкин и, осиротелый, теперь с грустию видит, как имена, вместе с ним взошедшие на горизонт нашей словесности, исчезают одно за другим в пучине забвения, как исчезает в воздухе недосказанное слово… В самом деле, где же теперь эти юные надежды, которыми мы так гордились? Где эти имена, о коих бывало только и слышно? Почему они все так внезапно смолкнули? Воля ваша, а мне сдается, что тут что-нибудь да есть! Или, в самом деле, время есть самый строгий, самый правдивый Аристарх?.. Увы!.. Разве талант Озерова или Батюшкова был ниже таланта, например, г. Баратынского и г. Подолинского? Явись Капнист, В. и А. Измайловы, В. Пушкин, явись эти люди вместе с Пушкиным во цвете юности, и они, право, не были бы смешны и при тех скудных дарованиях, которыми наградила их природа. Отчего же так? Оттого, что подобные таланты могут быть и не быть, смотря по обстоятельствам.

Подобно Карамзину, Пушкин был встречен громкими

рукоплесканиями и свистом, которые только недавно перестали его преследовать. Ни один поэт на Руси не пользовался такою народностию, такою славою при жизни, и ни один не был так жестоко оскорбляем. И кем же? Людьми, которые сперва пресмыкались пред ним во прахе, а потом кричали: *chôute complete*![37] Людьми, которые велегласно объявляли о себе, что у них в мизинцах больше ума, чем в головах всех наших литераторов: дивные мизинчики, любопытно бы взглянуть на них. Но не в том дело. Вспомните состояние нашей литературы до двадцатых годов. Жуковский уже совершил тогда большую часть своего поприща; Батюшков умолк навсегда, Державиным восхищались вместе с Сумароковым и Херасковым по лекциям Мерзлякова. Не было жизни, не было ничего нового; все тащилось по старой колее; как вдруг появились «Руслан и Людмила», создание, решительно не имевшее себе образца ни по гармонии стиха, ни по форме, ни по содержанию. Люди без претензий на ученость, люди, верившие своему чувству, а не пиитикам или сколько-нибудь знакомые с современною Европою, были очарованы этим явлением. Литературные судии, державшие в руках жезл критики, с важностию развернули «Лицей» (в переводе г. Мартынова — «Ликей») Лагарпа и «Словарь древния и новыя поэзии» г. Остолопова и, увидя, что новое произведение не подходило ни под одну из известных категорий и что на греческом и латинском языке не было образца оному, торжественно объявили, что оно было незаконное чадо поэзии, непростительное заблуждение таланта. Не все, конечно, тому поверили. Вот и пошла потеха. Классицизм и романтизм вцепились друг другу в волосы. Но оставим их в покое и поговорим о Пушкине.

Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чувством и удивительною способностию принимать и отражать все возможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия, переставшая верить в несомненность *вековых правил, самою мудростию извлеченных из писаний великих гениев,* и с удивлением узнавшая о других правилах, о других мирах мыслей и понятий и новых, неизвестных ей дотоле, взглядах на давно известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пушкин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да — Пушкин был выражением современного ему мира, представителем

современного ему человечества; но мира русского, но человечества русского. Что делать? Мы все гении-самоучки; мы все знаем, ничему не учившись, все приобрели, не проливши ни капли крови, а веселясь и играя; словом:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.

Пушкин от шумных оргий разгульной юности переходил к суровому труду, от труда опять к младым пирам, сладкому безделью и легкокрылому похмелью. Ему недоставало только немецко-художественного воспитания. Баловень природы, он, шаля и играя, похищал у ней пленительные образы и формы, и, снисходительная к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями юности, которые покупают у ней ценою отречения от жизни… Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл по воле нашими чувствами… Он пел, и как изумлена была Русь звуками его песен: и не диво, она еще никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним: и не диво, в них трепетали все нервы ее жизни! Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка, в летние дни, из растворенных окон носились по воздуху эти звуки, *подобные шуму волн* или *журчанию ручья*…

Невозможно обозреть всех его созданий и определить характер каждого: это значило бы перечесть и описать все деревья и цветы Армидина сада. У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; у него по большей части всё поэмы: его поэтические тризны над урнами великих, то есть его «Андрей Шенье», его *могучая беседа* с морем, его *вещая дума* о Наполеоне — поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэтического венка, без сомнения, суть «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях.

Пушкин царствовал десять лет. «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаём Пушкина; он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское *быть или не быть* скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анджело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы

должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Где теперь эти звуки, в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска, где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего груди, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии, вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своею игрою; где теперь эти картины жизни и природы, перед которыми была бледна жизнь и природа?.. Увы! вместо их мы читаем теперь стихи с правильною цезурою, с богатыми и полубогатыми рифмами, с пиитическими вольностями, о коих так пространно, так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали архимандрит Аполлос и г. Остолопов!.. *Странная вещь, непонятная вещь!* Неужели Пушкина, которого не могли убить ни исступленные похвалы энтузиастов, ни хвалебные гимны торгашей, ни сильные, нередко справедливые, нападки и порицания его антагонистов, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Новоселье» г. Смирдина? И однако ж, не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших заключениях, предоставим времени решить этот запутанный вопрос. О Пушкине судить нелегко. Вы, верно, читали его «Элегию» в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения»? Вы, верно, были потрясены глубоким чувством, которым дышит это создание? Упомянутая «Элегия», кроме утешительных надежд, подаваемых ею о Пушкине, еще замечательна и в том отношении, что заключает в себе самую верную характеристику Пушкина как художника:

Порой опять гармонией упьюсь.
Над вымыслом слезами оболью́сь.

Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии; что он, вместе с своим мрачным Гиреем, томился этою тоскою души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведавшей наслаждения; что он горел неистовым огнем ревности, вместе с Заремою и Алеко, и упивался дикою любовию Земфиры; что он скорбел и радовался за свои идеалы, что *журчание* его *стихов* согласовалось с его рыданиями и смехом… Пусть скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует «Библиотеку для чтения», чем тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних…

В. Г. Белинский
«Повести, изданные Александром Пушкиным»

Всему свой черед, все подчинено неизменным законам. За роскошною весною следует жаркое лето, а за ним унылая осень, а за сею холодная зима. Законы физические параллельны с законами нравственными; юность человека есть прекрасная, роскошная весна, время деятельности и кипения сил; она бывает однажды в жизни и более не возвращается. Эпоха юности человека есть роман, за коим начинается уже история: эта история всегда бывает скучна и уныла. То же самое представляется и в деятельности художника: сколько огня, сколько чувства в его произведениях! Последующие бывают изящнее и выше, но зато и спокойнее; это спокойствие называется зрелостию, возмужалостию таланта. Оно правда; но, горестная мысль! эта постепенная возвышенность гения необходимо сопряжена с постепенным охлаждением чувства. Найдите создание чудовищнее «Разбойников» и вместе с тем найдите создание пламеннее этого первого произведения Шиллера. Воля ваша, а весна самое лучшее время года! Хорошо еще, если осень плодородна и обильна, если она озарена последними прощальными лучами великолепного солнца; но что, когда она бесплодна, грязна и туманна? А ведь это так часто случается! Вот передо мною лежат «Повести», изданные Пушкиным: неужели Пушкиным же и написанные? Пушкиным, творцом «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана», «Цыган», «Полтавы», «Онегина» и «Бориса Годунова»? Правда, эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать (conter); но они не художественные создания, а просто сказки и побасенки; их с удовольствием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся в скучный и длинный зимний вечер у камина; но от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга; но они не будут тревожить его сна — нет, — после них можно задать лихую высыпку. Будь эти повести первое произведение какого-нибудь юноши — этот юноша обратил бы на себя внимание *нашей* публики; но как произведение Пушкина… осень, осень, холодная, дождливая осень после прекрасной, роскошной, благоуханной весны, словом,

…прозаические бредни,

Фламандской школы пестрый вздор!

Странное дело — очарование имен! Прочтите вы эту книгу, не зная, кем она написана, — и вы будете в полном удовольствии; но загляните на заглавие — и ваше живое удовольствие превратится в горькое неудовольствие. Будь поставлено на заглавии этой книги имя г. Булгарина, и я был бы готов подумать: уж и в самом деле Фаддей Венедиктович не гений ли? Но *Пушкин* — воля ваша, грустно и подумать!

Эти повести уже не новость. В них нового: препрославленная «Пиковая дама», по мнению «Библиотеки для чтения» (в которой она была помещена), превосходящая все создания чудного Гофманова гения, и два отрывка из исторического романа: «Ассамблея при Петре Великом» и «Обед у русского боярина». Не помню, что касается до первого, а последний был напечатан давно в «Северных цветах». Эти отрывки, особенно последний, отличаются художественною занимательностию и возбуждают живейшее желание прочесть весь роман. Если этот роман написан и будет издан вполне, то русскую публику можно будет поздравить с приобретением. Из повестей собственно только первая, «Выстрел», достойна имени Пушкина.

Молва. 1835, ч. 9. № 7

Ф. В. Булгарин
Настоящий момент и дух нашей литературы
Фрагменты

‹…› Среди тихого, сладкозвучного, безмятежного течения нашей французской школы прибавились самородные национальные дарования, с нашей русской, милой, хотя несколько грубой простотою, с дикою возвышенностью и с русским народным говором. Таковы Державин и И. А. Крылов! Впрочем, Державин не всегда *русский* поэт, а Крылов всегда *русский,* и притом *русский писатель,* в полном смысле слова. Образы, положения, язык в баснях Крылова — все истинно русское. Начав переделывать Езопа, Пильная и Лафонтена, он кончил созданием народной русской басни, которая имеет свой особенный характер и полную оригинальность!

Между тем образовалась новая немецкая литература по образцам старинной английской и западной литературы Средних веков. Английская литература также приняла другое направление, очистившись от древнего варварства в горниле XVIII века и удержав народные формы. Этим литературам придали название *романтической* в память романского языка и поэзии, служащей, так сказать, цементом для спаяния разнородных частей в литературе — английской и германской. Французскую школу XVIII века, в противоположность новой, назвали *классическою.* — В Европе настало борение двух литератур, борение форм с свободою языка и волею воображения. В целой Европе все, что только сильно чувствовало и мыслило, приняло *романтическую* литературу, которую можно назвать также *народною,* потому что предметы в романтической литературе избираются преимущественно из народной истории, народных нравов и обычаев. В чужих предметах сохраняется также национальность. Греки должны быть греками, а не французами; русские — русскими, немцы — немцами, со всеми их поверьями, страстями, заблуждениями и понятиями об истине.

У нас первый В. А. Жуковский ввел *романтическую поэзию.* Ему принадлежит эта честь и слава. А. С. Пушкин, при всей своей оригинальности, есть только *следствие* Жуковского. Пушкина создал не Гёте, не Шиллер, не Байрон — но Жуковский. Когда Пушкин стал писать, вдохновенный русскою природою, он знал только Жуковского, а Жуковский знал уже и изучил Гёте,

Шиллера и Байрона. Первый опыт Жуковского, «Кладбище» из Грея, изумил нас. Это был неведомый дотоле язык. «Светлана» составила эпоху и есть первый *основный* камень русской национальной поэзии. Пушкин не есть *подражатель* Жуковского, но *ученик* с собственною оригинальностью. Все подражатели Жуковского и Пушкина несносны в высшей степени, и нет между ними ни одного, который бы хотя несколько приблизился к своим подлинникам. Это плохие литографии Рафаэлевой Мадонны.

Я упомянул здесь только о коноводах, или о воеводах, русской литературы. Разумеется, что они вели за собою целые легионы сподвижников. Мы видели блеск их оружия, слышали их возгласы — но не знаем их имен или, лучше сказать, не хотим их знать. Слава воинства сосредоточена в славе их военачальника. ‹…›

Северная пчела. 1836. № 11, 15 января

О. И. Сенковский
«Вастола, или желания». Повесть в стихах, сочинение Виланда. Издал А. Пушкин С.-П<етер>бург, в тип<ографии> Д<епартамента> внешней торговли, 1836, в 8, стр. 96

Певец «Кавказского пленника» сделал в новый год непостижимый подарок лучшей своей приятельнице, доброй, честной русской публике. Та, которая любила его как своего первенца, любила так искренно, так благородно, так бескорыстно; та, для чьего сердца имя его было нераздельно с драгоценнейшею вещию в мире — славою своего отечества, та самая, в возврат за все свои нежные чувства, заслуживающие всякого уважения, получила от него, при визитном билете, «Вастолу» с двусмысленным заглавием. Первым ее движением было — посмотреть в календарь, не пришлось ли в нынешнем году в Новый год первое апреля. Нет! первое апреля будет первого апреля, а теперь начало января, время излияния дружеских чувствований, время поклонов с почтением и всяких маскарадов. Бедная русская публика не знала, что делать, — гневаться ли за эту мистификацию, или приказать «кланяться и благодарить и в другой раз к себе просить»?.. Посланец отпущен был без ответа.

Для многих еще не решен вопрос о «Вастоле». Каждый толкует по-своему слово «издал», которое, как известно, принимается в русском языке также в значении — написал и напечатал. Одни утверждают, что это действительно стихи А. С. Пушкина; другие, что они не его, а он только их издатель. Трудно поверить, чтобы Пушкин, вельможа русской словесности, сделался книгопродавцем и «издавал» книжки для спекуляций. Мы сами сначала позволили себя уверить, что Александр Сергеевич играет здесь только скромную роль издателя, но один почтенный «читатель» убедил нас в противном. Зашедши в первых числах января в книжный магазин С***, чтоб купить себе «Вастолу», мы застали там одного депутата от публики, одного читателя, который пришел туда с той же целию. Он держал в одной руке «Вастолу» и пробегал ее глазами по неразрезанным листам, а в другой, протянутой к приказчику магазина, — красную ассигнацию. Совестливый книгопродавец, прежде чем взять деньги, спрашивал читателя, знает ли он, что такое покупает: «Если вы хотите купить поэму Пушкина, — говорил

благородный приказчик, которого за это в нынешнем же году надобно представить к Монтионовым премиям за добродетель, — то я должен предостеречь вас, что вы ошибаетесь: это не Пушкина сочинение-с!» Читатель посмотрел на него с изумлением и вскричал:

— Как не Пушкина? Ба!.. будто бы я Пушкина стихов не знаю!..

— Уверяю вас, что не Пушкина-с.

— Подите, сударь! Да кто, кроме Пушкина, в состоянии написать у нас такие стихи?

И читатель стал тут же читать нам вслух следующие стихи из «Вастолы», постепенно воодушевляясь их красотами.

«Мещанка мать его, вдова весьма честная,
Уж несколько годов прядением промышляя,
Кормила тем себя и милого сынка.
Ее рабочая, проворная рука
Не знала никогда покоя и вприсядку
Трескучую свою вертела самопрядку;
Вертела у окна при солнечном луче,
Вертела при свече,
Вертела при лучине,
Не мысля о кручине;
Но слезно и за то всегда благодаря
Небесного Царя,
Когда на очажке для варева какого
Горело у нее обеденной порой
Немного хворосту сухого,
От коего потом все угли кочергой
Скорей вгребала в печь, чтоб в бедности за делом
Хоть было ей тепло в приюте устарелом.
При тихой жизни, толь святой,
Как ныне редкия на свете
Живут, оставшися вдовой,
Имея легкий труд в предмете…
Одна гн[ять]кла ее тоска,
Одна заботила кручина,
Что от Перфонтьюшки, любезного сынка.
Хоть он и дюжий был детина.
Ни шерсти нет, ни молока».

— Кто у нас в состоянии, — торжественно сказал читатель, произнесши последние стихи с непритворным энтузиазмом, — кто у нас в состоянии так написать, кроме Пушкина?

Книгопродавец улыбался.

Читатель бросил с гневом ассигнацию на прилавок и, не дожидаясь сдачи, побежал из магазина. Я слышал еще, как он говорил у дверей: «Да я знаю наверное, что это Пушкина книга! Вот, нашли кого дурачить!»

После этого я не смел и сомневаться, чтобы «Вастола» не была действительно произведением А. С. Пушкина. Не вдаваясь в объяснения с книгопродавцами, я важно потребовал для себя одного экземпляра, заплатил деньги и ушел.

Я читал «Вастолу». Читал, и вовсе не сомневаюсь, что это стихи Пушкина. Пушкин дарит нас всегда такими стихами, которым надобно удивляться, не в том, так в другом отношении.

Некоторые, однако, намекают, будто А. С. Пушкин никогда не писал этих стихов; что «Вастола» переведена каким-то бедным литератором; что Александр Сергеевич только дал ему напрокат свое имя, для того, чтобы лучше покупали книгу, и что он желал сделать этим благотворительный поступок. Этого быть не может! Мы беспредельно уважаем всякое благотворительное намерение, но такой поступок противился бы всем нашим понятиям о благотворительности, и мы с негодованием отвергаем все подобные намеки как клевету завистников великого поэта. Пушкин не станет обманывать публики двусмысленностями, чтоб делать кому добро. Он знает, что должен публике и себе. Если в слове «издал» и не было двусмысленности, если бы оно и принято было здесь в самом тесном его значении, он знает, что человек, пользующийся литературною славою, отвечает перед публикою за примечательное достоинство книги, которую издает под покровительством своего имени, и что в подобном случае выставленное имя напечатлевается всею святостью торжественно данного в том слова. Он охотно вынет из своего кармана тысячу рублей для бедного, но обманывать не станет — ни вас, ни меня. Дать свое имя книге, как вы говорите, «плохой» из благотворительности?.. Невозможно! невозможно! Не говорите мне даже этого! Не поверю! Благотворительность предполагает пожертвование — труда или денег, — чего бы ни было, — иначе она не благотворительность. Согласитесь, что позволить напечатать свое имя — не стоит никаких хлопот. Александр Сергеевич, если б пожелал быть благотворителем, написал бы сам две-три страницы стихов, своих, прекрасных стихов, и они принесли бы более выгоды бедному, которому бы он подарил их, чем вся эта «Вастола». Люди доброго сердца оказывают благотворительность приношением нищете какого-нибудь действительного труда, а не бросая в лицо бедному одно свое имя для продажи, — что равнялось бы презрению к бедному и

презрению к публике, к вам, ко мне, ко всякому. Нет, нет! клянусь вам, это подлинные стихи Пушкина. И если бы они даже были не его, ему теперь не оставалось бы ничего более, как признать их своими и внести в собрание своих сочинений. Между возможностью упрека в том, что вы употребили уловку (рука дрожит, чертя эти слова), и чистосердечным принятием на свой счет стихов, которым дали свое имя для успешнейшей их продажи, выбор не может быть сомнителен для благородного человека. Но этот выбор не предстанет никогда Пушкину. «Вастола», мы уверены, действительно — его творение. Это его стихи. Удивительные стихи!

Библиотека для чтения. 1836. Т. 14, № 2

В. Г. Белинский «Стихотворения Александра Пушкина». Часть четвертая

Четвертая часть стихотворений Пушкина заключает в себе двадцать шесть пиэс, и в числе их известный всем наизусть «Разговор книгопродавца с поэтом», напечатанный, вместо предисловия, при первой главе «Евгения Онегина» первого издания; потом, три большие сказки и, наконец, шестнадцать песен западных славян, переведенных или переделанных с французского (история этого перевода известна).

Вообще очень мало утешительного можно сказать об этой *четвертой* части стихотворений Пушкина. Конечно, в ней виден закат таланта, но таланта Пушкина; в этом закате есть еще какой-то блеск, хотя слабый и бледный… Так, например, всем известно, что Пушкин перевел *шестнадцать* сербских песен с французского, а самые эти песни подложные, выдуманные двумя французскими шарлатанами, — и что ж?.. Пушкин умел придать этим песням колорит славянский, так что, если бы его ошибка не открылась, никто и не подумал бы, что это песни подложные. Кто что ни говори — а это мог сделать только один Пушкин! — Самые его сказки — они, конечно, решительно дурны, конечно, поэзия и не касалась их[38]; но все-таки они целою головою выше всех попыток в этом роде других наших поэтов. Мы не можем понять, что за странная мысль овладела им и заставила тратить свой талант на эти поддельные цветы. Русская сказка имеет свой смысл, но только в таком виде, как создала ее народная фантазия; переделанная же и прикрашенная, она не имеет решительно никакого смысла. «Гусар», «Будрыс и его сыновья», «Воевода» — все эти пьесы не без достоинства, а последняя решительно хороша: такие стихи, как, например, эти, теперь очень редки:

Говорит он: «Все пропало,
Чем лишь только я, бывало,
Наслаждался, что любил:
Белой груди воздыханье,
Нежной ручки пожиманье —
Воевода все купил.

Сколько лет тобой страдал я,
Сколько лет тебя искал я —

От меня ты отперлась.
Не искал он, не страдал он,
Серебром лишь побряцал он.
И ему ты отдалась.

Я скакал во мраке ночи
Милой панны видеть очи,
Руку нежную пожать;
Пожелать для новоселья
Много лет ей и веселья
И потом навек бежать».

Здесь есть чувство; но прочее по большей части показывает одно уменье владеть языком и рифмою, уменье, иногда уже изменяющее, потому что нередко попадаются стихи, вставленные для рифмы, особенно в сказках, стихи, в которых отсутствует даже вкус, видно одно savoir-faire[39], и то нередко с промахами!..

«Разговор книгопродавца с поэтом» привел нас в грустное расположение духа: он напомнил нам золотое время поэ зии Пушкина, то время, когда — как говорит он сам о себе в этой пьесе –

Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мною всюду он летал,
Мне звуки чудные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.

Да, прекрасное было то время! Но что нам до времени? оно

прошло, а прекрасные плоды его остались, и они все так же свежи, так же благоуханны!..

В том же «Разговоре книгопродавца с поэтом» поразило нас грустным чувством еще одно обстоятельство: помните ли вы место, где поэт, разочарованный в женщинах, отказывается, в своем благородном негодовании, воспевать их? В первом издании «Евгения Онегина», при котором был приложен и этот поэтический «Разговор», поэт говорит:

Пускай их *Шаликов* поет, Любезный баловень природы!

Теперь эти стихи напечатаны так:

Пускай их юноша поет, Любезный баловень природы!

Увы!.. Sic transit gloria mundi!..

Но в четвертой части стихотворений Пушкина есть одно драгоценное перло, напомнившее нам его былую поэзию, напомнившее нам былого поэта: это «Элегия». Вот она:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье,
Но как вино, печаль минувших дней
В моей душе чем старей, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю: мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной!

Да! такая элегия может выкупить не только несколько сказок, даже целую часть стихотворений!..

Молва. 1836, ч. 11. № 3

notes

Примечания

1

Глава о Москве была написана Пушкиным в январе 1835 года, но мысли, изложенные в ней, сформировались уже к 1834 году.

2

Описка Пушкина.

3

«Продажной» — в смысле «можно рукопись продать».

4

Тексты критических статей публикуются — за редким исключением — без комментариев, поскольку автору было важно познакомить читателей с самой направленностью статей и характером претензий, предъявлявшихся Пушкину. Автор считает, что публикующиеся в приложении тексты иллюстрируют соображения, высказанные им в основной части книги.

Тогда было бы меньше трудов и для типографии! А цена-то книжке могла б быть все та же!.. Прим<ечание> наборщ<ика>.

«С<ын> о<течества> и С<еверный> а<рхив>», с. 38.

7

Экая чудная память! Слово в слово опять из «С<ына> о<течества> и С<еверного> а<рхива>» (с. 39). Пр<имечание> соч<инителя>.

8

И лежал, распростершись в пещере, огромный!.. (*лат.*) — *Ред.*

9

И ты, Байрон, паришь, презревши жалкий мир:
Зло — зрелище твое, отчаянье — твой пир.
Твой взор, твой смертный взор, измерил злоключенья;
В душе твоей не Бог, но демон искушенья:
Как он, ты движешь все, ты — мрака властелин,
Надежды кроткий луч отвергнул ты один;
Вопль смертных для тебя — приятная отрада;
Неистовый, как ад, поешь ты в славу ада…

(Пер. с франц. А. И. Полежаева). — Ред.

10

Он был дик.
Дик, как дикий олень!..
……
Быстрее стремительных потоков!.. *(англ.) — Ред.*

11

На земле
Никогда не рождалось такой ладной пары,
Как твой Буцефал и ты! *(англ.) — Ред.*

12

Доброй ночи, соратники! *(англ.) — Ред.*

13

Как мастерски поэт наш умеет пользоваться богатою сокровищницею славянского языка!.. А велика ли благостыня?.. — Примеч<ание> одного посетителя типографии.

14

В тени старого дуба —
Сам такой же, как грубый и старый,
спокойный и смелый? *(англ.) — Ред.*

15

Почтенный незнакомец не читал еще тогда «Галатеи», которая, со всем дамским своеволием, утверждает просто и наотрез, что еще «неизвестно, когда написана дума», из которой взяты цитованные здесь стихи, — и что «даже недостоверно, точно ли она сочинена Мазепою» («Гал<атея>», № 17, с. 49) Прим<ечание> соч<инителя>. — Но почему же наша журнальная красавица, не в добрый час принявшаяся за археологическую критику, предпочитает в достоверности не только сей думе, но и всем возможным думам — договор Мазепы с королем Станиславом?.. В каком будуаре удалось ей видеть оригинал или, по крайней мере, верную копию сего договора? — Сам почтенный автор «Истории Малороссии» упоминает об нем только со слов Адлерфельда, который даже позабыл фамилию польского сенатора, дополнявшего якобы собой шестеричное число избранных, коим одним упомянутый договор и был известен. (См. «Истор<ию> Малор<оссии>» Бантыш-Каменского, ч. III, с. 125.) Дамское своенравие — не больше! Примеч<ание> неизвест<ного> посетит<еля> типограф<ии>.

16

Какая напраслина!.. Сам поэт и посвящении «Полтавы» называет музу свою — «музой темной»!.. Извольте справиться! — Прим<ечание> неизв<естного> посет<ителя> типогр<афии>. — А будто в темноте нельзя шалить и резвиться! — Прим<ечание> наборщ<ика>.

17

Суета сует! (*лат.*) — *Ред.*

В этом случае под словом «мы» Адел<аида> Ант<оновна> разумела себя и ту мастерицу, о работе коей шло дело и которая невидимо для покупателей подсказывала ей речь сию.

Снова (*итал.*). — *Ред.*

Последнем степени (*лат.*). — *Ред.*

21

Да здравствует дружба! (*франц.*) — *Ред.*

22

Не все гасконцы живут в Гаскогнии! (*франц.*) — *Ред.*

Полный провал (*франц.*). — *Ред.*

В духе Байрона (*франц.*). — *Ред.*

25

В своей повести Ф. Булгарин использовал прием В. Ирвинга, чей герой провел много лет в летаргическом сне и проснулся в другую эпоху. У Ф. Булгарина стольник царя Алексея Михайловича оказывается в схожей ситуа ции и просыпается в первой трети XIX века. Он ищет и находит своего потомка.

Позор тому, кто дурно об этом подумает (*франц.*). — *Ред.*

27

Не говори, что знаешь, но знай, что говоришь (*нем.*). — *Ред.*

28

Не будь Байрона, не было бы ни «Кавказского пленника», ни «Бахчисарайского фонтана», ни «Братьев разбойников» и проч.; по крайней мере, можно сказать утвердительно, они были бы отлиты в другую форму.

Шедевр (*франц.*). — *Ред.*

По роду занятий (*лат.*). — *Ред.*

Анонимами в обоих случаях (*франц.*). — *Ред.*

Так проходит слава мирская!.. (*лат.*) — *Ред.*

Ловкий трюк (*франц.*). — *Ред.*

В «Северных цветах». Изд<атели>.

И еще очаровательностью изложения. Мы не знаем в русской литературе повести, которая была бы написана так легко, приятно, правильно и отчетисто, как «Пико вая дама». Изд<ателиг> «С<еверной> пч<елы>».

О доброе старое время (*франц.*). — *Ред.*

Полное падение! (*франц.*) — *Ред.*

Впрочем, сказка «О рыбаке и рыбке» заслуживает внимание по крайней простоте и естественности рассказа, а более всего по своему размеру чисто русскому. Кажет ся, наш поэт хотел именно сделать попытку в этом размере и для того нарочно на писал эту сказку.

Умение (*франц.*). — *Ред.*